



РОССИЯ ДЕРЖАВНАЯ

Р. Зотов

ДВА БРАТА, ИЛИ МОСКВА В 1812 ГОДУ

МИР КНИГ

Р. ЗОТОВ



ДВА БРАТА,
ИЛИ МОСКВА В 1812 ГОДУ



УДК 821. 161.1
ББК 84(2Рос=Рус)
3-88

Оформление серии И. Тарачкова

Зотов Р. М.

3-88

Два брата, или Москва в 1812 году: Роман.— М.: Мир книги, Литература, 2009.— 272 с.— (Россия державная).

ISBN 978-5-486-03044-4

Рафаил Михайлович Зотов (1795—1871) — русский писатель и драматург. Участник военных кампаний 1812—1814 гг. Долгое время служил в дирекции императорских театров. Хорошо зная иностранные языки, был сотрудником и переводчиком многих периодических изданий. На театральном поприще переводил и сочинял для театра (более 100 пьес в стихах и в прозе). Как исторический романист, прослыл большим мастером остро-сюжетного повествования. Самые известные его романы «Леонид, или Некоторые черты из жизни Наполеона», «Таинственный монах», «Шапка юродивого» и др., полные знаменитых эпизодов и интригующих событий из жизни выдающихся деятелей как русской, так и европейской истории, пользовались большим интересом у читателей. Его перу принадлежат также военно-исторические очерки и ряд научно-популярных книг.

В этом томе публикуется роман «Два брата, или Москва в 1812 году», где писатель на основе эпизодов частной жизни своего персонажа рисует яркую картину жизни русского общества времен наполеоновского нашествия. Истинный мастер исторического детектива, он держит читателя в состоянии напряженного любопытства до самых последних страниц.

ISBN 978-5-486-03044-4

© ООО ТД «Издательство
Мир книги», оформление, 2009
© ООО «РИЦ Литература», 2009

Два брата, или Москва в 1812 году





Часть первая

ГЛАВА I

Между Москвою и Владимиром, лет за 50 тому назад, не помню близ какой-то станции, стоял господский дом, отделенный от большой дороги деревянною решеткою. Дом был одноэтажный с мезонином. На дворе, который, как видно, помещик решил содержать в чистоте, пробивалась трава сквозь песок. По левую сторону были людские, а по правую — сараи и конюшни. Тут с обеих сторон были калитки в сад, хотя главный вход в него и был из гостиной, где три стеклянные двери отворялись на деревянную полукруглую террасу, спускавшуюся несколькими ступенями в главную липовую аллею. Мы не будем описывать всех подробностей сада и дома: прихотливость деревенских помещиков всегда развивается по мере средств каждого, а у Петра Александровича Сельмина было до тысячи душ — не заложенных. Следственно, можно себе представить домашний комфорт этого дома, а по времени действия (это было в последнем десятилетии прошлого XVIII столетия) можно догадаться и о духе барничества, господствовавшего в жилище богатого помещика.

Старики всех веков и народов уверяют всегда, что в их время было гораздо лучше, а молодое поколение смеется над этим, убеждая само себя, что все идет к усовершенствованию человечества; когда же состарится, то опять твердит то же самое своим детям, что слышало от отцов. Это вечная круговая порука, и всякий прав по-своему. Не надобно никого осуждать безусловно. Всякое время имеет свою хорошую и свою дурную сторону, потому что люди всех веков человечества будут все-

таки люди, то есть существа со слабостями, недостатками и пороками. Семена добра есть во всяком, но обстоятельства, эти несчастные *circonstances atténuantes*¹ законодательства общественной жизни, увлекают их в проступки и заглушают врожденное стремление к добру. Русское поколение XVIII века может похвалиться многими прекрасными качествами, которых мы не имеем, но зато мы, слава богу, ограждены и от многих злоупотреблений, которые над ними тяготели.

Владимирский помещик Петр Александрович Сельмин действовал в духе старого времени. Всякий крестьянин мог к нему прийти с просьбою и даже с жалобою, и решение его всегда было основано на чувстве христианской веры. В неурожайные годы он их кормил. После пожара строил им избы, после падежа покупал скот, а иногда молодым своим парням добывал у других помещиков невест, когда влюбленные решались к нему являться и, повалясь в ноги, объясняли свою страсть.

Для соседних мелкопоместных дворян Сельмин был просто клад. Он им и поля засеивал, и дома поправлял, и подушные часто за них платил. Стоило только прийти к нему и взмолиться жалобным голосом. Он, бывало, пошутит, помучает, а кончит непременно тем, что все даст. Эту слабость его знали, и все пользовались ею. Зато уже, разумеется, он требовал от всех этих полубар безусловного повиновения, и горе тому, кто бы ему вздумал в чем-нибудь поперечить!

Дверь Петра Александровича была всегда отперта. Кто хочешь вались, комар и муха. Соседи могли во всякое время поесть и попить у него, платя за это несколькими поклонами и натянутыми комплиментами насчет великодушия хозяина.

Вообще Петр Александрович был любим и уважаем во всем околотке. Ему было за пятьдесят лет. Он был вдов и имел всего одного сына, который был уже гвардии офицер. Разумеется, первая обязанность новопроизведенного офицера состоит в том, чтоб отпроситься в отпуск и блеснуть военным званием. Так поступил и Александр Петрович. Он явился к отцу — и пошли праздники за праздниками. Как ни охотно все соседи пивали и едали у старика Сельмина, но на все есть границы. Петр Александрович так дружески всех запотчевал, что наконец все рады были кое-как помаленьку выбраться из этого разгульного Эльдорадо. Можно после этого судить, что

¹ Привходящие обстоятельства (*фр.*).

было выпито и съедено, если приказные желудки XVIII века не в силах были побороть разливанного усердия Сельмина. Мало-помалу ежедневная беседа его пустела, а сын начинал скучать. Окрестные барышни не привлекали его. Он смотрел на них свысока.

И сам старик Сельмин начинал скучать, видя, что застольники и собутыльники его мало-помалу скрылись и не возвращаются. Он придумал наконец еще одну уловку. Усадьба его была на большой дороге; станция была недалеко от господского дома, он приказал почтовому смотрителю не давать никому лошадей, а всех проезжих отправлять к нему в гости. Происходили презабавные сцены всякий день. Проезжие сердились, жаловались, кричали и все-таки отправлялись к Петру Александровичу, который так умел каждого обласкать и угостить, что все от него уезжали совершенно довольные, смеясь забавному средству помещика зазывать к себе гостей.

Однако ж отпуск Шанички (так старик звал своего гвардии офицера) приближался к концу, последние дни надобно же было попить. Все бежавшие гости воротились, зная, что на этот раз с отъездом сына тотчас же погонят всех со двора. На счастье Сельмина, и проезжих было немало, так что весь дом был битком набит и все кутили напропалую. Шаничкин отъезд назначен был на другое утро, прощальный пир должен был продолжаться весь день и всю ночь вплоть до отъезда.

Чего тут не было. Боже мой! Исчисление всех блюд и напитков этого пира, всех занятий и забав этого веселого общества показалось бы скучно нашим читателям, а между тем сколько тут исторических фактов. Тут виден весь образ жизни наших предков, их вкус, их склонности, степень их образованности, их понятия, их логика. *Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты таков*, — вовсе не парадокс новейших гастрономов. Пища и забавы лучше всего обнаруживают человека. Он тут не притворяется, он следует своей животной природе. Караульте тут людей, господа философы, вы больше узнаете, нежели из целых фолиантов Канта и компании.

Тогда был сентябрь... У нас на Руси, особливо в северной и средней полосе, много сентябрей в году, но это был настоящий. Серое небо сеяло на землю сквозь самое тонкое сито какую-то влажность вроде дождя, однако же то был не дождь, а пародия на него. Ветер холодный, пронзительный помогал ему пробивать с усердием всякую человеческую одежду. Грязь была, по милости тогдашних дорог, по колено, и несчастный

путешественник, которого судьба заставила ездить по тогдашним губернским дорогам, подвигался самым медленным и неприятным образом.

На станции, близ усадьбы Сельмина, остановился в это время какой-то проезжий. Он ехал не на почтовых, но в скромной кибиточке тащился парой на наемных, обывательских, и, подъехав к селу, объявил своему слуге, сидевшему на облучке, что намерен ночевать в этой деревне. Слуга спросил ямщика, где бы лучше переночевать барину, и тот, почесавшись, отвечал, что лучше всего ехать к помещику в усадьбу. Барин, сидевший в кибитке, вовсе не желая этой чести, сказал, что ему нужен ночлег и теплая изба; но в эту самую минуту высыпали на улицу станционные ямщики и закричали в один голос, что лошадей не дадут, а что, по приказанию помещика, всех проезжих велено отправлять к нему в дом.

— Да мне, братцы, ваших лошадей не надо,— отвечал проезжий в кибитке,— я еду на вольных.

— Да уж все равно, сударь,— сказал ему староста,— мы не посмеем никаких дать лошадок. Барин крутой, боже упаси. У него теперь пир горой, и он велел, волей или неволей, всех проезжих отправлять к нему. Уж не прогневайтесь, сударь, а отправляйтесь к Петру Александровичу. И погуляете и отдохнете. Он у нас прерадушный.

— Очень рад за вас,— отвечал проезжий.— Но я гулять не намерен; знакомиться не хочу, одолжаться не люблю. Егор (он обратился к своему слуге), постучись в первой избе и попроси ночлега.

Медленно стал слезать старый слуга, но ямщики остановили его и в один голос объявили, что не осмелятся принять к себе проезжего на ночь, боясь барского гнева. Все с поклонами окружили проезжего и умоляли его ехать к помещику.

— Еще одно испытание! — сказал проезжий, пожимая плечами.— Пожалуй! Я перенес не это. Ступай, Егор, к помещику. Поедем на пир.

При этом слове горькая улыбка показалась на лице путешественника и даже слуга его покачал головою. Ямщик ударил по лошадям, которые очень неохотно тронулись с места, и гурьба ямщиков провожала их до выезда из деревни, чтобы проезжий не передумал и не остановился где-нибудь в крайних избах.

Через четверть часа они дотащились до подъезда Сельмина. Лакеи, услышав подъехавшую кибитку, выбежали со

свечами и ввели нового гостя, доложив барину о прибытии этого невольного посетителя. Сельмин явился сам к нему.

— Верно, вам на селе не давали лошадей и отправили ко мне? — сказал он. — Уж извините. У меня праздник, и я не хочу, чтоб кто-нибудь проехал здесь мимо, не отведав моего хлеба-соли. Милости просим. Добро пожаловать. Если вы собираетесь браниться со мною за это насильственное приглашение, то прошу вас оставить ссору до завтра. Может быть, гнев ваш пройдет.

— Кто сердится, тот или не прав, или человек без образования, — отвечал проезжий, — мне не хотелось бы быть ни тем, ни другим. Напротив, я благодарю вас за гостеприимство. Позвольте об одном умолять вас. Велите мне дать какой-нибудь угол, чтоб отдохнуть и переночевать. У вас, я вижу, много гостей, а я самый дурной собеседник. Веселья всеобщего я ничуть не прибавлю, а скуку навести могу. Прикажите же поместить куда-нибудь меня и слугу моего.

— Все будет, и надеюсь, что вы будете мною довольны. Но позвольте же и мне просить вас погостить часок-другой с моими друзьями и знакомыми. Ваше первое слово доказало мне, что вы человек благородный и образованный. Следовательно, вы не можете отказать в просьбе хозяину. Меня зовут Петр Александрович Сельмин. Ко мне приехал в отпуск сын мой, гвардии офицер, Александр, завтра он отправляется обратно в Санкт-Петербург. Сегодня у меня прощальный пир, и кто ко мне попал в дом, тот будет не прав, если станет отказываться принять участие в моем празднике.

— Мое дело было предупредить вас, что я не гоюсь в праздничные собеседники. Если же вам угодно, чтоб я был в числе бесполезного балласта, то я охотно повинуюсь.

— Только по приезде в гавань показывается, какой товар дороже прочих, и я надеюсь, что вы будете в числе самых приятных и дорогих. Позвольте узнать, с кем я имею честь познакомиться?..

Проезжий с минуту не отвечал, печально посмотрел на хозяина, покачал головою и сказал наконец со вздохом:

— Я человек без имени, звания, родины и семейства... Угодно ли вам после этого, чтоб я оставался у вас?

— Непременно. Я виноват, что любопытствовал. Мое дело угощать, а не спрашивать. Прошу вас еще раз быть моим гостем и для начала откусать и согреться с дороги.

В эту минуту лакей подошел с большим подносом, на котором стояли разные напитки и который, для дебюта, являлся пред каждым вновь прибывшим гостем.

— Я, кроме воды, ничего не пью,— отвечал путешественник.

— Вот уж это невозможно. Сколько угодно и чего хотите,— сказал Сельмин,— но значило бы обидеть хозяина, отказавшись выпить что-нибудь за здоровье его сына.

— Не знаю, как же назвать, если насильно станут заставлять гостя пить.

— Очень просто: это закон учтивости и необходимости. С своим уставом в чужой монастырь не ходи, говорит пословица, и все должны ей покоряться.

— Повторяю вам, что я ничего не пью.

— Может быть, но сегодня у меня это необходимо. Вы будете первый человек на Руси, который нанес бы мне подобную обиду.

— Ради бога, не настаивайте!

— Окатите его! На голову лей! — закричало несколько голосов гостей, бывших навеселе, сидевших поблизости за карточными столами.

— Слышите ли, какие меры мне предлагают?— сказал Сельмин.

— Этим людям я не удивляюсь,— отвечал проезжий,— в них говорит вино, а не рассудок. К счастью, вы не похожи на них...

— Как? Что? Так мы пьяны? Кто вы, сударь? Как смели? — закричали обиженные гости, окружив хозяина и путешественника.

С холодным достоинством посмотрел на них последний и, обратясь к хозяину, сказал ему:

— Позвольте узнать, Петр Александрович, у вас ли я в доме нахожусь и с какого права эти господа требуют от меня ответа?

— Пейте, если хозяин велит! — закричали ему все.

— Хозяина я почитаю слишком благородным, чтобы он мог приказывать пить. Вас же нахожу довольно... забавными, чтоб вместо него распоряжаться человеком, вовсе вам незнакомым.

— Вот еще невидаль! Кто вы такие? — спросил один из гостей, подойдя к нему.

— А разве здесь заставляют пить всех без исключения? — сказал путешественник. — Если так, то я вам не мешаю, я же — простолудин и следую собственной своей воле и рассудку.

Около действующих лиц этой сцены собралась в минуту большая толпа, и все кричали: «Пить! Пить! Заставить его пить!»

Неизвестно, чем бы кончилось это явление, но путешественнику приходилось худо. Уже более десяти рук держали над ним бутылки и штофы, чтоб вылить на него влагу, которую он отказывался пить, и, если б он стал обороняться, может быть, эта стеклянная гроза и обрушилась бы на него. Вдруг явился гвардии офицер Шаничка, через всех ловко пробился к самому проезжему, сказал слова два в успокоение отца, схватил первого под руку, утащил с собою и, проведя в свою комнату, запер ее за собою на ключ.

— Сделайте милость, извините этих людей, — сказал он путешественнику, — они уже третий день пируют. Мне совестно за батюшку, что он окружил себя подобным обществом. Я очень рад, что уеду от них завтра. Не угодно ли вам у меня расположиться?.. Вы, верно, из Москвы?

— Нет! Я из Петербурга...

— А! Очень рад! Что там нового? Императрица не переехала еще из Царского Села?

— Я уж три недели как выехал из Петербурга...

— Так долго ехали?

— На долгих, мне торопиться некуда...

— Вы простите мое любопытство... Но мне кажется, что я вас видал в Петербурге... Лицо ваше мне так знакомо...

— Не может быть, — с горькою усмешкою отвечал проезжий. — Лицо мое принадлежит к числу умерших. Меня никто не знает и не может знать.

С удивлением посмотрел на него молодой Сельмин, не понимая странного его ответа.

— Я, однако, помню, — продолжал он с недоумением, — так точно! Не родня ли вы гвардии капитану Зембину?.. Я его часто видел, и ваше с ним сходство с первого взгляда поразило меня.

Путешественник смешался, побледнел, но отвечал, однако ж, довольно равнодушно:

— Нет! Я ему не родня. Наше сходство — дело случайное.

— Так вы его знаете?

— Да! Видал... во время последнего турецкого похода.

— А вы были в военной службе? Очень приятно познакомиться с вами! В каком полку вы служили?

— Я находился при главнокомандующем... и то недолго... Незначаящая рана и семейные обстоятельства принудили меня оставить это поприще... Но я вас задерживаю... У вас гости. Позвольте мне отдохнуть, мне рано надобно отправляться в путь.

— Это моя комната; вы в ней полный хозяин. Я оставляю вас и пришлю слугу. Сделайте одолжение, приказывайте.

— Мне никого не нужно. Со мною есть слуга...

— Ну, этот, вероятно, теперь в распоряжении наших челядинцев, и если он не одарен такою же твердостью, как вы, то, верно, его уже напоили. Уж это так водится.

— Очень жалко, я во всю жизнь не забуду вашего одолжения. Вы меня спасли. Бог знает, что бы тут произошло.

— О нет! Батюшка мой и добр и благороден... Но вы знаете провинциальные нравы.

В эту минуту старик Сельмин вошел.

— Ступай, Саша, к гостям да вели обнести чем-нибудь. Ты очень хорошо сделал, что увел сюда этого господина.

— С которым мне лестно было познакомиться. У нас есть много общих знакомых. Он был в военной службе, находился при главнокомандующем... я уж извинялся пред ним за наших гостей... Запировались.

При этом слове он ушел, а старик Сельмин, оставшись с проезжим, подал ему руку и также извинился в происшедшей сцене.

— Я их всех побранил,— сказал он.— Они приняли вас за соседнего помещика семнадцати душ. Он иногда отнекивается, и мы его обливаем.

— Очень сожалею, что он позволяет это с собою делать.

— Э! Как вы судите! У нас все делается по-приятельски. Творим, что думаем, и никогда не сердимся друг на друга за дружескую шутку.

— Это очень похвально.

— Я пришел к вам извиниться и просить вас пожаловать опять в залу к гостям.

— Нет! Избавьте, ради бога.

— Послушайте. Для меня это все равно. У меня дом открыт, и мое дело угостить и спать положить. Но собственное ваше достоинство требует, чтоб показаться опять перед всеми.

Я вас не спрашиваю, куда вы едете и кто вы, но вы везде с этими людьми можете встретиться, и они, видя вас в чести в моем доме, рады будут все для вас сделать. Я ведь угощаю всю губернию. Все у меня пьют и едят.

— Я вам душевно благодарен,— отвечал проезжий с некоторою задумчивостью,— но вряд ли мне в ком-нибудь будет нужда на этом свете, да и меня, кажется, дальше гроба нельзя гнать... Впрочем, я вижу, что вы истинно добрый и благородный человек. Если вам хотя несколько приятно может быть, чтоб я явился в залу, то я готов идти за вами.

— Очень рад, пожалуйста, пойдемте!

И вот таинственный вояжер опять явился в гостиной. Он был высокого роста, бледный, худой, с выразительными глазами, благородными приемами и серьезною физиономиею. Ему казалось около сорока лет, впрочем, его огненный взгляд, добрая поступь давали повод думать, что он гораздо моложе. Только морщины на лбу и на щеках обнаруживали преждевременную старость или тяжкие страдания. Одет он был совершенно по-дорожному, однако же чисто и скромно. Едва он появился в зале, как молодой Сельмин подвел к нему группу давешних крикунов, которые тотчас перед ним извинились в неуместной шутке.

— Помилуйте, господа,— отвечал он с хладнокровным достоинством.— Я вовсе не в претензии. Вы поступили по своим привычкам, я по своим, мы квиты. Мы все равно уважаем хозяина и готовы угождать ему. Я первый, чтоб сделать ему приятное, явился опять сюда и очень буду рад, если вы удостоите меня вашего лестного знакомства.

Все расшаркались, все пустились в фразы, извинения, рекомендации, и все-таки кончилось тем, что прежний навязчивый господин снова приступил к нему с вопросом: позвольте узнать, с кем я имею честь и прочее. Проезжий отвечал, что у него нет ни имени, ни рода, ни племени. Это опять взволновало все общество. Все начали громко шептать хозяину, что это неприлично, что всякий должен знать, с кем говорит, что в такой компании не должны быть безыменные люди и тому подобное. Вдруг молодой Сельмин расхохотался и обратил этим на себя внимание.

— Как это смешно! — вскричал он.— Ведь я вам говорил, что у нас, в провинции, и шутки понять не умеют. Видите ли, что я прав и вы проиграли заклад. Да, господа! Теперь я вам открою все дело. Завтра я уезжаю, это мой короткий приятель,

он заехал за мною, чтобы вместе отправиться. Мы уговорились, чтоб, приехав в последний день, он сыграл всю эту комедию. Я думал, что все будут смеяться нашей шутке, а вышло, что без формуляра здесь нельзя и глаз показать. Теперь кончено. В наказание за их недогадливость и я им ни слова не скажу. Пусть же они помучаются до будущего моего отпуска. Прошу вас молчать и никому не открывать вашего имени.

Все поглядели друг на друга с изумлением, проворчали разные полуизвинения и начали отпускать натянутые шутки насчет своей мнимой недогадливости. Старик Сельмин посмотрел на сына, покачал головою и замолчал. Гости разошлись опять за карточные столы, а молодой Сельмин взял проезжего под руку и стал с ним ходить по комнатам. Через час уже и забыли об этом эпизоде. Веселое расположение гостей не могло вдаваться в продолжительные обсуждения. Да ведь они и не за тем собрались. Один молодой Сельмин не отставал от путешественника. В первый раз он встретил человека с такою образованностию и душою. Таинственность его еще более усиливала участие, которое он к нему чувствовал. Уважая причины его скрытности, он не обращал разговора на этот щекотливый предмет, и гость был ему чрезвычайно благодарен за его деликатность. Наконец проезжий просил позволения удалиться, и молодой хозяин проводил его опять в свою комнату.

— Любезный Александр Петрович,— сказал ему таинственный гость,— я завтра, вероятно, уеду прежде, нежели вы встанете. Позвольте с вами проститься и поблагодарить вас еще раз за вашу милую выдумку насчет нашего знакомства. Вы меня два раза спасли от неприятностей. Вы сделали доброе и благородное дело. Мы с вами, верно, больше никогда не сойдемся в этой жизни, и я ничем не буду в состоянии отплатить вам за это...

— Перестаньте, пожалуйста... я вам гораздо больше обязан... После всех этих фигур, с которыми я провел целый месяц, встретил я наконец человека, какого редко найдешь и в столице. Не дадите ли вы мне каких поручений в Петербург? Кому там прикажете кланяться?

— Никому. Благодарю вас. Я умер для всех. Одно существо, которое помнит еще меня... но и его у меня похитили. Бог с ними! Я ни на кого не жалуюсь.

При этом проезжий закрыл глаза рукою, чтоб скрыть выкатившуюся слезу.

— Вы, кажется, говорили, что знакомы с господином Зембиным; не прикажете ли ему сказать чего?

— Ему? Скажите, что ему мертвый кланяется, или нет... лучше ничего не говорите.

Видя, что этот разговор чрезвычайно расстроил путешественника, Сельмин прекратил расспросы, пожал ему руку, простился и ушел. Проезжий бросился на диван и горько заплакал.

«Слава богу,— сказал он сам себе,— у меня есть еще слезы. Я думал, что уж выплакал их».

В этом-то печальном расположении духа ожидала его сцена вовсе другого рода.

Дверь комнаты его тихонько растворилась, и слуга его, Егор, едва держась на ногах, вошел, придерживаясь за стенку.

— Это ты, Егор? Откуда?.. Негодяй! И в каком виде!

Егор повалился в ноги.

— Виноват, батюшка,— сказал он ему печальным голосом.— Погубили меня злодеи, напоили, и все насильно. Виноват!

— Насильно! Это на них похоже, а все-таки мудрено. Ну, бог с тобою! Ступай спать, завтра пораньше встань, найми лошадей, и уедем.

— Да, батюшка, уедемте. Здесь просто беда. Видано ли это? Насильно напоили усердного слугу! Я ведь знаю, как вы не любите хмеля, я зарок себе положил никогда не пить.

— Да, я это вижу.

— Виноват, батюшка, простите, я долго отнекивался, отбивался, да злодеи начали обливать меня... Ну, что ж, думал я, и платье испортят, и дар божий пропадет... лучше уж покориться...

— И напился.

— Вестимо, батюшка. Глупый хмель пройдет, а обливаться вином куда больший грех. Злодеи-то не понимают этого... А вы сами умный человек, рассудите...

— Зачем же ты пришел?

— Власть ваша, не гневайтесь, простите.

— Ладно, убирайся спать, да пораньше лошадей.

— Будут, батюшка. Сам припрягусь, только простите, виноват.

— Ну, бог с тобою, ступай.

— Да как же-с можно? Мне ведь надо раздеть вас.

— Не нужно. Я и сам разденусь.

— Как можно-с. Это уж обидно, я вам старый слуга! Был и в Туречине и всегда вас раздевал. Уж коли простили вину, так не обижайте; позвольте раздеть вас.

— Я совсем не буду раздеваться. Ступай.

— Да как же это можно-с! Наш брат, так этак иногда повалится с горя в платье, а барам неприлично. Нет, уж позвольте раздеть вас.

— Я тебе приказываю идти спать! — вскричал путешественник, потеряв терпение. — Хочешь ли ты слушаться меня?

Как ни пьян был Егор, а грозный голос барина образумил его; он ощупью отворил двери и, кланяясь беспрестанно, вышел. Уж за дверьми осмелился он еще проговорить: «Виноват, батюшка, счастливо оставаться». Проезжий не ответил, бросился опять на диван и вскоре уснул.

ГЛАВА II

Он еще спал, а Егор давно уже стоял перед ним в ожидании его пробуждения.

Наконец и путешественник проснулся. Видя перед собою верного своего слугу, он улыбнулся:

— Да ты уж встал, Егор?

— Давно, батюшка, встал и вот жду, как вы изволите проснуться.

— Лучше б ты похлопотал о лошадях.

— Давно, сударь, обегал все село и пришел доложить вам, что дело худо. Видно, здешний барин очень крутой. Никто ни за какую цену не дает лошадей без его приказа. Я уж и к его милости ходил...

— Он, верно, еще спит?

— Нет, батюшка, давно проснулся и хлопочет об отъезде сына. Он со мною обошелся милостиво, я и об лошадях сказал; он отвечал, что будут и что это уж его дело. Вот, дескать, твой барин встанет, так я сейчас и велю.

— Поди же еще к нему и доложи, что я встал и прошу о лошадях... Постой, Егор! Больше он у тебя ни о чем не спрашивал?

— Как же-с! Он спросил, доволен ли я был, угостили ль меня, сыт ли я...

— Я не об этом говорю... Обо мне что спрашивал?

— Спросил: откуда едете? Из Питера. Куда? Не можем знать. Как фамилия барина? Не велел сказывать. Где служил? В военной. В каком полку? В гвардии... Уж не знаю, много ли бы он еще задал мне вопросов, но вдруг пришел сынок и упросил батюшку: зачем-де у слуг расспрашивать, да как, да на что? Старик и замолчал. Махнул мне рукою, и я, отвесив поклон, ушел.

— Сходи же и попроси лошадей.

Егор ушел, а проезжий оделся, готовясь сделать прощальный визит хозяину и его сыну. Но вдруг Сельмин сам явился.

— Здравия желаю, любезнейший гость! — вскричал он. — Мне сказали, что вы проснулись и уж собираетесь ехать. Послушайте: я не намерен удерживать вас, но, признаюсь, мне бы страх хотелось, чтоб вы у меня погостили день-другой. Вы мне чрезвычайно понравились, да и сын наговорил мне о вас так много хорошего. Послушайтесь доброго совета. Через час уедет Шаничка и все мои гости вслед за ним. Оставайтесь со мною. Право, вы не раскаетесь. По всему видно, что вы испытали много горя на свете. Кто знает, может быть, вы найдете во мне человека, который вам в чем-нибудь будет полезен. Ну, по рукам?

— Помочь нельзя, утешить еще менее возможно. То, что я испытал и перенес, — выше всякого человеческого воображения. Но я привык уже во всем покоряться судьбе. Благодарю вас искренно за ваше ласковое предложение и с удовольствием принимаю его, потому что вижу в нем не одно любопытство, которое очень обидно иногда, но и сердечное участие, которого я давно не встречал ни от кого.

— Ну, очень рад. Оставайтесь. Я вас излишним любопытством не огорчу, а может быть, дружеским участием и успокою. До свидания. Если хотите, приходите в залу к прочим гостям, а не хотите, так Шаничка сам зайдет к вам проститься.

— Позвольте мне остаться. Я не имею права сетовать на ваших гостей, но с этими господами мудрено найти разговор.

— Вы правы. Оставайтесь же, и до свидания.

Старик ушел, через несколько времени явился и сын.

— Мне батюшка объявил, что вы согласились погостить у него, — сказал молодой Сельмин, — позвольте поблагодарить вас за это дружеское одолжение, это истинный подарок для него. От всего сердца желал бы, чтоб вы с ним сошлись. Уве-

ряю вас, что он редкой души человек. Теперь позвольте с вами проститься, и если вам когда-нибудь нужно будет что-нибудь приказать в Петербурге, то смею вас убедительнейше просить поручить мне ваши комиссии. Я почту себе за особенную честь и одолжение всякое поручение.

— Очень благодарен вам за это ласковое предложение, — ответил путешественник. — Я на своем веку слышал столько фраз, что искреннее радушие людей мне приятно. Я не воспользуюсь вашим позволением потому только, что у меня ни в Петербурге, ни во всем обширном мире нет ни знакомых, ни родни, а еще менее друзей. У батюшки вашего я остаюсь потому только, что это ему угодно; но я уверен, что он в один день соскучится со мною и что я завтра же поеду дальше, а куда... Бог весть!

Они простились, и вскоре по утихающей суматохе в доме узнал он, что молодой Сельмин уехал, а вслед за ним и гурьба гостей.

Тихо вошел в комнату старый Егор.

— А что, батюшка, еще не прикажете укладываться? — спросил он, робко поглядывая на барина.

— Нет! Мы здесь останемся сегодня.

— Вот что-с. Ну, как прикажете. Меня люди звали сейчас завтракать, так я не смел идти...

— Ступай, только не по-вчерашнему.

— Как можно-с. Сегодня и им ни капли не дадут. Не на свои же они будут угощать. Да ведь я и не охоч до вина. Если б не к горлу пристали вчера, так, по мне, пропадай оно.

Он поклонился и вышел. Вскоре после него вошел старик Сельмин.

— Ну, теперь милости просим! — вскричал он. — Будьте как дома. Все разъехались, да и бог с ними. Навернулись, правда, слезы на глазах, как прощался с Шаничкой, ну, да как быть, на то и дворянин, чтоб служить. Не с отцом же сидеть за печкою. Пойдемте ко мне... Фу-ты пропасть! Мне ничего не надобно знать; да имя-то и отчество можно сказать. Неловко без них.

— И меня, и отца моего звали Григорьем...

— А! Григорий Григорьевич! Очень рад. Пойдемте же. Погода славная. Я вам покажу весь мой дом, не для хвастовства — вы, может, видали и лучше, а так, чтоб узнали мое житье-бытье.

Молча последовал за ним Григорий Григорьевич (будем покуда хоть так называть его). Проходя залу, увидел он развалины завтрака, только что истребленного. Сельмин привел его в свой кабинет, где приготовлен был чай, и только что усадил своего гостя и начал ему что-то рассказывать, как вдруг тот, глядя на стену, закрыл глаза рукою и залился слезами.

— Что с вами, Григорий Григорьевич? — спросил Сельмин с некоторым беспокойством.

Тот показал ему рукою на висевший на стене портрет. Это было изображение Екатерины.

— Боже мой! — вскричал он с чувством живейшей горести. — И ее я не увижу более!

— А вы, верно, испытали тоже ее милосердие... может быть, даже служили при ее особе...

— О! Об этой потере я не помышлял тогда! Глупец! Я потерял гораздо более, нежели думал! Я смел забыть, что жизнь моя принадлежит ей и отечеству... Но все равно!.. Воротить нельзя... Предадимся своей судьбе.

Несколько минут продолжалось молчание. Сельмин не знал, что думать о своем таинственном госте, но, видя его в слезах пред изображением Екатерины, он еще более почувствовал к нему уважения и сострадания.

— Я обещал и не буду вас расспрашивать, — сказал он ему наконец, — но истинно соболезную о ваших несчастиях, которые вы, по-видимому, испытали, и удивляюсь только, что в случае какой-нибудь несправедливости вы не обратились к нашей милосердной матушке царице.

Путешественник склонил голову и погрузился в глубокое размышление.

— Да! Вы правы! — сказал он после некоторого молчания. — Она одна могла бы спасти меня... но я и об этом забыл. Теперь кончено. Слово неизменно. Я отказался добровольно от имени, родины, от всего земного. Мне не на кого жаловаться. Мой жребий решен. Где-нибудь в темном уголку земли окончу дни свои, помогая ближнему по мере сил и возможности.

— Последняя черта обнаруживает в вас истинного христианина. Сейте *здесь*, пожнете *там*. Ну, а вы еще не выбрали себе жилища? Еще не решились, где жить?

— Нет! Объезжаю покуда тихим шагом всю Россию. Где приглянется уголок, там и поселюсь.

Сельмин немножко задумался и склонил разговор на другие предметы. Потом повел он гостя осматривать дом, сад, все

хозяйственные заведения и наконец предложил проехаться по полям. Проезжий повиновался, как автомат глядел на все рассеянно, отвечал без внимания, одобряя все по привычке и светской учтивости.

После дождливой ночи настал прекрасный, теплый день, какие у нас бывают иногда в сентябре под названием *бабьего лета*. Поля были усеяны рабочими, которые самым усердным образом торопились засеять их, пользуясь красным денечком. Вид человеческого трудолюбия и живительный воздух рассеяли несколько молчаливую тоску путешественника. Он внимательнее стал смотреть на красивое местоположение, на перелески, озера, холмы, он чувствовал, что человек никогда не может быть равнодушен к красоте природы. Мало-помалу завел его Сельмин в довольно густой лес. Дорога была чистая, гладкая и изредка поднималась на лесистые крутизны. У одной из подобных высот дорожки они остановились, и Сельмин пригласил путешественника взойти пешком. Выход на гору шел по ступенькам, искусственным образом обделанным ивовыми ветвями, и вился сквозь просеки лип, ольхи и берез. Достигнув вершины, путники увидели красивый павильон с маленьким бельведером. Живший тут сторож отпер им дверь и повел наверх. На открытом бельведере стоял мягкий диван; утомленный Сельмин бросился на него, чтоб отдохнуть. Но проезжий едва окинул взглядом открывшийся с этой высоты ландшафт, как вскрикнул от удивления и с восторгом всматривался в прелестную картину.

Что за странное чувство в человеке при виде красивого ландшафта? Покажи ему порознь все предметы: озеро, лес, гору, деревни, поля,— он равнодушно пройдет мимо них и едва обратит внимание. Но поставь его на вершину горы и покажи эти предметы в панораме,— он будет в восторге. А отчего именно? Оттого ли, что все это в самом деле красиво, или просто оттого, что он стоит на высоте? Последнее всего вероятнее. Проходя мимо каждого из этих предметов, человек видит себя таким маленьким сознанием, что ему совестно. Когда же он очутится на высоте, он с какою-то гордостью видит, что, в свою очередь, все они перед ним малы и ничтожны. Ему будто хочется сказать: это все мое! Я царь природы! Увы! Человек ни на шаг без эгоизма.

Сельмин нарочно привез таинственного гостя в этот павильон. Он туда часто возил и своих провинциалов, но зачерствелые их понятия не в состоянии были постичь прелестей

природы. Эстетического чувства мудрено было добиться от них. Они знали, что в озере вода, что лес идет на дрова, а в хижинах живут мужики. Чем же тут восхищаться? Насилу Сельмин встретил человека, который немым своим восторгом вознаградил хозяйское самолюбие, которое так часто терпело от равнодушия других посетителей. Он сам открыл несколько лет тому назад эту гору, эту панораму, он выстроил тут павильон, он возил туда всех своих гостей, и вот первый, который дал ему почувствовать все удовольствие открытия места и постройки павильона. Это чрезвычайно льстило его самолюбию. А кто не знает, что оно самый лучший путь к нашему сердцу? Умей только польстить — и ты умнейший в свете человек. Оскорби самолюбие — ты пошлый дурак. С этой минуты Сельмин вполне удостоверился, что таинственный гость его и учен, и добр, и знатен.

— Это восхитительно! Это несравненно! — сказал наконец путешественник, не переставая глазами пожирать прелести ландшафта.

— Очень рад, Григорий Григорьевич, что вам это понравилось. Здесь мое любимое место. Сам нашел и сам все устроил. Конечно, вы видали много и лучшего. Вы были в Турции, а там природа получше нашей...

— Все хорошо на своем месте, Петр Александрович. И в Константинополе есть прекрасные виды, но чтоб их вполне ценить, надобно...

Вдруг он замолчал, как бы спохватясь, что сказал лишнее. Сельмин удивился этой осторожности и спросил:

— А вы были в Царьграде?

— Да!.. Когда заключили мир... то из любопытства отпросился. Впрочем, срок был очень короток. Я почти ничего не видел.

— Жаль! А я было обрадовался и хотел пуститься в расспросы. Сам я никуда далее Петербурга и Москвы не ездил, а страх люблю слушать рассказы путешественников. Никаких книг я не читаю, да и некогда, а уж чуть появится путешествие, по ночам не сплю и прочту от доски до доски.

— А свое отечество хорошо знаете?

Этот вопрос, несколько неполитичный, смутил Сельмина. Он, заминаясь, отвечал:

— Ну, о своем что и знать? Ведь уж лучше Петербурга и Москвы нет, а остальное: дома, люди, реки, горы, — все похоже одно на другое. Что тут любопытного?

— Много, Петр Александрович... Вы вот и у себя нашли какое сокровище, а если хорошенько поискать, то нашлось бы и у других много хорошего. Поверьте, что, узнав хорошенько свое, мы бы не так хвалили *чужое*.

— Да ведь о нашем-то и описаний никаких нет, а о чужих краях и книг и картинок бездна. Поневоле читаешь... Да дело теперь не в том. Вам нравится это местоположение?

— Чрезвычайно. Я никак не ожидал найти здесь что-либо подобное.

— Так вот бы вам купить у меня этот павильон да поселиться в нем.

— А ваши гости стали бы приезжать смотреть на меня, как на дикого зверя? Нет! Мне надобно уединение и тишина.

— Да, кажется, очень ясно, что, купив вещь, вы делаетесь ее хозяином. Так разве можно ездить в гости к человеку, который вас не знает и не зовет! Я для того предлагаю вам эту покупку, чтоб вы могли совершенно удалиться от людей. Здесь вас никто не будет знать и видеть, и вы будете всякую минуту любоваться природою и заниматься, чем вам угодно. Что? Как вы об этом думаете?

— Вы очень добры. Не зная человека, вы хотите дать ему убежище. Что, если вы потом будете раскаиваться?

— В чем же? Хорош и ласков сосед, я его навещаю; не полюбил меня, мы не видимся. Вот и все. Мы разве мешаем друг другу? У каждого своя собственность. Никто друг другу не обязан; живет себе как хочет. Право, подумайте. Я бы недорого взял, а не понравится после, соскучитесь, возьму назад.

— Чувствую все ваше доброе расположение. Не заслужаю его и не имея даже средства заслужить и на будущее время, мне совестно быть вам в тягость. Впрочем, и отказываться я не имею права. Искренность и великодушие так теперь редки; я готов принять ваше предложение, где-нибудь надо же будет поселиться, так почему же не в соседстве с добрым и благородным человеком? Моя будет вина, если я ему наскучу. Тогда я удалюсь без ропота и сыщу другое убежище.

— Никакого нет резона надоесть нам друг другу. Вы будете видеть только тех, кого захотите и когда захотите. А соскучитесь сами, уедете, и бог с вами. Так по рукам! Этот павильон и гора, на которой он стоит, с этой минуты ваши. Поздравляю с покупкою.

Приезжий молча подал Сельмину руку в знак согласия и потом продолжал любоваться ландшафтом. Наконец оба поехали обратно домой.

Весь день прошел в разговорах о будущем образе жизни проезжего в нагорном павильоне. Сельмин убедил его взять покуда это место на аренду, выговоря себе за это самую незначущую цену. Ясно было, что он только хотел щадить деликатность незнакомца, назначая за это плату. А как павильон был только построен на летнее время, то решились тотчас же приступить к отделке его и на зиму. Это требовало времени, и до окончания работ проезжий согласился оставаться в доме Сельмина, отправляясь каждый день в новое свое жилище для надзора за работами. Главною надобностью для будущей жизни проезжий почитал книги, и Сельмин в тот же день по расписанию его отправил в Москву нарочного, чтоб привезти оттуда все нужное.

На другой день началась в павильоне работа, и путешественник стал постоянно проводить свои дни, а иногда и ночи в новом своем жилище. Когда же привезли книги и отделали павильон, то он совсем переселился туда.

В продолжение этого времени, однако же, оба лица узнали друг друга покороче и взаимно почувствовали один к другому уважение. Чем больше Сельмин узнавал проезжего, тем больше открывал он в нем величия души, благородства, познаний и доброты. И тот, с своей стороны, если не находил в Сельмине много образованности, то видел непритворную доброту и искренность. Как скоро какой-нибудь посетитель въезжал во двор Сельмина, путешественник удалялся чрез сад и отправлялся в свой нагорный павильон, но всякий день или Сельмин приезжал туда, или таинственный гость являлся к нему.

Настала и зима. Образ жизни проезжего продолжался тот же, с тою разницею, что он часто заезжал в окрестные деревни к крестьянам, которым нужна была какая-нибудь помощь. Как Егор, старый слуга проезжего, ни приучен был к молчаливости и уединению, но, заведя у себя коров, птиц и других домашних животных, он первый вошел в сношения с окрестными крестьянами и, зная доброту своего барина, пересказывал ему о разных несчастных случаях с ними. Тот сейчас же спешил подавать им помощь, и слава этих благодеяний распространилась повсюду. Мало-помалу начали к нему являть-

ся из отдаленнейших деревень за помощью, и никому отказу не было. Это подстрекнуло Сельмина. Он требовал, чтоб его собственных крестьян отсылать к нему, и проезжий повиновался, видя, что Сельмин действительно помогал каждому. Зато другой род помощи прославил путешественника. Пользуясь сведениями, приобретенными в медицинских книгах, он выписал себе из Москвы довольно порядочную аптеку и давал советы и пособия всем, страдавшим каким-нибудь недугом. Многие удачные опыты распространили его славу по всей окрестности, и всеобщее имя *отец и благодетель* было для него лучшею наградою. Другие полезные его занятия увеличили его влияние и всеобщую к нему любовь. Он предался агрономии и заставил большую часть крестьян отказаться от старинных предрассудков. При них он делал опыты, объяснял им пользу нововведений, улучшал их способы земледелия, и все повиновались, потому что верили ему. Мельницы, каналы, дороги — все подверглось постепенному преобразованию. Сельмин ежедневно радовался счастливому случаю, который привел этого человека к нему. Он всякий раз писал об этом к своему сыну, и тот, в свою очередь, благодарил таинственного гостя за дружбу его к отцу.

Кто же он был? Об этом Сельмин перестал наконец и думать. Всегдашнее печальное расположение духа давало чувствовать, что этот человек испытал какое-нибудь великое несчастье, но где, какое, от кого — это было покрыто непроницаемою завесою. Земская полиция добивалась до обнаружения этой тайны, но Сельмин объявил однажды им, что если кто из них хоть малейшим образом покусится беспокоить незнакомца, то чтоб не знал и дома Сельмина. А как система угощения его оставалась все в прежней силе, то никому не хотелось терять такое выгодное знакомство. Мало-помалу и это любопытство прекратилось. Все перестали заниматься таинственным путешественником, а он продолжал трудиться для всеобщей пользы и добра.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, говорили в старину, и мы должны пропустить без малейшего описания эпизодов целых пять лет. Жизнь этих людей была так однообразна все это время, что нечего сказать о ней. Проезжий решительно сделался отцом и благодетелем всей округи, и даже Сельмин всегда давал ему это название.

Расскажем лучше о случае, который произвел большую перемену в образе жизни пустынного.

Это было в конце мая. Пустынник этот день провел весь у Сельмина; к вечеру, когда он собирался домой, пошел проливной дождь с бурей, грозою, так что старик уговорил его остаться ночевать. Тот остался и поутру встал раньше всех, чтоб уехать в свой павильон. Но едва он начал одеваться, как в дверь к нему выглянула голова привратника сельминского дома.

— Можно ли, батюшка Григорий Григорьевич, войти к вашей милости? — спросил он его.

— Войди. Что тебе надобно?

— Да у нас приключилась такая оказия... Барин еще почи-
вает... да к нему не всегда сунешься с докладом... Не ровен час...

— Ну, что же случилось?

— Да вот извольте видеть. Вы знаете, что я раньше всех встаю... и двор подмести, и лестницы подтереть, и собак накормить...

— Говори прямо, что случилось?

— Да вот извольте видеть. Встал я ранешенько. После вчерашнего дождя утро было ясное, как ни в чем не бывало. Я отпер калитку на улицу, чтоб и за воротами подмести. Что ж, сударь? На самом пороге калитки, вижу я, лежит ребенок и спит, как Божий птенчик, самым сладким сном.

— Ребенок?.. Кто-нибудь из ваших же подкинул.

— Что вы, сударь, Григорий Григорьевич! Как это можно? Кто у нас осмелится подкидывать ребят в барский дом? Да и на что это? У нас, слава богу, станет хлеба про всех. С голоду никто не умирает. С какой же беды подбрасывать детей?

— Кто-нибудь согрешил... незаконное дитя...

— Э, сударь! Бог с вами! У нас такими делами не занимаются. На селе выдают девок полуметками, по двенадцатому, тринадцатому году. Нет, сударь! Это не из наших, а уж бог весть откуда. И ребенок не простой, а барский.

— Барский? Что за вздор? Откуда? Мы всех соседей знаем наперечет.

— И мы уж с поваром Филькой по пальцам всех пересчитывали. Выходит, что не из здешнего околотка.

— Откуда же? Это странно! Как ребенок одет?

— По-барскому. И подушечка в головах, и теплым одеялом прикрыт. Видно по всему, что сонного принесли и тут положили.

— Это очень любопытно. Я сейчас приду, посмотрю.

Через пять минут пустынный был уже у ворот. Действительно, мальчик лет четырех-пяти лежал в глубоком сне, окруженный любопытною дворней. Он был одет в суконной курточке, вышитой золотыми шнурками, в белых канифасных брючках; тонкий воротник батистовой рубашки раскинут был по плечам. Подушка и шелковое одеяло довершали доказательство, что ребенок не из простолюдинов. Прекрасное личико его блистало улыбкою и во сне. Светло-русые волосы вились локонами по шее — словом, то был тип младенческой красоты.

Погруженный в глубокую задумчивость, пустынный долго рассматривал дитя. Какое-то сильное чувство волновало грудь его, но он не сказал ни слова и тихими шагами пошел назад в свою комнату.

— Что ж, батюшка Григорий Григорьевич, прикажете с ним делать? — спросил привратник.

— Ты останься тут и покарауль ребенка, — отвечал пустынный, — а вы все разойдитесь по своим местам.

Последнее было сказано дворне, которая молча повиновалась. Сам же он отправился к Сельмину.

Долго еще спал ребенок. Наконец он потянулся и открыл глаза. С минуту смотрел он с удивлением на окружающие предметы, потом с боязнию вскричал:

— Няня, где ты?

— Няни твоей здесь нет, милое дитяtko, — сказал ему привратник, — но ты у добрых людей, и они тебя не покинут.

Пристально посмотрел ребенок на говорящего мужика и не отвечал ни слова. Через минуту, однако же, снова закричал:

— Няня!

— Не пора ли вставать, сударь? Умойся-ка да помолись Богу.

— А где няня?

В эту минуту пришли Сельмин и пустынный.

— А! Душечка, здравствуй! — вскричал Сельмин. — Выспался ли ты? В гостях не надо так долго спать. Вставай! Пойдем чай пить.

С недоверчивостью посмотрел ребенок на говорившего.

— А где папа? В карете? — спросил он.

— Нет, душечка, и папа и карета уехали, а ты остался у нас погостить.

— А мама? Где мама? — прибавил он робко.

— Тоже уехала, да она воротится; а ты у нас покуда погостишь, поиграешь... Пойдем же в комнату. Ты пьешь по утрам чай?

— Как же! Да сперва надо вымыться и помолиться... А что, разве теперь утро?

— Разумеется. А что же, по-твоему?

— Не знаю: я уснул недавно в карете... Солнышко садилось в черные тучи. Мы ехали так скоро... А когда приехали и как остановились здесь — не помню.

— После вспомнишь, дружок, теперь пойдем.

Ребенок повиновался. Однако же, пройдя несколько шагов, остановился, поежился, пощупал свою грудь, засунул руку за курточку и вытащил оттуда какую-то бумагу.

— Что это? — спросил Сельмин.

— Не знаю. Разве няня положила. Я буду после вырезать из нее куклы.

Но Сельмин взял уже бумагу, прочел ее, внимательно посмотрел на пустынного и молча повел ребенка за руку в комнаты. Там сдал он его на руки своему камердинеру, чтоб его умыть, дать помолиться и потом привести к нему. Сам же пошел с пустынным в кабинет.

— Поздравляю, любезный Григорий Григорьевич, — сказал он ему полушутливым тоном. — Это подарок тебе.

— Как мне? Какой подарок? — вскричал тот, покраснев.

— Да уж нечего краснеть. Прочти и признавайся.

Он ему подал бумагу, вынутую ребенком из-за пазухи.

Она была без подписи, но едва пустынный взглянул на нее, как закрыл глаза рукою и опустил в кресла.

— Это от него! — вскричал он. — Несчастный! Вражда его так же слепа, как и непримирима.

Тихо начал он читать роковую записку. Она была следующего содержания:

«Петр Александрович человек добрый и благородный. Но я очень сожалею, что он дал убежище другому человеку, который не стоит его дружбы. Наруша священнейшие узы природы, может ли он быть верным кому-нибудь? Притом же у этого человека нет ни имени, ни звания. Он добровольно отрекся от них, потому что чувствовал себя недостойным быть в обществе благородных людей. Каким же образом он вкрался в доверенность Петра Александровича?.. Впрочем, это не мое дело. Мой долг был только предостеречь. Между тем про-

шу Петра Александровича передать этому человеку ребенка, которого я нарочно оставил у ворот. Скажите вашему знакомцу, что мне чужого не надо и что я без живых доказательств знаю всю правду. Скажите ему, что ребенок этот умер для всего света, потому что я представил уже и свидетельство об его смерти. Если этот человек хочет пощадить хоть сколько-нибудь известную ему особу, то чтоб я никогда не слыхал больше ни о нем, ни о ребенке».

Долго смотрел пустынный на мертвые, таинственные буквы письма, так жестоко напоминавшие ему несчастную его судьбу. Он совсем забыл, что перед ним стоит Сельмин и с любопытством наблюдает за каждым выражением его физиономии. Прошедшее в виде грозного привидения представилось ему вдруг так ясно, что он невольно зарыдал.

— Ради бога, любезный Григорий Григорьевич, успокойтесь,— с искренним чувством сказал Сельмин.— Несчастья никогда не должны побеждать истинного христианина. Вы сами столько раз мне твердили, что жизнь наша не что иное, как испытание. Переносите его мужественно и верьте в правосудие Божие.

— Да! Оно одно только и остается мне, потому что от людей я ничего не ожидаю, кроме злости и несправедливости. Я и решился переносить свою судьбу без ропота. Я сам себе ее выбрал и прощаю моих врагов. Но я хотел терпеть *один*, а теперь!.. Этот бедный ребенок... За что он осужден? Может ли быть что бесчеловечнее и несправедливее?

— Вы знаете, что я уже уважаю все ваши тайны, но я не вижу причины так огорчаться участью ребенка. Если он был в руках у человека, который жесток и несправедлив, то не лучше ли ему быть у вас? Вы ему замените отца... А что касается до странного объявления в письме, что он выдал его за умершего, то, кажется, это всегда легко переделать. Если тот, кто писал эту записку, действительно нашел средство достать свидетельство о мнимой его смерти, то вы сейчас же можете послать просьбу в Синод¹; оттуда пошлют по всем епархиям, и верьте мне, что у нас ничего подобного сделать нельзя. Я даже думаю, что вам только хотели погрозить или огорчить вас. Все, что незаконно, сейчас разрушится перед малейшим розыском правительства.

¹ С и н о д — высший государственный орган в России (1721—1917), ведавший делами Русской православной церкви.

Мрачно опустил путешественник голову на грудь. Успокоили ли его убеждения Сельмина, или собственная решимость одержала верх над первым порывом отчаяния, он через минуту вздохнул свободнее и протянул руку великодушному своему хозяину.

— Душевно благодарю вас, добрый Петр Александрович, — сказал он ему, — за ваше сердечное участие. Вы совсем забываете, что письмо говорит вам обо мне. Я не стою вашей дружбы и доверенности.

— Вот видите ли, Григорий Григорьевич, у меня дурная привычка судить о людях не по словам, а по делам. Если бы писавший это письмо был прав, то он бы подписал свою фамилию или сам бы явился, чтоб уличить вас в том, в чем он может обвинить. Он этого не сделал, так я покуда почитаю его за клеветника, а о вас остаюсь при прежнем своем мнении. Не переменяйтесь и вы ко мне, и, верьте, у нас пойдет хорошо. Через два-три дня мы и забудем о письме.

— Нет, любезнейший Петр Александрович, долг мой требует теперь оставить вас. Я не хочу, чтоб кто-нибудь мог подозревать меня в бесчестных поступках. Сегодняшнее письмо, этот ребенок — все должно подать вам повод к догадкам, невыгодным на мой счет. Открыть всего я вам не могу. Вы сами теперь видите, что это не моя тайна. А быть предметом каких-нибудь подозрений, пересудов всех соседей...

— Ну, уж воля ваша... Человек вы умный, а говорите бог знает что. Мы, кажется, с вами живем не день, не два. Кажется, могли узнать друг друга. Неужели вы думаете, что я стал бы притворяться перед вами и не выказал бы всего, что думаю и чувствую? Ошибаетесь, Григорий Григорьевич. Я уже отживаю свой век и не переменюсь ни для кого. Вы видите сами, как я трактую всю губернию... Хорошо, так очень рад, дурен, так и вон прошу; я к этому всех здесь приучил, и все это знают. С первого взгляда вы мне понравились; чем более узнавал я вас, тем сильнее чувствовал к вам дружбу и уважение. Теперь хоть сто писем и столько же ребят пусть присылают, я ни на волос не переменю своего мнения. Оставить меня вы можете, это в вашей воле, но это будет величайшая с вашей стороны несправедливость. У меня отнимаете вы одного друга, которого я здесь имею, а весь околоток лишите благодетеля и покровителя. За что? За то, что безыменное письмо вас бранит... Ну, основательно ли это? Воля ваша, а вы не правы.

— Да, не прав, и благодарю Бога, что он мне послал человека, который меня мирит с человечеством. О! Несчастное письмо право: оно вас назвало человеком добрым и благородным. Оно право и в том, что я человек без имени и звания и что сам добровольно отказался от них...

— Да бросьте вы, пожалуйста, это глупое письмо, я о нем и знать не хочу. Кто-то подкинул сюда ребенка. Тем лучше. По русским приметам, это Божие благословение. Мы заменим ему место отца, и поверьте, что дитя будет счастливо. Ну же, Григорий Григорьевич, вашу руку!.. Забудьте все, что теперь случилось. Вы не должны со мной расстаться, не правда ли?

Молча подал пустынный руку Сельмину. В эту минуту привели ребенка, который все еще робко и печально озирался.

— А! Здравствуй, дружок,— сказал ему Сельмин.— А как, бишь, тебя зовут?

— Саша.

— Ну так, Сашенька, садись вот сюда и пей чай. Послушайте, Григорий Григорьевич,— сказал он, обратясь к пустыннику.— Не из пустого любопытства, а только чтоб познакомиться с дитятею, я его буду обо всем расспрашивать, на что он отвечать может. Не огорчит это вас?

— Тот, кто так жестоко и бессовестно оставил своего сына на большой дороге, верно, знал, что ребенка будут обо всем расспрашивать. Следственно, это его дело. Тайнственность нужна ему, а не мне.

Сельмин начал свои расспросы:

— Ну, откуда же вы, дружок, ехали? Из Москвы или из Владимира?

— Не знаю.

— Ты тогда говорил, что видел солнце, как оно садилось. С которой стороны оно было?

— Ни с которой. Оно все уходило за карету. Я становился к дверцам, чтоб видеть его.

— Значит, вы ехали из Москвы. Ну, а много ли вас сидело в карете?

— Четверо: я, папа, няня и Егор.

— А мама?

— Мама осталась дома. Она плакала...

— О, ради бога, Петр Александрович,— вскричал пустынный,— не спрашивайте у него о бедной матери. Мы с ним оба заплачем.

— О, будьте спокойны. Вопросы мои будут самые невинные. Ну, дружок Саша, а долго ль вы ехали с папенькой в дороге?

— Не знаю.

— Ночевали ль вы где-нибудь дорогою?

— Не знаю. Я спал. У нас горели фонари в карете. Я смотрел на них и спал.

— Ну, а помнишь ли ты, что ты вчера делал?

— Помню. Вчера мы тоже ехали, где-то обедали. Вечеру я чаю не пил, а дали мне рюмку чего-то сладкого. Я помаленьку все выпил. Мне захотелось спать... Тут мы приехали домой... я видел маму, папу. Она все плакала и целовала меня, а папа все кричал и сердился.

— Это было во сне.

Ребенок отпил чай и опять стал звать няню.

— Ее, душечка, нет здесь. Ее увез папа. Они будут через несколько дней.

— Да мне папы не надо. Я хочу няню.

— Да, если папа не хочет, чтобы ты был с нянею, так ведь надо же его слушаться?

— Ах да! Он и то все сердится.

— За что же? Ты, верно, все шалишь, капризничаешь?

— Я при нем и не пошевелинись, а он все бранит.

— Ну, это все пройдет. Вот тебе новый папа,— сказал Сельмин, указывая на пустытника.— Он не будет браниться.

Робко посмотрел Саша на пустытника и печально склонил голову.

— Ну, чем же ты занимаешься? Во что играешь? Какие у тебя игрушки?

— Да у меня были разные куклы: разносчик, солдаты, молочница, пузатый немец. Они ходили друг к другу в гости, разговаривали, и мне было весело.

— Ну, я тебе велю купить новых кукол, а куда их привезут, что ж ты будешь делать?

— Я буду из бумаги вырезать. Дайте мне ножницы и бумажки.

— Хорошо, дружок, все получишь. Будь только умницей и не скучай.

Любопытно было посмотреть на старого добряка, который принялся хлопотать около мальчика, чтоб его рассеять и занять. Он не менее самого ребенка был доволен, когда увидел,

что тот забыл все свое горе и преспокойно стал вырезать бумажные куклы, которые заставлял ходить, говорить, плясать и сражаться. Когда он соскучился этими играми, Сельмин повел его по саду, рвал для него цветы, ловил бабочек, и таким образом в продолжение дня Саша привык к нему, полюбил его и ни разу не вспомнил о няне. Пустынник провожал их повсюду, хотя и редко мешался в разговор. По всему было видно, что он с трудом преодолевает сильное волнение чувства, и Сельмин не обращался к нему вовсе ни с какими вопросами. К вечеру все трое отправились к пустыннику в павильон, и Саша чрезвычайно был доволен дорогою и новым своим жилищем. Сам Сельмин устроил мальчику кровать, уложил его и не прежде уехал, как тот уснул. С жаром пожал пустынник при прощании руку благородного старика и долго смотрел ему вслед, когда он уехал. Тут только, предоставленный самому себе, несчастный снова зарыдал и бросился на землю, но из этого отчаяния извлек его голос другого друга, не менее преданного, хотя и более скромного, голос старого его слуги.

— Батюшка, Григорий Григорьевич,— сказал он, подойдя к нему,— пожалуйста в комнату. Теперь роса, трава мокрая, простудитесь.

Тот угрюмо взглянул на него и не отвечал ничего.

— Сделайте милость, встаньте и пожалуйста в комнату. Послушайтесь старого своего слуги. Ей-богу, простудитесь.

— Что ж за беда? — сказал сквозь зубы пустынник.— Скорее конец. Жизнь моя никому не нужна. Одним несчастным на свете менее.

— Грех, сударь, большой грех накликать на себя болезнь и смерть. Вы всегда были, право, добрым христианином и знаете Писание. Если Бог наслал горе, надо терпеть его. На том свете все с лихвою заплатится. А теперь надо беречь себя. У вас теперь есть о ком и позаботиться. Бог дал вам нежданного гостя.

— Ты знаешь ли, кто этот ребенок?

— Как же не знать, сударь? С первого взгляда узнал. Как две капли воды на отца похож и на вас, Григорий Григорьевич. Ах ты, боже мой! Что это сделалось с Иваном Григорьевичем, что он собственное свое детище...

— Молчи и никогда никому не смей проговориться, что знаешь, чей он сын. Ты прав. Я теперь должен посвятить свою жизнь, чтоб загладить вину брата, сделав счастье его сына.

Пойдем... Смотри, с этой минуты будь неотлучно при нем. Береги его как глаз...

— Вестимо, батюшка, Григорий Григорьевич, кому же и присмотреть за дитятею? Я ведь один у вас. Займу его не хуже няньки Василисы.

Пустынник вошел в комнату, взглянул на спящего ребенка, повергся пред иконою Божией Матери, и теплая молитва успокоила наконец бурю его чувств. Он стал хладнокровнее, рассудительнее; обдумал все будущее и составил себе план, каким образом воспитать ребенка.

ГЛАВА III

Как медленно текут часы и как быстро пролетают годы! Вот вечная жалоба людей, которым нечего на свете делать. Найдите же себе занятия, которые бы развивали ваши познания, займитесь таким делом, которое полезно всему обществу, и вы увидите, что и часы текут слишком быстро, что вам бы надо было не двадцать четыре часа в сутки, а по крайней мере тридцать шесть и что слово *скука* изобретено праздностью и невежеством. Человек создан для деятельности, для усовершенствования самого себя. Это цепь его занятий, и она бесконечна. Дойдя до предела жизни, всякий сожалеет о лучшей половине дней своих, даром потерянных, без пользы погубленных. Всякому хотелось бы воротить их, но неумолимая смерть выводит его в вечность, и чем мы там будем заниматься, известия еще не дошли до нас. Так до времени трудитесь, делайте что-нибудь полезное, а пуще всего не скучайте. Это самая дурная рекомендация вашей образованности. У человека много есть предметов, которыми можно заняться.

Пока у Сельмина не поселился пустынник, старик часто скучал, хотя всякий день у него были гости. Теперь он все жаловался, что недостает времени на исполнение всех планов, которые он ежеминутно предпринимал. Пустынник с первой минуты своего поселения в павильоне был бы очень несчастлив, если б стал только заниматься своим горем. Но он вздумал быть благодетелем окрестной страны, и это занятие смягчило удручавшую его печаль. Теперь появление Саши было для него новым ударом, но он отчаянно противопоставил веру в Провидение и победил горе беспрестанными заботами о ди-



тяти. Сперва слух о чудесном появлении ребенка привел в движение все умы и языки окрестных провинциалов, но после многих догадок и советов все решили, что это сын пустычника, которого он сам велел привезти, что это, вероятно, плод какой-нибудь таинственной любви и что Сельмин только притворяется, что будто ничего не знает, а в самом-то деле, верно, заранее знал обо всем. Таким образом перестали наконец говорить и об этом, а пустынный между тем продолжал заниматься воспитанием ребенка.

Система детского воспитания находится еще на степени младенчества. В науках, в механических искусствах, в гражданском законодательстве, в промышленности и комфорте мы делаем чрезвычайные успехи и все уверяем себя, что человечество идет вперед, а главный предмет человеческой жизни — *первоначальное образование человека* все на той же самой степени, на какой было за сто, за двести, за триста лет. Конечно, это не России касается. Настоящая ее жизнь началась только с благословенной династии Романовых, а первоначальное воспитание с великого монарха-самоучки, который сперва сам всему выучился, чтоб после учить свой народ. Следственно, мы — младшая семья европейской образованности и во сто лет не могли далеко уйти. Но наши старшие братья, что же они делают? Как они воспитывают своих детей? Заботятся ли они, чтоб с малолетства делать из них людей полезных, добрых, образованных? И не думают! Тысячи ученых обществ толкуют о физиологии человеческого рода, а ни одно не вздумает заняться исследованием, как воспитать младенца. Как было прежде, так и теперь, так и в будущем поколении. Сперва избалуют ребенка на руках необразованных мамок и нянек, которые натолкуют ему всякий вздор, как будто стараясь подделаться под идеи детей. Сперва изнежат его или излишнею заботливостью матерей, которые думают, что любят детей своих, когда исполняют их капризы, или при равнодушии светских родительниц оставят ребенка на произвол нянькам и слугам, которые внушают ему все чувства своего состояния и невежества. Учить его слишком рано боятся, чтоб не утомить слабые силы умственных способностей; потом вдруг принимаются мучить детей разными азбуками, складами, письменами, грамматиками, цифрами, ландкартами, историями, и несчастное создание сидячею жизнью и утомительным напряжением памяти добьется наконец до двадцати лет. Тут он начинает другой младенческий возраст. Он в обществе столько неопытен,

как и пятилетнее дитя, целые двадцать лет проводит с такими малолетками, у которых образовались свои идеи, свои правила, свои мечты. Во все это время видел он во взрослых только своих учителей, и те вовсе не думали говорить ему об обществе и его условиях; они толковали только о науках, которые обязаны были преподавать, и то каждый по своей методе. Родители же и знакомые, с которыми он иногда видался в это время, говорили ему одно: учись, душенька, и обращались как с ребенком, не почитая за нужное посвящать его в таинства вседневной, общественной жизни. Таким образом выучившийся юноша вступает в свет, не зная о нем ровно ничего. Лет десять надобно ему горькою опытностью и неудачами добиваться познаний, как жить и вести себя с людьми, как снискивать их дружбу и как самому быть полезным другим. И вот ему уже тридцать лет. Вот когда он начнет только жить... Что ж, надолго ли? Через десять лет он уже говорит, что ему пятый десяток и что ему все надоело. Следственно, десять лет! Бедное человечество!

А самая метода учения! Кто ее выдумал? Верно, это наследие готов и вандалов. Все основано на механизме памяти, ничего на рассуждении; все сидеть да твердить; все по принуждению, из наказаний или награждений: собственного побуждения, любопытства, жажды к познаниям никто не добивается. Как будто боятся сделать их слишком рано людьми. Варварские, арабские цифры идут прежде ясной геометрии.

Учат географии, не дав понятия об астрономии. История становится вытверженной хронологией: о моральном смысле ее никто не думает; о применении к познаниям нравов, законов, военного искусства, идей промышленности и торговли никто не заботится. Учитель учит, потому что получает за это плату. Курс кончен, на экзамене отвечал бегло, ступай в свет; служи, живи, женись — и воспитывай детей своих точно так же. Это ужасно! О всем пишем, пишем истории, романы, повести, драмы, стихи, а иногда и ученые книги. Подвинули ли они воспитание хоть на шаг? Нисколько. Пишут иногда и об этом предмете, но все это спекуляция, а философическо-физиологическая цель, к чему она? Разве кто живет для этого? Живут для того, чтоб сделать карьеру или обогатиться, все прочее вздор. Да если б и стал кто-нибудь писать подробную поучительную чепуху, разве бы кто послушался его? И не взглянули бы на такую книгу.

А сколько, сколько надобно писать о способе воспитания!.. И не о методах учения, а о воспитании с самого младенчества. Когда, по-видимому, это маленькое существо лишено еще способности рассуждать, уже тогда зарождаются в нем пороки и добродетели, которые характеризуют его в зрелом возрасте. Первая болтовня, первые идеи, первые привычки, впечатления составляют основу этого животно-умственного создания, называемого человеком. Эти игрушки должны бы быть первыми наставителями его; убаюкивания кормилицы должны бы были заключать в себе нравственные идеи; болтовня няньки должна уже внушать правила жизни и добра. Мы стараемся применить к детским идеям, чтоб они могли понимать нас. Какая жестокая ошибка! Мы должны их возвышать к нашим понятиям. Не заботясь о присутствии детей, мы кричим, ссоримся, бранимся при них, а иногда и хуже этого делаем: это первый зародыш будущих их пороков.

Но довольно! Все это мечты, и если они когда-нибудь сбудутся, нас давно не будет. Наше дело только сказать, что пустынник понимал всю важность первоначального воспитания детей и почти безотлучно был при Саше, чтоб караулить все его впечатления и направлять все мысли. Он выучил его говорить по-французски и по-немецки тем, что каждый день в неделе назначен был для которого-нибудь из них. Читать он выучился уже тогда, как умел писать, то есть соединяя обе вещи без азбуки и складов. Геометрию знал он прежде, нежели умел сделать сложение. По вечерам в ясную безлунную ночь умел он назвать все звезды на горизонте и знал главные свойства каждой планеты, не зная еще географических границ Европы. Всемирную историю мог он рассказать, как приятную сказку, не зная еще, что сам он русский и что цель жизни его — польза отечества. И все это он приобрел, не сидя и не сгибаясь за школьною лавкою, где обыкновенно приходят с полуготовым или вовсе невыученным уроком для того, чтобы разговаривать с товарищем о будущих или прошедших шалостях, — нет, он узнал это, бегая по полям, работая в саду или привыкая к хозяйству. Собственное любопытство его требовало пояснения: каким образом делается масло или отчего гремит гром? Как печется хлеб и куда заходит солнце? Из чего делается рубашка, откуда берется дождевая вода в облаках? Чего он не понимал, то спрашивал другой, третий, десятый раз — и таким образом затверживал все.

Так прошло десять лет. Саша был уже пятнадцатилетний мальчик, и Сельмин не мог надивиться и нарадоваться его успехам. Один пустынный замечал только странную черту этого юношеского характера и приписывал ее первым годам детства, проведенным с матерью, с няньками, которые его баловали, и с отцом, которого он боялся, как зверя. Саша был робок с мужчинами и весел, жив, остер с женщинами (которые иногда приезжали к Сельмину); впрочем, он надеялся, что публичное воспитание, которое было ему еще необходимо, изгладит эту странность.

В тот день, как ему минуло пятнадцать лет, пустынный объявил ему, что в скором времени отвезет его в Москву и отдаст в университет, чтобы там окончить курс наук. Это известие сперва испугало, опечалило Сашу. Он привык ко всем существам, мелькавшим вокруг него, и прежняя жизнь совсем изгладилась из его памяти. Об отце и матери вспоминал он чрезвычайно редко, и то как будто отдавая себе отчет в смутном сне, когда-то им виденном. Ни Сельмин, ни пустынный никогда не говорили ему о первых днях его младенчества. Ему же самому и в мысль не приходило, что он должен быть чей-нибудь сын и иметь какую-нибудь фамилию. Зная в области наук гораздо больше, нежели обыкновенно в эти года знают, он не знал, что был чужой всем окружающим его лицам. Привыкнув звать *дяденькою* и Сельмина и пустынного, он думал, что ему больше ничего не нужно. Увы! Этот приятный обман должен был вскоре кончиться.

Пустынный сообщил, разумеется, свой план Сельмину, и тот не только одобрил его, но еще решился ехать с ним в Москву. Имя его и знакомства могли там помочь Саше и отворотить всякие затруднения при приеме, а таинственность пустынного умножила бы их только. Хотя пустынный и чувствовал, что эта поездка была новою жертвою его дружбы, но он не отказался от нее, потому что польза Саши требовала того. Сам он не мог явиться в общество. С лишком пятнадцать лет протекло с тех пор, как он оставил свет, и в это короткое время все изменилось в обществе, в котором он жил. Екатерины II не стало, известие об этом повергло пустынного на несколько недель в глубокую печаль. Мало-помалу газеты известили его, что большая часть людей, которых он знал в свое время, исчезли с политической сцены. Явились другие, и отчуждение от света казалось теперь пустынному не так уж тя-

гостным. Но вот прошло еще четыре года, и новое, славное царствование озарило Россию. Опять он узнал, что новые светила взошли на горизонт общественной деятельности, и ему теперь казалось, что он, являсь даже под настоящим своим именем в свет, был бы совершенным *пустынником*. Так одно десятилетие изменило все.

Во время своей пустынноческой жизни у Сельмина он через него познакомился с одною важною духовною особою, и как печальное состояние его души влекло его к набожности, то он часто старался видаться с этим архипастырем. Тот тоже чрезвычайно полюбил его, и беседы их всякий раз открывали прекрасные качества души обоих этих лиц. Под печатью духовного покаяния вверил пустынный всю тайну своей жизни этому человеку, который принял с тех пор живейшее участие в судьбе страдальца и в маленьком приемыше, которого рождение было теперь ему известно. По самому счастливому стечению обстоятельств случилось, что в то именно время, как пустынный собирался ехать в Москву с Сашею, эта духовная особа была вызвана туда же для занятия какого-то значительного поста духовной иерархии. Он сам предложил пустыннику по приезде своем в Москву остановиться у него в монастыре, бывшем где-то за городом, и это было для пустытника новым счастьем. Он чувствовал, что нельзя оставить Сашу на произвол судьбы и что ему должно поселиться в Москве на все время его университетского курса. Предложение духовной особы спасло его от сообщества со светом, а ходатайство Сельмина должно было помочь формальному ходу приема Саши.

Приготовления к отъезду тянулись очень долго, потому что прием совершался весною, а они начали собираться с осени. Наконец решено было отправиться по последнему санному пути в Москву.

Более всех доволен был Саша. Он уже столько начитался о чудесах Москвы, что воображение его рисовало ему во сне все здания, которых описание он находил в книгах. После Саши старый Егор был особенно рад счастью юноши. Он во все это время заменял ему няньку и дядьку. Привязанность его к нему равнялась неизменной верности к пустыннику. Одним словом, он был один из тех типов служительской преданности, какую можно найти только в России.

Наконец все отправились в Москву и пристали в монастыре у духовной особы, которая ранее их уже туда приехала. Разумеется, только пустынный с Сашею остались тут, а Сель-

мин через два дня переехал в город к одному из своих знакомых. Сына его, Сашеньки, который уже был тогда капитаном гвардии, не было тогда в Москве: Аустерлицкая кампания вызвала русских на первую попытку с Наполеоном. Со дня на день ждал Сельмин известия о возвращении, потому что война была кончена и, по газетам, войска наши уже давно шли обратно на родину. Носились, правда, слухи, что, вероятно, скоро опять придется подраться, потому что с Наполеоном мудрено было ужиться; но эту государственную тайну знали немногие, а массе народа какое было дело до будущего. Сельмину только хотелось свидеться с своим Сашенькою, обнять его, благословить и опять махнуть рукой на многие лета.

Тотчас же по приезде пустынника отпустил он Сашу с Егором, чтоб осмотреть Москву. Можно вообразить себе впечатление, которое произвел на Сашу вид обширной столицы! Церкви, здания, площади, многолюдство — все его изумляло и восхищало. Вдруг какая-то задумчивость овладела им. Только в эту минуту какое-то смутное воспоминание привело ему на память, что когда-то он видел тоже такие здания, храмы, улицы; но где, давно ли — в этом он никак себе не мог дать отчета. Он спросил, однако же, Егора об этом, и тот имел довольно догадливости, чтоб уверить его, что это был сон.

— Вы, сударь дома начитались в книгах столько о Москве,— сказал он ему,— что вам, верно, часто снилось об этом... Вы мне даже не раз рассказывали об этом. Вот теперь вам кажется, что видели где-то Москву.

Саша принужден был согласиться, потому что другого ничего не придумал.

Хлопоты Сельмина о приеме его в университет начались тотчас же по приезде. Тогда существовал еще во всей красе университетский благородный пансион, и туда-то надобно было поместить Сашу, потому что поступающие оттуда в университет пользовались большими преимуществами, если не в правах и чинах, то, по крайней мере, в общественном мнении. Хотя неважного труда стоило достать свидетельство об его рождении и крещении, но пустынник имел, конечно, причины желать, чтоб Саша поступил под другою какою-нибудь фамилиею. Следственно, главное затруднение предстояло в том, чтоб убедить ректора принять Сашу под чужим именем. В этом помогла ему та духовная особа, с которою пустынник познакомился еще в деревне Сельмина. Зная тайну его жизни, он сам отправился к ректору и, не открывая ему причин, побуждав-

ших скрывать фамилию ребенка, ручался, однако, что рождение его законно и что он родовой дворянин. При выпуске надеялся он, что обстоятельства позволят принять ему настоящую фамилию, но до тех пор он просил, чтоб один ректор знал ее и хранил у себя его бумаги. Подобной особе отказать было нельзя, и Саша внесен был в список под именем господина Тайнова.

Сам же архипастырь привез потом и Сашу вместе с Сельминым и пустынником. По особому уважению к лицу ходатая освободили даже Сашу от обычного экзамена при приеме, потому что ректору представлен был реестр предметам, которым тот обучался. Их было гораздо более, чем требовалось, следственно, ректор не хотел показать ни малейшего сомнения к словам протектора молодого ученика.

Объявлено было, что испытание сделано и что Александр Тайнов получил полное число баллов.

Дружески пожал покровитель руку ректору и после дружеского разговора уехал с Сельминым и пустынником, оставляя Сашу, которого ректор отвел в класс и наилучшим образом рекомендовал профессору, читавшему в это время свою лекцию.

С любопытством смотрели на Сашу прочие молодые студенты, и слово *протекция* перелетало шепотом по всем скамьям. Все полагали, что Саша не более как *маменькин сынок*, который явился для того, чтоб посидеть между ними года два, взять аттестат и служить потом под крылышком какого-нибудь *благодетеля*. Однако же мнение это переменилось, когда профессор обратился к Саше с некоторыми вопросами, чтоб узнать, знает ли он хоть *что-нибудь*. Саша, от природы довольно словоохотливый, не потерял присутствия духа и высказал все, что знал по этой части. Все были в изумлении. Сам профессор осыпал вновь прибывшего похвалами, и с этой минуты прочие студенты увидели, что молодой Александр Тайнов заслуживает их дружбу и уважение.

Когда класс кончился, профессор снова вступил в разговор с Сашею, и все окружили их. Когда же профессор ушел, толпа студентов не отходила от нового товарища. Всякий осыпал его вопросами, на которые бедный Саша отвечать почти не мог. Его спрашивали: кто его отец, где служит, где живет, богат ли, много ли крестьян, в каком пансионе Саша воспитывался и тому подобное. Кое-как объяснил он самым настойчивым все, что пустынник приказал ему рассказывать, и это сно-

ва расхолодило жар студентов. «Дьячок, семинарист!» — ворчали они и, пожав плечами, удалялись. Когда же увидели Егора, который пришел за ним и звал его домой в *монастырь*, то большая часть студентов начали громко смеяться над бедным молодым человеком, который почти со слезами спешил уйти от них.

Придя домой, рассказал он все происшедшее пустыннику; тот успокаивал оскорбленное самолюбие юноши всеми возможными доводами рассудка и религии. А Сельмин еще более потом убедил его, рассказав, что везде так поступают с новопринятыми и что это больше делается из зависти к его познаниям.

На другое утро отправился он опять с Егором, которому Сельмин приказал отнести какое-то письмо к ректору. В этом письме описана была встреча, сделанная Саше студентами. Сельмин просил ректора оказать юноше свое покровительство по этому случаю. Ректор опять отвел сам Сашу в класс и, рекомендуя другому профессору, объявил, что вновь принятый студент воспитывался у духовной особы, известной своим строгим благочестием, а потому просил профессора внушить всем прочим студентам, чтоб они над новопринятым товарищем не смеялись и еще менее смели бы обижать его, в противном случае подвергнутся взысканию. По уходе ректора профессор сказал несколько поучительных фраз и принялся за Сашу, чтоб испытать его познания. И на этот раз испытание кончилось самым удачным образом: Саша отвечал быстро, ясно и удовлетворительно.

Когда кончился класс, студенты в ожидании прибытия другого профессора обступили Сашу и, не решаясь явно нападать на него, старались язвить намеками и остротами. Однако же приход профессора прекратил эту сцену, и Саша на этот раз сам явился рекомендоваться.

— Господин ректор говорил уже мне о вас, господин Тайнов, — отвечал профессор, — и мне очень приятно иметь в числе своих учеников такого отличного молодого человека.

Эти всеобщие похвалы и хороший прием начальников убедили вскоре прочих студентов, что гораздо лучше подружиться с Сашею, нежели ссориться с ним. Ближайшие товарищи его на той лавке, где он сидел, прежде всех старались связать с ним знакомство. Первые попытки их были, однако же, не очень удачны, потому что Саша, по новости ли самого положения, по действительной ли склонности к учению, обращал

все свое внимание на слова профессора и просил своих товарищей не мешать ему слушать. Это рассердило его соседей.

По окончании классов профессор остался на некоторое время между студентами для частного разговора с некоторыми из них. Тут два обиженные товарища пристали к Саше с бранью,— профессор тотчас же помирил их. Еще явился один из старых студентов, Леонов, и просил товарищей не дразнить Сашу, объявив себя его защитником.

В эту минуту пришел Егор, и как новый защитник Сашин уговаривал его идти с ним погулять, но он решительно же объявил, что обязан являться к своему дяде. Саша, обласканный ректором, отправился со своим Егором домой.

ГЛАВА IV

Саша учился на славу и вел себя отлично. Однако же сам пустынный, которому он ежедневно пересказывал о своих занятиях и прочих происшествиях, советовал ему не отклоняться от дружбы товарищей. Он дал ему позволение ходить в гости, когда его приглашают, и, стараясь только удаляться от пороков, входить, однако же, в общества и сообразоваться с направлением занятий. Позволение сначала обрадовало Сашу. Он спешил им воспользоваться, и Леонов — тот студент, который прежде принял Сашу под свое покровительство,— был первый, к которому он явился. Тот был в восторге и ежедневно более и более сближался с *келейником* (так решительно все прозвали Сашу). Несколько раз звал он его к себе в гости, но Саша всегда отговаривался строгим приказанием дяди. Теперь вдруг Саша сам к нему явился, и молодые люди решительно подружились.

Леонов был из хорошей фамилии. Отец его был полковником и в Итальянскую кампанию 1799 года пал под Нови. Оставшаяся после него вдова занялась воспитанием детей: сына Николая и дочери Марии. Как мать, она имела один недостаток: она слишком любила детей своих, оттого Николай и был несколько своенравен и вспыльчив, а Мария... та еще, к счастью, не успела или не умела испортиться. За излишнюю любовь матери платила она такую же любовью, тем все и кончилось. Страсть к нарядам, музыке и танцам получила она, верно, не от этого, а в виде родовой наследственной болезни,

которая, впрочем, вовсе ее не портила. Николаю было девятнадцать лет, а ей шестнадцать. Состояние их было довольно значительное и, следственно, круг знакомства обширный.

Появление Саши в доме их имело большое влияние на все семейство. Все его полюбили. В одно посещение он успел сделаться домашним человеком, несмотря на свою застенчивость. Мать Леонова любила Сашу, как сына, Николай привязался к нему, как к брату, а Мария еще больше. Странное чувство разлилось в груди Саши при виде первых женских существ, принимавших его с нежностью и любовью. О ласках матери давно уж он забыл, и только по временам смутное, неопределенное воспоминание, как будто виденного сна, приводило ему на память младенческие годы. Ласки матери Леонова невольно извлекали у него слезы, а отчего — он и сам не знал! Он только чувствовал, что эти ласки составляют какое-то высокое, священное наслаждение, которое напоминает ему что-то былое, сладостное, непостижимое. Что же касается Марии, то это была еще первая девушка, с которою Саша говорил, на которую смотрел так близко, которая была с ним так ласкова и любезна. До тех пор видел он часто у Сельмина женщин и девушек, но едва обращал на них внимание. Все они казались ему существами, без видимой цели скользящими по жизненной дороге. Только из книг (которых выбор был очень строго определяем самим пустынником) узнал он мало-помалу влияние женского пола на судьбу людей. Правда, он задумывался над этими событиями, не понимая, какую материальную или нравственную власть может иметь существо столь слабое, как женщина. О физиологическом различии полов он не имел достаточных понятий. Строгий род воспитания оставил его в совершенном недоумении на этот счет. Собственные же размышления ни к чему не вели. Теперь только, при виде Марии, почувствовал он вдруг какой-то радостный трепет; что-то давило грудь его, однако же эта боль была приятна; какой-то легкий туман часто покрывал глаза его, однако же черты Марии казались ему и сквозь этот сумрак еще прелестнее. Женщина! Девушка! Эти слова были теперь беспрестанною целью его размышлений, которые, распаляя его воображение и волнуя сердце, не имели, впрочем, ничего определенного. Ему казалось только, что свет и люди должны быть вовсе не так дурны, как их везде описывают, и доказательство своего мнения находил он в том, что Мария живет между ними.

И долг повиновения, и чувства сердца обязывали его рассказывать все пустыннику. С каким жаром описал он ему новое свое знакомство. Какими красками изобразил мать и дочь! Угрюмо и печально слушал отшельник полудетский рассказ его, изредка взглядывал в это время на Сашу, казалось, любовался прекрасным выражением лица его и откровенностью; казалось, готов был улыбнуться при восторженности его описаний, но оканчивалось тем, что он уныло покачивал головою и вздыхал.

— Я знал некогда отца Леонова,— сказал пустынник.— Он был добрый, честный и почтенный человек. Дай бог, чтоб и сын его был таким же. Посещай, друг мой, этот дом. Тебе надобно привыкать к свету. Составляй и другие знакомства. Не скрывай только от меня ничего. Я этого требую для твоей же пользы, для твоего спасения.

Саша с нежностью поцеловал руку пустынника и обещал исполнить его волю.

С тех пор Саша почти ежедневно был у Леоновых; новая жизнь, новые идеи, новые ощущения начали быстро развиваться в его душе. Доселе рос он сиротой, а теперь вдруг находил ласки матери, и нежность сестры, и любовь брата. Собственные его чувства, подавленные дотоле однообразным воспитанием, холодною, строгою заботливостию, вдруг воспламенились в груди. Незнакомые, сладостные ощущения наполнили его сердце. Он был вполне счастлив. С тех пор рама жизни его увеличилась, все в природе казалось ему светлее, веселее. Поутру — науки, товарищи, ввечеру — Леоновы, Мария... и в заключение всего — дядя-пустынник, который, сохраняя всегда и для всех свою строгость, холодность и печальную задумчивость, казалось, для одного Саши становился день ото дня ласковее и снисходительнее. Наконец, добрый его слуга, этот дядька, всегда верный, неизменный и послушный, довершал картину его прекрасной жизни. Ни нужды в настоящем, ни заботы о будущем — ничто не возмущало юношу. Везде любовь и удовольствие. Мало-помалу он приобрел и другие знакомства. Все его любили; кто за хорошенькое личико, кто за тихий и веселый нрав, кто за светлый ум и познания. В особенности отличался он в обществе дам и девиц. Там, где всякий на его месте был бы робок, молчалив, застенчив, он, напротив того, был весел, говорлив, смел и любезен. Тут вполне развивалась всегдашняя его страсть к музыке и танцам. И Леонов и товарищи удивлялись редким его качествам и

сообщительности. По несколько часов умел он проводить в обществе женщин, говоря с ними о нарядах, танцах, милых безделицах, которые им так приятны и которые молодые люди так неудачно заменяют пошлыми комплиментами, унылыми взглядами и страстными вздохами. Все завидовали Саше в редком его искусстве, которое он так скоро приобрел и которое быстро сделало его маленьким кумиром дамских обществ.

В невинную насмешку над его мнимо-монастырским воспитанием звали его здесь *le petit abbé* (маленьким аббатом), впрочем, всеобщее любопытство ничего более и не знало. Все почитали его сиротою, лишившимся в малолетстве родителей и призренным с тех пор дядею. Да и сам Саша то же самое думал. Отеческие попечения о нем пустынного, всеобщее молчание окружающих его о младенчестве и оставлении Саши у ворот дома Сельмина — все заставляло его думать, что пустынный действительно его дядя. Притом же Саша был от природы такого счастливого характера, что редко задумывался над первоначальною таинственностью своей судьбы. Он был доволен и блажен в настоящем. Какое ему было дело до мрака в прошедшем и будущем. Ко всем удовольствиям нового образа жизни Саши присоединилось еще частое посещение театра. Но и здесь странность вкуса его была поводом к вечным насмешкам товарищей над ним. Саше нравились балеты.

Рассказывая ежедневно пустыннонику свои впечатления и чувствования, Саша передал ему и это новое наслаждение молодой своей жизни. Старик слушал яркие рассказы юноши и своими замечаниями очищал идеи его о столь новом и увлекательном предмете; описал ему состояние древнего греческого театра, цель его, народное участие в этой забаве, состязание авторов и влияние литературы на народную славу и благоденствие. Задумчиво слушал его Саша. Все это и прежде он читал, но только теперь начинал проверять свои познания с впечатлениями, полученными на опыте. Они вовсе не согласовались между собою. По какой-то непостижимой странности он никак не видел в *театре* эстетической и нравственной стороны, соединенной с литературною славою нации: он находил в этих зрелищах одну прихоть праздности, одно удовольствие всех сословий, одно препровождение времени, одно действие для рассеяния, забавы, а вовсе не для поучительной цели. И этого ощущения не скрыл Саша от пустынного. Тот покачал головою.

— Ты не прав, мой друг,— сказал он ему кротким голосом.— Твои превратные понятия происходят от того, что ты более посещаешь оперы и балеты. И те и другие созданы для одних глаз и минутных чувственных наслаждений. Музыка может еще возвышать нашу душу, но для этой высокой цели пишут немногие. Все прочие хотят льстить чувствам и раздражать нервы, страсти, не заботясь о нравственной цели. Балет же это — самая искаженная часть театра. Я знаю, друг мой, что слова мои покажутся тебе слишком строгими. Ты, верно, подумаешь, что лета мои и род жизни внушают мне отвращение к этой отрасли народных забав... Нет, милый мой! Это внутреннее убеждение. Я не принуждаю и не могу тебя принудить разделять мои идеи... Но я все-таки обязан сказать тебе мое мнение.

— Если вы прикажете, дяденька,— сказал Саша, потупя взоры,— то я буду ходить в одни драматические спектакли.

— Нет, друг мой. Я этой ошибки не сделаю. Мне бы приятно было, если б ты сам собою полюбил творения Шекспира, Шиллера, Корнеля, Расина и наших драматургов, но приказывать тебе — значило бы сеять в душе твоей тайное к ним отвращение... Может быть, ты сам когда-нибудь почувствуешь справедливость моих слов. Собственное убеждение всего нужнее.

Он обнял Сашу и отпустил его. Задумавшись, пошел тот в свою комнату и пересказал свой разговор дядьке своему Егору. Тот, ничего не поняв из доказательств *pro* и *contra* балетов, объявил, однако же, что, во всяком случае, Григорий Григорьевич прав.

На другой день Саша имел случай проверить слова дяди с собственными своими чувствованиями. Он пошел смотреть «Дмитрия Донского»¹. Но сколько в душе его ни было детской готовности к повиновению, однако же он не чувствовал в сердце ни малейшего перевеса в пользу *трагедии*. Не раз, правда, патриотические выходки главного лица воспаляли его, но любовь *Ксении* казалась ему натянутою, неестественное появление ее в стане противоречило тогдашним нравам, а упорство, с которым Дмитрий хочет жертвовать для любви благом родины, было даже противно не только исторической истине, но

¹ Трагедия В. А. Озерова (впервые поставлена в 1807 г.). Владислав Александрович Озеров (1769—1816) — известнейший в свое время драматург, трагедии которого соединяли в себе черты классицизма и сентиментализма.

и приличию. Саша в тот же вечер передал пустынноку свои впечатления, и на этот раз добрый старик одобрил суждения юноши, прибавя, что уж и в этом большая польза от драматических представлений, если зритель может делать подобные замечания, которые очищают вкус и облагораживают сердце. Ошибки великих авторов всегда поучительны, как скоро сочинения их имеют высокую цель. В балетах же и операх так же легко прощают ошибки, как без внимания пропускают иногда гениальные красоты.

Таким образом проводил Саша свое время: от ученья — к невинным забавам, от отеческих наставлений — к приятностям дружбы. Ему казалось, что он был счастливейшим созданием в свете. Все его любили, все ласкали. Как недоверчиво качал он всегда головою, если где-нибудь находил в книгах мрачные картины света и людей. Ему казалось, что это клевета или болезнь авторского сердца.

Наступило время Святков. Тогдашние полупатриархальные нравы московских жителей допускали еще домашние маскарады, на которые съезжались знакомые и незнакомые. На одну из таких вечеринок были приглашены и Леоновы; Николай предложил Саше отправиться вместе с ними. Без малейшего размышления Саша согласился. Оставалось только каждому придумать себе костюм. Прежде всего занялись Сашею и после долговременного прения положили нарядить его в женское платье. Привесили ему фальшивые букли, привязали шиньон, затянули в корсет, дали одно из лучших платьев Марии, и когда он по окончании своего туалета явился на смотр к Леоновой и к Марии, то обе поражены были изумлением.

Перед ними стояла прелестнейшая девушка со всеми очарованиями молодости и красоты. Если б они не были заранее уверены, что это Саша, то никак бы не узнали его. Стройность, нежность, белизна рук и плеч, и на лице ни малейшего следа юношеского возраста. Они заранее приготовились смеяться; но при виде Саши забыли все. Даже Николай, занимавшийся костюмированием его и приведший его к матери и сестре, почувствовал какое-то невольное удивление, когда взгляделся в переодетого своего друга. Несколько минут все находились в каком-то странном положении, не зная, что сказать друг другу. Саша принужден был говорить за всех, и уже его веселость возвратила мало-помалу всем присутствие духа. Начали шутить, хвалить, рассматривать, учить Сашу женским приемам и походке, предполагать забавные встречи от этого переодевания

и наконец решили тем, чтоб никому не объявлять на вечеринке настоящего имени Саши, а выдавать его за недавно приехавшую родственницу Леоновых.

По окончании всеобщего туалета они поехали. Саша, чтоб ознакомиться с новою своею ролью, должен был дорогою вести разговор с Мариєю, как девушку и родственницу называя ее *chère Marie, cousine*¹ и *ты*. Все смеялись, поправляли его ошибки, учили составлять милые полужелания или бросать взгляды и в таких занятиях подъехали. Надев маски, вошли они в залу и рекомендовались хозяевам. Старуха Леонова шепнула хозяйке свое имя, и та спешила принять ее со всевозможною ласкою. Николай отправился к толпе мужчин, а Саша уселся подле Марии, нашептывая ей забавные замечания насчет своего положения. Оно действительно сделалось вскоре весьма любопытным. Начались танцы; жар принудил гостей мало-помалу снимать маски; все между собою короче познакомились, и бальная веселость одушевила молодежь. Вскоре начались со всех сторон спросы и расспросы о Саше. Старуха Леонова и Мария должны были сто раз рассказывать историю мнимого своего родства с ним — и дюжины любезников уживались около его кресел. Слава о красоте Саши до того распространилась, что даже из игорных комнат вышли старики, чтоб посмотреть на *приезжую красавицу*.

Вскоре начались и танцы. Саша выдерживал свою роль со всевозможною осторожностью. Хотя многие опытные танцовки и поглядывали на него иногда с некоторым удивлением, но все кавалеры были в восхищении и бросали на него самые страстные взгляды. Чтобы избавиться от разговора с посторонними, Саша танцевал чаще всего с Николаем, и все завидовали счастливцу. Более всех пленился Сашею некто Сельмин. Это был человек лет тридцати пяти, полковник и богач. Он не сводил глаз с Саши, однако же долго не хотел ни у кого спросить о нем. Наконец во время мазурки сам Саша, давно заметивший эту наблюдательную фигуру, подбежал к Сельмину и ангажировал его. Тот машинально последовал приглашению и пламенными взорами пожирал *красавицу*. Окончив круг, он посадил Сашу и остался за его стулом.

— Я очень счастлив, что вы удостоили меня своим вниманием, — сказал он Саше. — Но если б только смел спросить, какому случаю обязан я этим счастьем...

¹ Дорогая Мария, кузина (фр.).

— Вы, я думаю, знаете, полковник, что женские причины всегда очень маловажны,— отвечал Саша.— Я давно заметила, что вы уединенно стоите у колонны. По равнодушию ли это было с вашей стороны к танцам или к танцующим, но мне стало обидно за всех, и я хотела заставить вас поневоле разделить всеобщие забавы, которые вы, кажется, презираете.

— Я не думал, чтобы вы могли быть так несправедливы... Позвольте, в защиту мою, сделать вам один вопрос. Любите ли вы живопись?

— Кто же может не любить ее!

— Что сказали бы вы о том человеке, которого бы нашли перед картиною Рафаэля, с немым восторгом стоящего по целым часам?

— Я бы полюбопытствовала сперва узнать, высокое ли чувство живописи заставило его остановиться или сходство картины с кем-нибудь из любимых сердцу особ...

— И то и другое! — сказал Сельмин шепотом, наклонясь к Саше на ухо, и быстро ушел от него, как бы боясь сказанного.

Саша готов был расхохотаться, но Николай напомнил ему о приличии играемой роли и поднял его опять к танцам. В антрактах садился Саша к Марии или ходил с нею по залам, рассказывая ей о своих победах над сердцами танцоров. В один из таких антрактов принуждена была Мария вести Сашу в уборную, чтоб поправить наряд его, и здесь, пользуясь коротким обращением, всегда существующим между молодыми девицами, он осмелился поцеловать ее. Мария не могла ни обидеться, ни рассердиться. Поцелуй был дан при других девицах и был самою обыкновенною благодарностью за дружеские услуги между ними. Одна Мария чувствовала всю неясность поцелуя, но должна была молчать в эту минуту, а после, когда они воротились в танцевальную залу, вскоре и забыла о нем.

Здесь явился опять Сельмин. (Пора сказать читателю, что он был сын Петра Александровича, которого мы в начале романа видели гвардии офицером. Старик вскоре после помещения Саши в университет уехал жить в свою деревню. Скучно было бедняку теперь без пустынного; но нечаянный приезд сына вознаградил его за все. Его Саша явился полковником, которому дали полк, и радость старика была неописанная. Проживя с отцом месяц, полковник воротился в Москву — и вот он на бале.) На этот раз привел он с собою еще наблюдателя. То был генерал суровой наружности, которого Сельмин вытащил из-за бостона своими рассказами о *красавице*.

Молча указал ему Сельмин свою красавицу и ожидал от него восклицаний восторга и удивление. Он, однако же, ошибся. Генерал несколько минут смотрел со вниманием на Сашу, но чем более в него вглядывался, тем угрюмее и недовольнее становился. Наконец, не сказав ни слова, он быстро повернулся и ушел обратно в ту комнату, где играли в карты. Сельмин последовал за ним и требовал объяснения у своего приятеля в странном поступке. Но тот, вместо всякого ответа, настоятельно просил его разведать о всех подробностях семейства и жительства *красавицы*.

— Да я уж все знаю,— отвечал Сельмин и пересказал ему все, что Леонова объявила хозяйке о мнимом своем родстве с Сашею.

Казалось, этот рассказ успокоил генерала, он продолжал свой бостон, а Сельмин снова пошел на свой наблюдательный пост и там дождался счастья быть выбранным Сашею во время мазурки. На этот раз он не мог ничего сказать своей красавице, потому что фигуры танца передали ее во власть другого танцора и он должен был воротиться на свое место.

Вскоре пошли ужинать. Сельмин кое-как завоевал себе место против Саши и беспрестанно бросал на него самые пламенные взоры, служа предметом его насмешек, тихо нашептываемых Марии, которая, давно уже забыв про поцелуй, привыкала к свободному обращению Саши. Тесное соседство за ужином было поводом к маленьким вольностям с его стороны, но как между девицами они ничего не значили, а соседки окружали и Сашу и Марию, то последняя поневоле должна была переносить невинные шалости своей мнимой родственницы. Но вот ужин кончился, и все стали разъезжаться.

Во время переезда Леоновых с бала до дома Саша продолжал пользоваться правами своего переодевания и вольностями, к которым привык в короткое время, а Мария не смела при матери и брате остановить его, боясь неприятных последствий. Всю дорогу хохотали над победами Саши и над его ловкостью во время бала. Более всех говорили о Сельмине, который успел втереться в знакомство Леоновой и, вероятно, должен был явиться с визитом. Последнее обстоятельство поставляло всех в затруднение, но после некоторого совещания решили сказать Сельмину, что Саша-девица должна была по внезапной болезни отца уехать в деревню и что брат ее Саша остался гостить в Москве. Таким образом надеялись поправить свою шутку.

Саша остался ночевать у Леоновых и уже на другой день отправился к пустыннику, чтобы отдать ему подробный отчет в прошедшем дне.

Всякий молодой человек скрыл бы, разумеется, ту часть происшествий, в которой одно внутреннее чувство было уликою; но Саша видел в пустыннике не только своего благодетеля и воспитателя, но и второго отца. Всякий рассказ казался ему исповедью, всякое признание — обязанностью. Он рассказал ему *все*.

Внимательно слушал его пустынник и изредка покачивал седою головою.

— И тебе понравилось это переодевание? — спросил он Сашу с некоторою задумчивостию.

— Понравилось.

— И ты чувствовал желание нравиться и прельщать?

— Для шутки.

— Что же чувствовал в это самое время к Марии?

— Она мне нравилась больше всех. Теперь я чувствую, что виноват перед нею, осмелев оскорбить ее скромность, но вчера я находил в этом большое удовольствие.

— Всякий проступок, сын мой, увлекает своею приятною стороною. Но зато на другой день всегда следует раскаяние. Хорошо еще, если нужно раскаиваться в одних помышлениях, а не в делах. Первое можно поправить, второе всегда невосвратимо.

— С этой минуты я буду щадить скромность Марии.

— Лучше бы ты сделал, если б совсем перестал с нею видеться. Склонность твоя к ней не имеет теперь никакой цели.

С недоумением посмотрел Саша на пустынника. Еще в первый раз приходила ему в голову мысль, что склонность его к Марии должна иметь какую-нибудь цель. Вместе с тем чувствовал он, что, несмотря на все свое повиновение к дяде, добровольная разлука с Марией была бы выше сил его.

— Но почему же я не могу иметь самой естественной и благородной цели?.. Я, конечно, еще молод...

— Не думаешь ли ты жениться на ней? — спросил пустынник, печально качая головою.

— Разве это невозможно?

Пустынник склонил голову и с минуту молчал.

— Невозможно, — сказал он потом. — Ты еще слишком молод, чтобы знать все отношения и условия света, но можешь

понять, однако, что законы приличия и общежития требуют, чтобы вступающие в брак были равного состояния и звания.

— Что ж, дяденька,— с живостью спросил Саша,— разве я в этих обоих отношениях так далек от Леоновых?

— Да, сын мой! В глазах света ты далеко отстоишь от Марии. У тебя нет никакого состояния.

— Но я его приобрету службой и познаниями...

— Приобретешь, и то еще, *может быть*, лет через двадцать; до тех пор, верно, ты не захочешь ждать. Во-вторых, ты сирота... Рождение твое перед Богом и людьми чисто, законно, однако же оно составляет тайну, которую я один знаю и не властен открыть. Это обстоятельство составляет также в глазах света важный недостаток...

— Но если семейство Леоновых будет так благородно, что возвысится над этими расчетами...

— Этого ты еще наверное не знаешь, сын мой. Следственно, если склонность твоя укоренится или, что еще хуже, если ты заставишь бедную девушку полюбить тебя, то это послужит только к несчастью одного и вечному раскаянию другого. Избавь же, сын мой, и себя и ее от угрожающей вам опасности. Беги, пока еще есть время. Не вызывай судьбы на главу свою. Поверь мне, мой друг, будущее в деснице Божией... Я могу только остеречь тебя, дитя мое! Тебе предстоит много несчастий.

— Если мне нельзя любить Марию, то какое же несчастье может быть выше этого?

— Дай бог, чтоб ты как можно позже почувствовал, в чем состоит твое истинное несчастье.

Последние слова были сказаны так мрачно и печально, что грудь Саши стеснилась. Неведомое, непостижимое чувство разлило холод по жилам его. Он не в силах был отвечать дяде. Грустно склонил он голову и молчал. Старик сжалился над его страданием и начал успокаивать его.

Мало-помалу утешительные слова ободрили унывающего. Глаза его обратились с надеждою к старцу; он спросил его трепещущим голосом:

— Что же мне делать, любезный дяденька? Скажите, наставьте меня!..

— Молиться и не унывать духом; не предаваться своим страстям и верить в милосердие Божие; не роптать на судьбу и со смирением сносить несчастье.

— Все это я привык исполнять, дяденька. И словом и примером своим вы научили меня быть христианином, я постараюсь сделаться достойным ваших уроков. Позвольте мне только видаться с Марией.

— Кто же тебе запрещает, друг мой? Продолжай по-прежнему ходить к Леоновым, видайся со всеми, но будь осторожен в словах и в обращении.

Безмолвно поцеловал Саша его руку и удалился.

ГЛАВА V

Выдумка Леоновых насчет появления Саши на бале вскоре была для них нужна. Сельмин через несколько дней явился к ним в дом, найдя приличный к тому предлог, но все знали, что целью посещения его была *бальная красавица*. Сильно поразило его известие, что *приезжей девицы* нет уж в Москве. Он задумался и долго не решался возобновить разговора; наконец спросил, есть ли надежда, что милая родственница Леоновых опять приедет в Москву, и получил отрадный ответ, что она, вероятно, возвратится к первому балу.

Во время визита Сельмина пришли из университета Николай и Саша. Оба они удивились, увидев гостя, а Саша даже испугался. Однако же Леонова тотчас ввела его в новую роль *брата* красавицы и представила Сельмину, который, удивясь несколько изумительному его сходству с мнимою сестрицею, не обратил на него, впрочем, особенного внимания. Это показалось Саше обидным, и он старался поддержать всеобщий разговор, чтоб блеснуть своим умом и любезностью. Но все эти детские усилия вовсе не понравились Сельмину. Он вовсе не хотел вступать в разговор с мальчиком и, видя какие-то лукавые взгляды, которые тот на него бросал, почувствовал к нему решительное отвращение. Вскоре Николай и Саша ушли опять в университет, и Леонова рассыпалась перед Сельминым в похвалах о милом *братце*, на которые тот отвечал очень сухо и вскоре раскланялся, получив приглашение посещать их дом.

Сельмин возвратился домой в самом дурном расположении духа. Он надеялся увидеть свою красавицу, которая со дня бала мучила его воображение, добивался найти средство к знакомству с Леоновыми, нашел его, и все понапрасну. Зато

визит его успокоил другое лицо. Когда он приехал домой, тот самый генерал, которого он на бале привел в залу, чтоб восхищаться прелестями незнакомки, ожидал с нетерпением его возвращения и осыпал его вопросами. Сельмин рассказал всю свою неудачу.

— Брат! Сестра! — сказал с задумчивостью генерал, выслушав весь его рассказ. — Слава богу! Это вовсе непохоже! Странная игра природы.

— О чем вы говорите, Иван Григорьевич? — спросил Сельмин.

— Так, братец! Я очень благодарен тебе. Ты меня успокоил...

— Чем и в чем?..

— Разные вздорные идеи... Эта девочка на бале была ужасно похожа на другое существо...

— А знаете ли, что я нахожу... Эта незнакомка имеет некоторые черты сходства с вами...

Генерал вспыхнул:

— С чего ты это взял? Разве с женой моей...

— Право, нет! — отвечал Сельмин и даже покраснел. — Чем больше я об этом думаю, тем более меня поражает сходство. Вы не могли его заметить, потому едва взглянули на нее на бале, но я с нее глаз не спускал... И, признаюсь, если бы я не знал вас, то, право бы, подумал...

— У тебя все шутки на уме, — отвечал генерал с некоторою рассеянностью, — а мне не до того.

— Ах, вообразите себе мою досаду, — сказал Сельмин. — Леонова думала, верно, меня утешить и навязала на шею мальчика, который с первого взгляда хотя и похож, немного на сестру свою, но самое ничтожное и наглое создание.

Генерал расхохотался, видя дурное расположение своего друга. Чтоб утешить его, он обещал отыскать его красавицу и привести в его объятия.

— Если же судьба приведет тебя прежде с нею увидеться, — прибавил старик, — то, пожалуй, познакомь и меня. На этот раз я обещаю, что рассмотрю ее со всевозможным вниманием; даже готов расцеловать братца ее, чтоб доставить тебе в нем домашнего покровителя.

Сельмин угрюмо молчал. Он и не вздумал поблагодарить генерала за его обещание. Напротив, шутки его возбудили в душе Сельмина странные ощущения. Более пяти лет был он

знаком с генералом Зембиным на самой дружеской ноге. Редко проходил день, чтоб он не был у него в доме, он почитался принадлежащим к его семейству. Первоначальное знакомство их было служебное, основанное на взаимном уважении. Правда, что все сослуживцы Зембина старались втираться к нему в домашнее знакомство по двум причинам, самым обыкновенным в свете: у него была хорошенькая жена и отличный повар. Однако же, как впоследствии каждый видел, что госпожа Зембина не только не отвечает на вопросительные взгляды своих поклонников, но даже и не обращает на них ни малейшего внимания, то все посетители и остались при втором удовольствии, то есть при поваре, и это утешало многих. Сельмин вспомнил тоже в эту минуту своего разговора с Зембиным, что первоначальная тайная мысль его знакомства с генералом была основана на первой цели, то есть на обольстительных для всей молодежи словах: *у него хорошенькая жена*; но эта надежда продолжалась не более двух-трех свиданий. Вера Николаевна Зембина при всей светскости и любезности была, по-видимому, не создана для сильных ощущений. Она была ласкова, мила, прелестна, но всякую лесть или тонкий намек на *симпатию сердец* принимала с такою холодною рассеянностью и беззаботною важностью, что лишала каждого обожателя охоты повторять подобные опыты. Сельмин был догадливей всех своих состязателей; он решился приобрести *дружбу* Зембиной и хотя встретил и тут много затруднений, но наконец малопомалу достиг этой цели. В это время, то есть когда происходил описанный разговор Сельмина с Зембиным, все они трое были уже в довольно почтенных летах и, следовательно, почти безопасны от действия *сильных ощущений*. Зембину было за пятьдесят, Сельмину около сорока, госпоже Зембиной около тридцати пяти лет. Проведя всю молодость как бесстрастный волокита, Сельмин вдруг неожиданно влюбился на бале в неизвестную девушку и, рассказывая о ней с восторженностью поэта, говорил Зембину, что предмет внезапной этой страсти чрезвычайно похож на него. Тот в шутку отвечал; «Разве на жену мою?» — и Сельмин тогда покраснел. Неизвестно, заметил ли муж или нет, но при мыслях, волновавших в эту минуту Сельмина, ему казалось, что дружба его с Зембиным была не так чиста и бескорыстна, как он предполагал, и что слова *хорошенькая жена* были все-таки главною целью этой дружбы.

— Ну, что ж ты задумался, страстный любовник? — сказал наконец Зембин, пройдя несколько раз по комнате и глядя внимательно на физиономию Сельмина.

Сельмин не мог, разумеется, передать математическим образом всей нити своих размышлений. Надобно было прибегнуть к выдумкам. После минутного молчания он отвечал:

— Для меня странно, каким образом могут случаться в природе такие удивительные вещи. Люди, которые жили весь свой век в разных концах света, вдруг встречаются где-нибудь, и находится, что один с другим совершенно во всем схожи. Ведь могла бы эта девушка быть годами двадцатью или более старше и вдруг, узнав о своем сходстве с вами, переодеться мужчиною и в каком-нибудь обществе сойтись с Верою Николаевной... Вот было бы редкое явление!.. А что, Иван Григорьевич, ведь можно бы было устроить подобное свиданье. Верно, сама Вера Николаевна любопытствовала бы увидеть двойника своего супруга.

— Как будто ты не знаешь, что она никогда не выезжает! Много было у меня с нею ссор из-за этого. Но ведь женщины всегда поставят на своем, и я лет десять как рукою махнул...

— Да! Это единственный недостаток Веры Николаевны, если еще это можно назвать недостатком...

— Именно, не недостаток, а гораздо хуже... Ну, да что говорить вздор.

— Виноват! Я знаю, что вы не любите расспросов об этом...

— Ты, Александр, был бы один человек в свете, которому я бы мог и желал рассказать все; но так как это ни к чему не ведет, то я дал себе обещание молчать целую жизнь.

Оба замолчали. Потом Зембин спросил о чем-то постороннем, потом простился и уехал.

Много предметов к размышлению предстояло Сельмину. Домашняя тайна Зембина давно подстрекала его любопытство. Он давно уже знал это семейство, и ему всегда казалось, что совершенное согласие царствовало между супругами. Одно только обстоятельство было для него непостижимым. Жена Зембина, несмотря на все приличия и условия общества, была всегда печальна и решительно никуда не выезжала, кроме церкви. Сначала много толковали, говорили, но как люди ко всему привыкают, то вскоре забыли об этом, тем более что Зембина продолжала всякий день принимать к себе и была очень любезна у себя дома. Когда Сельмин мало-помалу достиг степени друга у мужа и жены, то неоднократно начинал

их расспрашивать о причине этой странности, но оба просили его не трогать этой струны семейного их быта, и он должен был повиноваться. Посторонние справки еще менее могли удовлетворить любопытство. Говорили, что Зембин женился где-то в губернии, в которой стоял его полк. Уж после Италийской кампании Суворова, в которой Зембин произведен был в полковники, дали ему другой полк, стоявший в Москве, а после Аустерлицкой¹ и Тильзитской² кампаний был он произведен в генералы и получил бригаду, и только с этого времени явилась в Москве жена его, которая дотоле жила где-то в деревне или в уездном городе. Тут Сельмин, бывший уже давно на дружеской ноге с Зембиным, был введен им в домашний его круг и успел приобрести дружбу Веры Николаевны. По приезде ее в Москву все заметили удивительную странность решительного нежелания ее выезжать, хотя она принимала ежедневно всех знакомых своего мужа, — тайная причина этой странности осталась навсегда и для всех неразгаданною. Хотя Сельмин и давно уже оставил все покушения, чтоб выведать ее у мужа или у жены, но самолюбию его было, однако же, прискорбно, что, находясь в таких дружеских сношениях с этим семейством, он все еще не знает о нем больше других. Если б он был менее занят своею *бальной незнакомкою*, то, вероятно бы, заметил замешательство Зембина, в то время как он ему рассказывал о *брате* бальной красавицы и об удивительном сходстве ее с ним.

Это сходство, занимая теперь его воображение, невольно увлекало его и к Зембиной. Он пустился к ней. Когда он приехал, то мужа ее не было дома. Зембина казалась очень печальною, однако зоркий взгляд ее тотчас же заметил, что Сельмин в необыкновенном расположении духа. Хотя Зембина и была непроницаема в собственной своей тайне, но она была женщина; ей тотчас же захотелось узнать, что так волнует душу Сельмина. Тот не заставил себя долго расспрашивать. Он сам придумал предисловие, которое бы могло навести разговор на желаемую точку. А потому, как скоро Зембина начала узнавать от него о причине задумчивости и необычайного волнения его, он ей все рассказал.

На этот раз Сельмин с проницательностию и любопытством следил за малейшим движением Зембиной во время

¹ Аустерлиц — ныне город Славков в Чехии.

² Тильзит — ныне город Советск в Калининградской области.

рассказа. Первая часть, то есть нечаянно вспыхнувшая страсть его к *незнакомке*, хлопоты его, чтоб познакомиться с Леоновой, отчаяние его, когда он узнал, что незнакомка уехала, досада его на несносного мальчишку, брата ее,— все чрезвычайно забавляло Зембину, но когда дело коснулось необыкновенного сходства девушки с Зембиным, когда Сельмин начал рассказывать весь свой сегодняшний разговор с мужем ее и упомянул, что генерал давал ему поручение хорошенько разведать о незнакомке, то Зембина пришла в такое сильное волнение, что Сельмин не знал, как успокоить ее. Только тут и Сельмин был приведен в величайшее изумление вопросами Зембиной. Вместо того чтоб узнать о *незнакомке*, она с величайшею подробностью стала расспрашивать о словах и поступках своего мужа при этом случае. Сельмин рассказал все, не понимая, однако же, причины странных вопросов. Он ожидал вовсе другого направления разговора и не знал теперь, как добратся до точки, с которой можно бы было и ему начать свои дружеские разведывания. Он повторил теперь еще с большею настойчивостию предложение свое, сделанное недавно мужу ее, именно — чтоб *где-нибудь* свести Зембина и *незнакомку*.

Долго Зембина не отвечала. Казалось, какие-то мучительные чувства боролись в груди ее. Печально склонила она на руку пылающую свою голову и старалась собрать расстроенные свои мысли.

— Как бы я рада была, Александр Петрович,— сказала она наконец,— если б могла где-нибудь увидеть вашу незнакомку или брата ее. Но это невозможно, да и не послужит ни к чему.

— Извините, Вера Николаевна,— отвечал Сельмин,— я не вижу тут никакой невозможности. Я бы даже взялся устроить это, если вам угодно... А к чему это послужит — вопрос вовсе лишний. Мы любим смотреть на всякую редкость, на всякую необыкновенную вещь и никогда не делаем себе вопроса: к чему послужит наше любопытство? Оно удовлетворено, и мы довольны.

— Довольны! — с горькою усмешкою сказала Зембина.— Любезный Александр Петрович! Перестанемте говорить об этом. Мы не пойдем друг друга.

— Вы меня приводите в отчаяние. Я уважаю ваши семейные тайны и никогда не старался в них проникнуть. Но моя бальная незнакомка занимает меня одного. Она ничего не может иметь общего с вами и с Иваном Григорьевичем.

— Кто знает! — с печальною задумчивостию сказала Зембина, и эти слова поразили Сельмина.

Он замолчал и обратил на нее испытующие взоры. Но минуты проходили за минутами, а Зембина не прерывала молчания. Сельмин быстро перебрал в уме своем все догадки вероятностей и ничего не придумал.

— Я обязан уважать ваше молчание, а еще более ваши тайны,— сказал наконец Сельмин,— но вы мне все-таки решительно не сказали: хотите ли вы видеть мою незнакомку или нет?

— Вы забыли, что я никуда не выезжаю,— печально отвечала Зембина.

— Я никогда не расспрашивал вас о причинах этой странности и теперь не сделаю подобного вопроса... Он, вероятно, ни к чему не послужил бы... Но так как вы ездите в церковь, и очень часто, то легко может случиться, что вы на дороге встретитесь с моею незнакомкою... Хотите ли?..

Зембина обратила взоры свои на Сельмина. Они были наполнены слезами, однако же какая-то радость блистала на лице ее.

— О боже мой! — сказала она.— Что вы мне предлагаете!..

— Дело очень возможное... Скажите мне только...

— А этот брат девушки... о котором вы мне говорили... он здешний?..

— Да! Студент здешнего университета... Не хотите ли и на него взглянуть? И в нем есть также много сходства...

Печально покачала Зембина головою:

— А что скажет муж мой? Нет, Александр Петрович! Оставьте, пожалуйста, все это. То, что я желала бы видеть с пожертвованием моей жизни, того я, вероятно, не увижу никогда. Пустое же любопытство, которое только растравит сердечные раны... очень-очень печальная игрушка. Наконец, сделать что-нибудь неуютное тому, кто...

Она замолчала, но на этот раз слезы прервали слова ее. Видно было, что она долго боролась с своими чувствами, что приличие удерживало порывы их, но что наконец сердце ее изнемогло под этими тяжкими усилиями. Она закрыла лицо руками и, склонясь на подушку дивана, громко зарыдала. Сельмин ничего не постигал, однако же слезы Зембиной тронули его до глубины души. Он готов был плакать с нею, хоть и сам не знал о чем.

Вскоре Зембина оправилась и, с принужденною улыбкою взглянув на Сельмина, сказала ему:

— Вы, верно, подумаете, что я с ума сошла. Не правда ли? Плачу, сама не знаю о чем. Но ведь я на то и женщина. Мы плачем ото всего и обо всем.

Несмотря на эту мнимо веселую выходку, Сельмин не хотел дать разговору другого оборота. Собственные его чувства вовсе не были расположены к шуткам.

— Нет, Вера Николаевна,— отвечал он после минутного молчания,— кто вас знает, тот никогда не подумает, чтоб причиною ваших слез была ничтожная вещь или порыв своенравия. Но повторяю вам, что я не почитаю себя вправе проникать в семейные тайны. Хотя я по искренним моим чувствам к вам и вашему дому заслуживал бы, может быть, чтоб от меня не таились, потому что истинная дружба и преданность облегчат всякую печаль, но как доверенность — дело сердца, а не рассудка, то я молчу.

— Вы несправедливы, Александр Петрович. Вы — наш лучший и даже единственный друг. С тех пор как вы с нами знакомы, мы вполне оценили ваш благородный характер и ваши искренние к нам чувства; с тех пор вы не можете пожаловаться, чтоб мы от вас скрывали какое-нибудь домашнее происшествие. В будущем тоже, вероятно, этого не случится. Но прошедшее... оно уже не принадлежит нам. Оно покрыто грустным покрывалом несчастий, которых даже и воспоминание одно обливает сердце кровью. Вы, как добрый друг наш, верно, не захотите из любопытства или соучастия к судьбе нашей заставить нас провести несколько мучительных минут для того только, чтобы рассказать вам о прошедшем. Как бы я счастлива была, если б сама могла забыть о нем!.. Впрочем, даю вам честное слово, что, если в будущем случится что-нибудь такое, что будет иметь отношение к этому печальному прошедшему, вы все узнаете. Я даже к вам первому прибегну тогда с моими просьбами...

— О чем?

— Тогда вы узнаете.

Она замолчала. Сельмин не смел более расспрашивать.

Он откланялся и уехал.

ГЛАВА VI

Возвратимся, однако же, к нашему герою. Он проводил самую счастливую жизнь. Все его любили, ласкали, все находили в нем самые приятные качества. Пустынник, при всей своей строгости, не стеснял его, требуя только, чтобы Саша

отдавал ему отчет в каждом происшествии, в каждом ощущении. И это не трудно было для Саши. Он так привык к этой обязанности, что без исполнения ее он бы не знал, кому все рассказывать и поверять. Конечно, у него был Егор, домашний друг его и дядька, но тот только выслушивал рассказы Саши, а сам редко пускался в разговоры, тогда как пустынный руководил всеми мыслями и поступками своего приемыша.

Саша по-прежнему продолжал ходить почти ежедневно к Леоновым, но наставления, данные ему дядею, произвели некоторую перемену в обращении его с Мариєю. До тех пор был он с нею весел, смел и говорлив. Теперь он чувствовал какое-то непостижимое смущение, когда сидел близ нее или прикасался к ней нечаянно.

Веселость и говорливость его оставались те же, но ни поступки его, ни даже мысли не имели первоначальной смелости. И, что всего страннее, это расположение распространилось даже и на обращение его с молодым Леоновым. Он с ним также старался избегать всякой вольности.

Разумеется, Николай смеялся над ним, называл его красною девушкою, однако, приучась уважать привычки и правила Саши, потому что они происходили из самого чистого источника, он сообразовался с его странностями.

Университетский курс Саши шел отлично. Он уже вступил в него с такими познаниями, что для окончания наук очень мало было нужно времени. Он посвятил себя философскому факультету и удивил всех своими успехами. Время текло быстро, и приближался уже срок выпуска. Все студенты наперерыв желали занять хорошие места.

Леонов был из числа немногих, которые решились потерять чин, приобретенный трудами нескольких лет, для того чтоб юнкером вступить в армию. Напрасно все домашние и знакомые отговаривали его от этого шага.

Кровь военного отца уже кипела в груди его. Ему было тесно в Москве, а еще теснее воображал он себе канцелярскую службу. Воображение его рвалось на простор, на поле битвы, на биваки, на русские переходы. С жадностью пожирал он все тогдашние газеты и журналы. А тогда было что почитать! Звезда Наполеона блистала светло, ярко. Чудесное его поприще могло воспламенить тогда самые холодные головы. Наступал знаменитый 1812 год.

Русский патриотизм лежал как порох на полке ружья. Покуда оно не нужно было, всякий даже боялся пороха, но вре-

мя надобности приближалось, и первая искра, брошенная в этот порох, произвела ужасный, небывалый взрыв. Никто, однако же, не предвидел, не подозревал, что время близко, и все наперерыв старались быть французами хоть в каком-нибудь отношении, то есть хоть в моде, во вкусах и в светской ловкости.

Но — боже мой! — куда залетел автор с своими рассуждениями! Уж эта русская натура! Только коснись до нее, — именно порох, — так и вспыхнет. Дело шло о Леонове, который из университета хотел непременно идти в военную службу. Это было еще в начале 1812 года, и в кругу московского общества никто не мог знать, чем этот год кончится. Воображение Леонова блуждало около Дуная, Балкан и изредка пробиралось к Царьграду. И мать и сестра принуждены были наконец замолчать и согласиться на порывы желания молодого человека. Дочь и жена воина, может быть, внутренне и не осуждали его. Одна любовь заставила их упрашивать его донельзя. Разумеется, что Леонов со всем красноречием дружбы и самоубеждения склонял Сашу последовать его примеру, но по роду ли воспитания или по какому-то внутреннему, бессознательному чувству Саша всякий раз отказывался от внушений Леонова.

Пересказав же эти убеждения пустыннику, Саша решительно перестал думать о перемене поприща службы. Сначала это поселило некоторую холодность между друзьями, но дружба матери и любовь сестры скоро их опять сблизили, тем более что в главном существе спорного дела оба были согласны. И Саше нравился военный мундир выше всего на свете.

Впрочем, до выпуска обоих оставалось еще полгода, они проводили это время самым веселым образом.

Леонова, в свою очередь, должна была, по условиям общества, дать бал. Это случилось в день рождения Марии, и по какому-то странному капризу Леоновым опять вздумалось повторить шутку переодевания Саши. Мы уже видели, что Сельмин нашел случай познакомиться с Леоновой после первой своей встречи с переодетым Сашею. Учтивость требовала продолжать посещения. К условиям учтивости, разумеется, принадлежало и тайное желание узнать что-нибудь о милой незнакомке. К несчастью, ему всякий раз отвечали, что она живет в деревне, а вместо нее вечно, как снег на голову, являлся несносный *братец*, который находил какое-то особенное удовольствие приставать к Сельмину. Наконец в один из не-

чаянных приездов Сельмина Леонова ему как будто невзначай объявила, что на днях приедет к ним сестрица Саши и будет у них на бале. Это было искрою, брошенною в порох. Страсть Сельмина, начинавшая мало-помалу исчезать, вспыхнула снова. Он, разумеется, добился себе у Леоновой приглашения на бал и даже после некоторых церемонных околичностей выпросил у ней позволение привести с собой генерала Зембина. При этом Сельмин рассказал об удивительном сходстве Александры Ивановны (ему сказали, что так зовут сестру Саши) с генералом и о любопытстве, с которым он ждал случая сравнить копию с оригиналом. Леонова, разумеется, согласилась, прибавя, что ей приятно было бы, если б и госпожа Зембина приехала к ней.

— Впрочем, я знаю, что это вещь несбыточная,— сказала Леонова.— Вот уже более пяти лет как генерал живет в Москве, а жены его никто почти не видал. Сперва все думали, что это какой-нибудь маленький уродец; однако же любопытные люди добились того, что увидели ее где-то у обедни, и расславили, что она красавица. После все узнали, что она принимает к себе всех и очень мила в обществе, но сама решительно никуда не выезжает. Много говорили об этой странности, но как свет ко всему привыкает, то забыли и об этом. Мне, как женщине, очень бы любопытно было взглянуть на милую затворницу, но для меня она, верно, не сделает исключения.

— Не знаю, как вам сказать,— отвечал с задумчивостью Сельмин,— но мне кажется, что ее тоже чрезвычайно интересует ваша милая родственница. И если б можно было каким-нибудь образом показать ей прекрасного двойника ее мужа, то она бы была в восторге. Я не имею права, мне не дано поручения просить об этом, но если б это могло случиться как-нибудь нечаянно...

— Очень милая идея! К сожалению, ее весьма трудно выполнить. Саша приедет только на день бала и потом опять уедет. А в такое короткое время нельзя придумать ничего... Конечно, очень бы забавно было видеть обоюдное удивление... Особливо если сходство так поразительно, как вы говорите...

— О, удивительное! Одна разность лет и пола...

— Но помилуйте, отчего же вас не поражает это же самое сходство в брате Саши, которого вы так часто видите у нас?

— Фи, помилуйте! Какая разница! Александра Ивановна решительно красавица, а брат ее... право, не знаю, как назвать, только сходство его с генералом самое детское...

Леонова расхохоталась, и хотя Сельмин не понимал причины ее смеха, но не любопытствовал узнать о ней. Его занимала теперь только мысль, как бы сделать возможным нечаянное свидание Зембиной и его незнакомки. Леонова, с своей стороны, также очень обрадовалась, что может иметь случай позабавиться насчет женщины, которая более пяти лет не удостоивает своим знакомством ни одного порядочного дома. Это ей казалось совершенно извинительным, ей даже приятно было думать, что она от имени всего московского дамского общества отомстит Зембиной за ее скрытность и затворничество.

— Послушайте, Александр Петрович, мне бы очень хотелось сделать вам приятное. Не хотите ли свести их у обедни; бал будет в понедельник, а Саша приедет в субботу ввечеру. Так на другой день, в воскресенье, я могу нарочно поехать с нею в ту церковь, куда ездит ваша госпожа Зембина. Верно, она постоянно становится на одном месте. Узнайте о нем заранее, я стану там же и подле нее поставлю Сашу.

Сельмин был в восторге от выдумки Леоновой и рассыпался в благодарностях. С одной стороны, он радовался, что увидит свою прелестную незнакомку, с другой — полагал, что доставит удовольствие Зембиной, и, наконец, думал, что, может быть, этот случай откроет ему что-нибудь из семейной тайны, которую от него до сих пор скрывали. Условясь во всем с Леоновой, он откланялся и уехал, а Леонова спешила послать за Сашею, чтоб сообщить ему план комедии, которую ей хотелось разыграть. Саша очень рад был случаю к новой мистификации, и все заранее смеялись странной встрече. Вышло совсем иначе.

В тот же день ввечеру Саша, по обыкновению, явился к дяде и рассказал ему весь новый план переодевания. Сперва Саша рассказывал очень весело, беспрестанно смеясь забавной выдумке, и заранее даже воображал, что ему удастся сорвать улыбку с лица пустытника, но мало-помалу тон его рассказа начал переменяться... Он хорошо знал нрав дяди и видел, что вся выдумка Леоновых ему чрезвычайно не нравится. Он видел, что буря собирается на челе его, и голос Саши стал слабеть, речь начала путаться, он прервал рассказ тем, что не иначе обещал свое согласие на все это, как получа его разрешение.

— Досказывай, Саша, все,— мрачно сказал дядя.— Мое мнение узнаешь ты потом.

С трепещущим сердцем продолжал Саша свой рассказ, бросая поминутно взгляды на дядю, чтобы по лицу угадать его мнение. Каково же было его удивление, когда вместо гнева, которого он, по всем признакам, ежеминутно ожидал, увидел он на лице его необыкновенное внимание и странное волнение...

— Как зовут эту даму, которой муж так похож на тебя? — спросил вдруг пустынный, прервав рассказ Саши.

— Кажется, Леонова называла ее госпожою Зембиной.

Вопль горести исторгся внезапно из уст пустынного. Он закрыл руками глаза и опустил голову на грудь. Последовало долгое грустное молчание, которого Саша не смел тревожить.

— Зембина! — повторил наконец пустынный едва внятным голосом, приподнимая голову, и Саше показалось в эту минуту, что ресницы его были орошены слезами.

— А разве вы ее знаете? — с искренним простодушием спросил Саша.

— Ее? — сказал пустынный и печально покачал головою, не отвечая, однако же, на вопрос Саши.

После этого опять произошло молчание, которое дядя прервал, спрося вдруг у Саши:

— А брат где?

— Какой брат? — с недоумением сказал Саша.

Пустынный ничего не отвечал, но на минуту опять закрыл глаза рукою. Только по сильно вздымающейся груди его видел Саша ужасное волнение его духа. Мало-помалу он успокоился и тихо спросил:

— Ты не слыхал, друг мой, замужем ли эта женщина или...

Саша спешил рассказать ему все, что мельком слышал от Леоновой.

— И эти люди для забавы своей хотят растерзать ее сердце! — сказал пустынный, выслушав рассказ Саши.

— Как скоро это *вам* не угодно, то из предположения ничего не будет, — отвечал Саша.

— Признаюсь, друг мой, я и от тебя не ожидал подобных шуток. Ты у меня, кажется, воспитан в страхе Божиим, а вздумал согласиться на такую забаву. Что такое церковь? Что значит служба Господня? Зачем собираются толпы христиан в храме? Разве для свиданий, для переодеваний, для наглых шуток? Входя в церковь Божию, вы за порогом ее должны оставить все суетные и ложные помышления земли. Один Бог,

одна молитва должны быть у вас на сердце и уме. А вы, что вы делаете?..

Невольный трепет пробежал по жилам Саши. Никогда голос дяди не был так грозен. С покорностью преклонил Саша колена и, схватив руку его, с нежностью облобызал. Вид смирения тотчас же успокоил пустынного. Он взглянул на юношу с любовью, поднял его и посадил подле себя.

— Когда же назначено было ваше свидание? — спросил он его после продолжительного молчания.

— В нынешнее воскресенье... Но завтра же поутру объявлю, что никогда не соглашусь...

— Постой, друг мой... Не будь так поспешен. Я вовсе не противлюсь этому свиданию... Я бы даже желал, чтоб оно произошло... Однако не в церкви, не с ничтожным переодеванием, не в постыдном намерении забавляться изумлением и страданиями бедной женщины...

— Но почему же вид мой должен заставить ее страдать? — спросил Саша. — Я только думал, что она удивится, увидя разительное сходство мое с ее мужем...

— Если это сходство решительно существует, то и в этой одежде она увидит его...

— Ах нет, дяденька! Полковник Сельмин, который видел меня только раз в женском наряде, почти бредит этим удивительным сходством. В этом же платье он видал меня раз двадцать и не обратил ни малейшего внимания.

— Зато *она* тебя гораздо лучше узнает в обыкновенном платье!..

— *Узнает?* Разве она знает меня?

Дядя замолчал. Видно было, что в нем боролось желание сказать всю правду и обязанность скрывать чужую тайну. Глаза его обратились к небу — казалось, он в нем искал себе руководства и наставления.

— *И Дух Твой наставит мя на землю праву!* — сказал он наконец и, возложив руку свою на голову Саши, прибавил с восторженным видом: — Господи, да будет воля Твоя!

Саша с жаром схватил благословившую его руку и поцеловал ее. Он уже не делал более вопросов, зная, что дядя сам все скажет, что нужно для его пользы.

— Вот что ты должен сделать, друг мой, — сказал ему наконец пустынный, — скажи своим Леоновым, что я запретил тебе всякое переодевание в то время, когда ты будешь в церкви, и что даже неприлично в храме Божиим подстрекать лю-

бопытство или другие земные чувства, но что я дозволил тебе ждать госпожу Зембину на паперти. Там можешь ты, друг мой, подойти к этой женщине... и даже сказать ей что-нибудь...

Он не кончил речи, когда Саша с недоумением спросил его:

— Что ж мне сказать ей?

— Что хочешь... Скажи, например, что неизвестный пустынный кланяется ей.

— А она вас знает?

— Может быть, и слыхала... Только предупреждаю тебя заранее... Если сходство так поразительно... то вид твой... вероятно, изумит ее... испугает... Может быть, ей сделается дурно... О, тогда бросься к ней, помоги ей, успокой ее, облобызай ее руки, омочи их слезами и потом беги, беги скорее от нее, скройся сюда, ко мне. Я защищу, я спасу тебя от несправедливости и жестокости людей.

Саша и не понимая слов дяди был, однако же, тронут ими до слез.

— Кого и чего я должен бояться? — спросил он у него.

— Одного Бога, сын мой. Людская злость окончится вместе с ними, а Божья благодать останется навеки. Предвижу, друг мой, что это свидание принесет тебе много горя и бед, но пора тебе привыкать к испытаниям. Вся человеческая жизнь не что иное, как юдоль скорби. Я уже сказал тебе однажды, что ты рожден для несчастий. Приготовься к ним. Скоро тебе нужны будут полные твердость и сила души.

С недоумением и некоторым страхом смотрел Саша на дядю. Он вовсе не чувствовал той бодрости и силы духа, которые пустынный предполагал в нем. Напротив, он трепетал от одной мысли, что счастливая и беззаботная жизнь должна кончиться. По бледности лица и смущению пустынный догадался о тайных его чувствах.

— Друг мой! Кажется, ты теряешь бодрость и не видишь еще опасности? Но я уверен, что в минуту несчастья ты ободришься и вспомнишь, что лучшим и вернейшим нашим убежищем в бедах — святая вера... Теперь ступай, пора успокоиться. Молись Богу. Он один твоя защита.

С искреннею любовью поцеловал Саша руку дяди.

Проведя в первый раз в жизни очень дурную ночь, Саша поутру отправился к Леоновой и объявил решение дяди. Все сильно восстало против такого решения и уговаривали его нарушить на этот раз приказание дяди и доставить всем невинное удовольствие. Но Саша пребыл тверд и непреклонен.

Воля дяди была для него верховным законом, против которого всякое ослушание ему казалось совершенно невозможным. Леонова, видя упрямство Саши, надулась и сказала, что не стоит более и говорить об этом. Саша начал предлагать свидание на паперти, но Леонова сказала, что он может идти туда один, потому что ни она, ни Мария не поедут. Тем разговор и кончился. Все разошлись недовольные друг другом, а Саша, оскорбленный несправедливою холодностию всего семейства, два дня не ходил к ним. На третий за ним прислали. Это было в субботу.

— Вы, кажется, сердитесь на нас, m-r Alexandre,— сказала ему Леонова, когда он явился к ней в уборную.

— Напротив, я думал, что заслужил ваш гнев, и потому решился переносить в уединении свое несчастье.

— А, вы злопамятны! Это нехорошо. Вы, кажется, знаете, что все мы вас душевно любим. Что ж за беда, если я на вас немножко рассердилась. Может быть, вы были тогда правы, но я женщина и не привыкла к отказам. Впрочем, я в тот же день забыла свою досаду — и вот какая между нами разница. Если б вы сами пришли, то я даже, может быть, решилась бы сказать, что была не права, но теперь я должна была посылать за вами — и вы решительно виноваты.

— Признаюсь и винюсь. Простите,— отвечал Саша и поцеловал руку, которую ему протянули.

— Ну, что ваш строгий дядюшка? Все еще сердится на вас?

— Он вовсе никогда на меня не сердился. Мне кажется, что подобного несчастья я бы не перенес.

— Эти чувства делают вам обоим честь: значит, вы его любите и он заслуживает эту любовь.

— О, если б вы его знали! В природе не может быть существа выше и благороднее.

— И он очень дурно принял нашу шутку?

— Не самую шутку, но место исполнения...

— Да! Понимаю. Для него, конечно, показалось это неприличным. Так наше предприятие рушилось?

— Если вам не угодно, чтоб я явился госпоже Зембиной на паперти...

— В самом деле... Это не дурно. Тут же много народа... И нам не надобно будет переодеваться...

— Да, дядюшка велел мне остаться в этом платье...

— Какой он жестокий человек! Вам, я думаю, очень досадно, что он запретил такую невинную шутку?

— Совсем нет. Я привык повиноваться ему и уверен, что всякое его приказание справедливо и ведет к хорошей цели.

— Счастливый дядюшка! Я думаю, в целом свете он один дядя, умевший внушить такое повиновение племяннику.

— Я сам думаю, что я единственный племянник, имеющий такого дядю.

— А так как я вовсе не намерена склонять вас к возмущению против родных, то и надобно будет сообразоваться с волею вашего дядюшки. Завтра мы все-таки поедem к обедне в приход госпожи Зембиной. Заходите поутру к нам; мы вас будем ждать. Ну, а в понедельник дядюшка ваш тоже не позволит вам переодеваться на бал?

— О, нет! Насчет бальных переодеваний он очень снисходителен. Он говорит, что там, где все забавляются и где все почти переодеты, одна лишняя маска ничего не значит.

— Вот! Да это уж сарказм. Я не воображала, чтоб он удостоил нас своими сатирическими замечаниями... Скажите, пожалуйста, ваш дядюшка с малолетства жил в монастыре или принадлежал обществу?

— Я никогда его об этом не расспрашивал.

— Но, вероятно, слышали от его приближенных что-нибудь.

— Виноват! Я никогда не любопытствовал узнать о прежней жизни дядюшки.

— А где вы прежде жили?

— Близ Владимира, в поместье господина Сельмина.

— Он должен быть родня дядюшке.

— Там провел я все детство, и там помню, что все, окружающие нас, до чрезвычайности любили дядюшку.

— В поместье Сельмина? Этого самого, который...

— Нет! Дядюшка говорит, что это его отец.

— Вот мило! И вы ему этого еще не сказали.

— Дядюшка не велел.

— Он всегда был так строг с вами?

— Он всегда любил меня. Я ему всем обязан...

— О! В этом я уверена, я хорошо знаю все его попечения, но жаль только, что одиночество его и лета вовсе не соответствуют вашим занятиям, образу жизни и склонностям. Вы молоды, умны, любезны — готовите себя для света и общества; вам нужно не только знать все удовольствия общественной жизни, но даже в кругу подобных вам молодых людей трудно будет вам отказаться от какой-нибудь шалости... А ваш дядюшка...

— Он вовсе не стесняет моих удовольствий и никогда не сердится на меня за какие-нибудь шалости. Он только требует, чтоб я ему все рассказывал — и мысли и действия, чтоб направлять их к добру.

Леонова засмеялась:

— Ну, на этот счет, я думаю, ваш дядюшка, при всем своем уме, ошибся. Верно, вы ему не все рассказываете.

— Извините. Все совершенно.

— Быть не может.

— Могу уверить вас клятвенно.

Леонова посмотрела внимательно на физиономию юноши, и опытный взор ее убедился, что Саша не притворяется, не хвастает. Она улыбнулась и лукаво спросила:

— Который вам год?

— Семнадцатый.

— Ну, а мне, между нами, сорок седьмой, следственно, я могу говорить с вами откровенно, как мать. Неужели на семнадцатом году вы ни разу не чувствовали ничего такого, что бы захотели скрыть от своего дядюшки?

Саша вспыхнул и несколько смешался, однако же скоро ободрился и с откровенностью отвечал:

— Я не думаю, чтобы какой-нибудь возраст заставил меня что-нибудь делать или думать такое, о чем бы я не мог открыться дядюшке... Например...

Он остановился и чувствовал, что бодрость его оставляет.

— Что же *например*? — внимательно спросила старуха.

— Например... я имел случай... иногда видеть одну прелестную особу — и чувства мои к ней самые искренние и пламенные...

— Ну что ж? — с равнодушием прервала его Леонова. — И вы рассказали об этом своему дядюшке?

— Это был не только мой долг, но даже искреннее желание сердца.

— И, разумеется, вам за это досталось.

— Нисколько! Его наставления дышали любовью и нежностью ко мне, но...

Он остановился, не смея рассказывать ей советов дяди.

— Что же? Он, верно, сказал, что вам еще слишком рано чувствовать какую-нибудь склонность.

— Нет! Он предостерег меня только от следствия сильных страстей.

— Уж не испытал ли их он сам?

— Сколько я его помню, то никогда не замечал в нем никаких страстей. Все его дела и слова основаны на чистейших правилах добродетели и любви.

— Вы прекрасно его защищаете, но ведь никто и не думает на него нападать. Я слыхала, что ваш дядюшка прославился своею одинокою жизнью, таинственностями и добродетелями. Толпа любит обо всех говорить, и в городских рассказах всегда более злости, нежели правды. Только про одного вашего дядюшку никто не сказал еще ни одной клеветы. Это важно в наш век... Конечно, его молодость скрывается под какою-то таинственною завесою; но какова бы она ни была, тот, кто столько лет провел с такою безукоризненною славою, легко окупает прежние заблуждения.

— Разве вы что-нибудь знаете о молодости дядюшки?

— Не более других... Однако же гораздо больше вас.

— Ах, расскажите мне, пожалуйста! — с живостию вскричал Саша.

— Вот мило!.. А вы потом все перескажете дядюшке?

— Что ж за беда? Если вы знаете правду, то она не может быть для него оскорбительною. Если какие-нибудь клеветы, то он выше их.

— Станный молодой человек! Вы, кажется, первый, который так слепо повинуется и так доверчиво привязан.

— Во мне не только чувства долга и сердца, но какая-то необходимость любить его. Если б судьба когда-нибудь лишила меня дяди, я непременно должен был найти другое существо, которому мог бы открывать свои мысли и поступки.

— Пусть это случится; когда вы будете женаты, верно, вы не выберете себе в поверенные жену свою.

— Напротив, кажется, ей только одной я мог бы поверить все мое существование... но это одни мечты, которые никогда не сбудутся.

— Какие романические жалобы! Вы, верно, читали Стерна или Юнга¹? С чего вы это взяли?

— Мне сказал дядюшка...

Леонова засмеялась:

— Вот что очень мило! Он, верно, крайне сердит на общество и на людей. Он полагает, что без огромного богатства ни одна порядочная девушка не решится отдать вам своей руки.

¹ Стерн Лоренс (1713—1768) — английский писатель, зачинатель сентиментализма; Юнг Эдуард (1683—1765) — английский поэт-сентименталист.

Какой вздор! Конечно, все мы любим богатых женихов, но очень часто достоинства и любезность могут заменить состояние. Скажите своему дядюшке, что он несправедлив...

В эту самую минуту вошла в комнату Мария, и разговор прекратился, то есть Леонова спешила дать ему другое направление. Она рассказала дочери, что они завтра поедут к обедне в Борисоглебовскую церковь, а что в понедельник Саша опять будет переодет в женское платье. Мария приняла все эти известия с некоторою рассеянностью. Ее сильно вздымавшаяся грудь изобличала необыкновенное волнение духа. Дело в том, что она нечаянно подслушала у дверей последнюю часть разговора матери с Сашею и, как ни горела она желанием узнать, чем он окончится, но по непонятному чувству страха и беспокойства сама прервала его, войдя в комнату. Она, однако же, довольно узнала. Саша осмелился сказать ее матери о любви своей; мать не только не сердилась на него, но даже, кажется, готова была согласиться. Чего же еще более?

Саша, с своей стороны, полагая, что Мария все еще на него сердится, хотел предоставить ее матери самой оправдать его и тотчас же откланялся, сказав Леоновой, что завтра поутру явится.

Бедная Зембина никак не ожидала бури, сбиравшейся над ее головою. Сельмин самым изменническим образом навестил ее накануне рокового дня и как будто нечаянно спросил, поедет ли она завтра к обедне. Утвердительный ответ ее принял он также очень равнодушно и тотчас же переменял разговор. В этот раз нарочно не упомянул он и самым отдаленным образом о двойнике.

Наступило воскресенье. Пустынник рано поутру послал за Сашею и спросил его, произойдет ли того дня свидание, которое устраивала Леонова, и, когда Саша рассказал ему все, что было условлено, он покачал грустно головою и сказал:

— Так и быть! Ступай, друг мой. Гораздо лучше бы для тебя было, если б ты никогда не виделся с этою женщиною. Но во всем перст Высшего Провидения. Да исполнится святая Его воля. Не хочу и не смею удерживать тебя. Благословляю тебя на будущие страдания. Дитя мое! Дитя скорби и печали! Прежде, нежели ты пойдешь на это свидание, помолись Господу со всем усердием души твоей. Это может быть последний твой счастливый день в жизни.

Какой-то страх опять сжал сердце Саши. Глаза его подернулись туманом. Он схватил руку дяди и омочил ее слезами.

— Дяденька, позвольте мне не идти на это свидание! — вскричал он.

— Теперь уж это невозможно, сын мой,— отвечал пустынный с некоторою суровою торжественностью.— Теперь людская праздность, любопытство и злость довершат все, чего бы ты старался избежать. Они отнимут у тебя тогда и последнее утешение, которое тебе предстоит в этом свидании. Нет! Ступай, сын мой, кто знает, на какой конец ведет тебя судьба! Что может слабое дитя против заветов рока! Если он создал тебя для бедствий и испытаний, то он же вверил твое младенчество в мои руки, чтоб я укрепил твой дух и научил тебя страдать и сносить. Я все употребил, чтоб приготовить тебя к будущим несчастьям. Ступай, ступай, сын мой. Господь да благословит и примет тебя под свой покров.

Он простер руки свои над головою Саши, который склонил пред ним колени. Несколько минут пробыли они оба в этом положении; наконец дядя поднял Сашу, с жаром обнял его, осенил знамением креста и отпустил.

Как приговоренный к казни пошел Саша к Леоновым, все изумились, видя необычайную печаль его. Напрасно, однако же, его расспрашивали — он отвечал холодно и односложно, принуждены были оставить его в покое и отправились к обедне.

В церкви народа было немного. Они нарочно стали поближе к Зембиной и старались выставить вперед Сашу, но тот, постояв несколько минут наравне с ними, удалился к задней стенке и там простоял всю обедню. Став нарочно таким образом, чтоб можно было видеть Зембину, Саша несколько раз всматривался в нее издали, и при виде этой женщины какое-то непостижимое чувство страха и почтения родилось в его душе. Он приписывал это зловещим предсказаниям дяди и перебирал в уме своем все возможные случаи, по которым свидание с Зембиной могло произвести какие-нибудь несчастья. Воображение его напрасно истощалось — он не придумал ничего.

Обедня вскоре кончилась, и народ стал расходиться. Леоновы спешили на паперть; Саша стоял уже там и с стесненным сердцем готовился к предстоящей сцене. Еще недавно почитал он ее шуткою; теперь чувствовал, что какая-то тяжесть давит грудь его, какая-то невидимая рука приковывает его к месту, какой-то грозный голос вопиет ему: «Несчастный! Что ты делаешь?» Мгновенная мысль блеснула в уме его; он хотел бе-

жать, скрыться, но робкий взгляд его обратился на Леоновых, и он остался.

В эту минуту выходила из церкви Зембина; карета ее была подана, и в то время, когда один ливрейный лакей раздавал нищим милостыню, другой вел ее под руку по ступеням.

Одно мгновение решимости — и Саша стоял уже перед нею.

— Пустынник приказал вам кланяться, — сказал он Зембиной с сильно трепещущим сердцем.

С недоумением подняла Зембина глаза на Сашу, хотела сделать какой-то вопрос, но вид его мгновенно прервал все умственные ее способности. Блуждающие взоры ее обратились на окружающих, но и это было без цели и даже без ее воли и сознания. То было одно судорожное движение. Еще одно мгновение, и она, протянув руки вперед, как будто желая обнять какой-то призрак, с глухим стоном упала без чувств. Все окружающие бросились к ней, и Саша, как ближе всех стоявший, принял ее в свои объятия.

Произошла небольшая суматоха, как обыкновенно бывает в подобных случаях. Праздная толпа окружила ее, и все подавали советы, чтобы привести Зембину в чувство. Сторож церкви принес воды; ее вспрыснули, и она пришла в себя, не понимая, однако, ничего, вокруг нее происходившего. Сам не постигая своих чувств, Саша стоял перед нею на коленях и целовал ее руки. Напрасно Леонова, испуганная неожиданною развязкою свидания, шептала Саше, чтоб он скорее удалился. Саша не слушал и не понимал слов ее.

Когда слуги Зембиной подняли ее и почти на руках понесли к карете, она едва внятным голосом сказала им: «Постойте на минуту!» Они остановились. Тут вид Саши возвратил ей вполне чувства. Быстро схватила она его за руку, устремила на него жадные взоры, прижала его к груди своей, хотела что-то сказать и опять лишилась чувств.

На этот раз слуги донесли ее до кареты, положили в нее, карета быстро понеслась по улицам, а зрители составили между собою группы и начали друг у друга спрашивать: «Кто? От чего? Каким образом» и тому подобное. Одни Леоновы и Саша знали причину происшествия и спешили удалиться. С глубокою и безмолвною горестью сел Саша с ними в карету, и ручьи слез облегчили грудь его. Все молчали; никто не чувствовал себя в состоянии утешать его, хотя никто не пости-

гал причины необычайного происшествия. В то время, как ехали в церковь, все воображали, что, возвращаясь, будут от души смеяться над свиданием Саши с Зембиной; теперь истинная горесть обоих так поразила Леоновых, что они одним молчанием скрывали свое замешательство и внутреннее раскаяние.

Впрочем, старуха Леонова, как опытная московская барыня, придумывала в уме своем все возможности и причины как удивительного сходства между Сашею и Зембиным, так и произведенного ужаса над его женою. Разумеется, результат всех догадок был тот, что Саша должен быть сын... Но, к сожалению ее, эта догадка, самая вероятная, останавливалась на первой точке выводов. Никакие слухи не обвиняли Зембина в ветрености и волокитстве. Законного же и первородного сына никакой отец не отчуждал от семейства... Тут решительно самое плодovitое воображение истощалось бы напрасно и оканчивалось тем, что Саша не может быть сыном Зембиной. Но отчего же этот испуг, этот ужас, как бы изобличивший какую-то семейную тайну? Может, не было ли у него сестры, брата?.. По справкам и этого не оказывалось!.. Не истинное ли мучение? Видеть огромную семейную тайну и не добраться до нее!

ГЛАВА VII

В безмолвно страдальческом положении привезли домой Зембину. С нею же вместе приехал Сельмин, который чувствовал, что вся буря на него теперь обрушится, что Зембина должна была догадаться, что свидание устроено Сельминым и что ему надобно употребить все возможные клятвы и оправдания, чтоб не лишиться ее дружбы. Зембин был дома, когда жена его возвратилась, и по суматохе, происшедшей в доме, тотчас же бросился с расспросами, а потом уже и к жене! Она не успела еще опомниться — ручьи слез катились по щекам ее. Сельмин стоял подле нее и собирался с духом, чтобы при первой возможности начать свои оправдания. Каково же было его удивление, когда Зембина при входе мужа вдруг встала и с улыбкою бросилась обнимать испуганного старика.

— Что это значит? Что с тобою сделалось? Где ты была? — спросил он ее.

— У обедни, друг мой! Простояла всю преспокойно и не чувствовала ни малейшей слабости... Вдруг, выходя из церкви, на самой паперти, сделалось мне дурно... так что люди на руках снесли меня в карету...

— Но отчего же, боже мой!..

— Я думаю, от множества народа... спертый воздух, ладан, свечи... Впрочем, я уже и сама не знаю отчего... Вот и Александр Петрович был со мною... Искренно благодарю вас,— сказала она Сельмину.— Вы так дружески обо мне заботились...

Сельмин не нашелся что сказать. Он не постигал, каким образом Зембина так скоро собрала свои силы и так хорошо притворяется. Он ожидал тягостных объяснений, даже какой-нибудь сцены между мужем и женою; он надеялся, что разгадка семейной тайны Зембиных в его руках, и что ж?.. Женское притворство внезапно ниспровергло все его ожидания и расчеты. Он отвечал Зембиной несколькими несвязными словами, которых никто из присутствовавших не понял, а всего менее сам Сельмин. Зембин продолжал хлопотать около жены, которая очень весело и беззаботно отвечала на его попечения и расспросы. Ничто, по-видимому, не обнаруживало в ней ни волнения, ни беспокойства. Если б Сельмин не был очевидцем и свидетелем сцены с Сашею на паперти, если бы не был удостоверен в притворстве Зембиной, то никак бы не догадался, что эта женщина испытывала в эту минуту величайшие страдания. Конечно, первые действия ее неожиданного свидания с Сашею заставили Сельмина искренно раскаиваться в участии своем в этом заговоре, но теперешнее притворство дало вдруг другой оборот его мыслям. Ему было досадно, что Зембина так искусно умеет скрывать свои чувства и свою домашнюю тайну. Раскаяние его исчезло, осталось одно любопытство, и дух зла преодолел. Сельмин решился дотронуться до болезненной и таинственной струны женского сердца.

— Впрочем, я, ей-богу, не понимаю,— сказал он Зембину.— В церкви было не так много народа... Вера Николаевна садилась уже в карету, вдруг подошел один мальчик.

— Какой мальчик? — быстро спросил Зембин.

— Я не заметила... может быть, нищенский,— отвечала, побледнев, Зембина и бросила умоляющий взгляд на Сельмина.

— Я сам не рассмотрел его,— сказал Сельмин.— Вы вскрикнули, я перепугался...

— Очень благодарна вам, Александр Петрович. Это был маленький истерический припадок... Вы к ним не привыкли... И видно, что холостой человек...

Все это Зембина говорила с ласковою улыбкою, которой сильно противоречила возрастающая бледность лица ее. Видно было, что усилия притворства с трудом одолевали страдания сердца. Воспоминание о мальчике, так жестоко сказанное Сельминым, довершало мучения. Зембина инстинктивно решилась сказать еще одну незначащую фразу из светского словаря, но это было последнее ее усилие. Страдания преодолели, фраза была не кончена, и Зембина с тихим вздохом упала без чувств на диван. И муж и Сельмин бросились к ней на помощь; весь дом пришел в движение. Сельмин, чувствуя новую свою вину, спешил уехать под предлогом отыскания доктора.

Через полчаса возвратился он с врачом, но Зембина была уж в своей спальне, куда отправился доктор с мужем, а Сельмин остался в кабинете генерала. Через четверть часа Зембин воротился угрюмый, печальный, безмолвный... Сельмин ожидал от него расспросов о встрече с Сашею, но старик молчал и на вопрос Сельмина о здоровье Веры Николаевны отвечал сухо:

— Ничего! Пройдет!

Сельмину больше нечего было делать, как проститься и уехать. Но все случившееся так глубоко поразило его, что он не решился ехать к Леоновым, которые с нетерпением ожидали его, чтоб узнать о последствиях рокового свидания.

К вечеру приехал к Сельмину сам Зембин.

При входе его Сельмин предвидел, что надобно готовиться к объяснению.

Разговор, разумеется, начался с того, что Сельмин спросил о здоровье Веры Николаевны.

— Ей лучше, да мне-то, братец, хуже,— угрюмо отвечал Зембин.

— Что ж случилось?

Генерал печально покачал головой и не отвечал. На лице его заметна была внутренняя борьба. Ему не хотелось нарушить молчания, которое он столько лет сохранял, а между тем он чувствовал также необходимость узнать от Сельмина то, чего он сам не мог добиться от жены. Он даже надеялся успеть в этом, не высказывая всей своей семейной тайны Сельмину. Но, подавляя сильное волнение чувств, он не предвидел, что

первая капля, переполнившая сосуд, непременно увлечет за собою целый поток. В груди его кипела огненная лава; она уже поднималась к своему кратеру; одно мгновение, и она должна была вылиться через края губительною струею.

Видя, что Зембин ничего не отвечает на вопрос о здоровье жены, Сельмин начал самый обыкновенный, сухой, прозаический разговор. Он спросил его что-то о постороннем предмете, но тот продолжал угрюмо ходить по комнате, не отвечая ни слова. Оставалось действовать открыто.

— Что с вами, генерал? — спросил наконец Сельмин. — Вы так печальны, в таком волнении... С вами, верно, что-нибудь случилось.

— Да, братец! — отвечал наконец Зембин с глубоким вздохом. — И за этим-то я к тебе приехал... Ты, наш давнишний друг, должен отвратить от нашего дома ужасное несчастье, которое ему, может быть, угрожает.

— Боже мой! Говорите, приказывайте... Я на все готов...

— Я и сам еще не знаю... Твоя дружба должна объяснить и открыть все дело! Кто тот мальчик, который подошел сегодня после обедни?.. Знаешь ли ты его или нет? Говори просто и откровенно.

— Знаю... и я даже вам несколько раз говорил о нем мимоходом. Это студент здешнего университета... брат прекраснейшей девушки... которая очень похожа лицом на вас...

— Знаю, братец, знаю... только что это не может быть *он*... то есть не *она*... то есть... Одним словом, я опасаюсь встречи только с *одним* существом... другого же тут быть не может...

— Я вас не понимаю...

— Немудрено... я и сам не знаю, что говорю, только дело вот в чем... Хочешь ли ты доказать мне свою дружбу? Хочешь ли исполнить мою просьбу?

— Что за вопрос? Скажите только, что надобно делать?..

— Узнай мне самым верным образом, кто этот мальчик... кто его... отец. Откуда он взялся? Где воспитывался? Одним словом, мне нужно знать не *теперешнюю* его жизнь, а историю его *детства*... Понимаешь?..

— Очень понимаю — и ваше поручение очень легко исполнить... Он всякий день бывает у Леоновых, которые знают все подробности его жизни и детства... Они мне даже рассказывали об этом, но я вовсе не любопытствовал... Помню только, что он сирота и живет пустынником всю свою жизнь...

— Пустынником! — вскричал Зембин почти в исступлении. — Так это он!

— Кто он?

Этот вопрос мгновенно охладил видимое бешенство Зембина. Он чувствовал, что надо открыть Сельмину *все*, — а это было сверх сил его. Он замолчал и в ужасном волнении начал ходить по комнате. Сельмин видел, что настойчивость может все испортить, и потому решился продолжать разговор, как будто не замечая скрытности Зембина.

— Что же касается сестры его, — продолжал Сельмин с видимым равнодушием, — то она живет в подмосковной или калужской деревне у какой-то тетки.

— Что за гиль, братец? — перебил его Зембин. — У него не может быть сестры...

— Помилуйте... Да я ее сколько раз видел... Вы сами даже... Вспомните только на бале...

— Эх, братец, помню... Только это вздор... быть не может... Впрочем, узнай хорошенько об этой сестре... Мы увидим... Я все открою...

— Вот тут поручение ваше будет гораздо затруднительнее... О молодом человеке Леоновы рассказывают охотно все, что вам угодно, но о сестре его они ужасно скрытны и молчаливы... Признаюсь вам, что я без ума от этой девушки и, несмотря на все мои старания, ничего не мог выведать о ней... Это какое-то таинственное существо...

— Сам черт тут не поймет ничего! — вскричал опять Зембин с величайшим гневом. — Все сказки, басни... Я с ума сойду. Что мне делать? Я этак ничего не узнаю... Осталось одно средство... Послушай, Александр Петрович... я тебя избавлю от всех хлопот и поручений... только вместо того свези меня сам к Леоновым и заставь их при мне, как умеешь, высказать все, что они знают об этом мальчишке... Можешь ли ты это сделать?

— Очень охотно, генерал... В этом не может быть никакого затруднения... Хотите *сейчас* ехать?

— Пожалуй... Да примет ли старуха? Не обидится ли вопросами?..

— Принять вас требуют учтивость и приличие... а вопросы ведь будут касаться не ее семейства... Ей никто не вверял никаких тайн насчет этого молодого человека... То, что она знает, могут, вероятно, и все знать... Поедем!..

Они отправились. По лицу Зембина заметно было, что сердцу его стало легче; он отдохнул, как будто грудь его облегчилась от какой-нибудь тяжести. Он рад был, что расспросы Сельмина не принудили его открыть тайну, которую он столько лет скрывал от всего света. Хотя он и чувствовал, что в разговоре с Леоновой он будет вновь принужден коснуться этой струны, но тут надеялся, что ему легче будет сохранить свою тайну, нежели с Сельминым, который гораздо более имел права на его откровенность. Между тем он, однако же, дорогою начал придумывать нить предстоящего разговора самым дипломатическим образом. Сельмин, с своей стороны, не делал ему никаких вопросов и надеялся, что любопытство и опытность старухи Леоновой гораздо лучше его выманят у Зембина роковую тайну.

Когда они приехали к Леоновой, то Сельмин хотел предупредить старуху и рассказать ей, в чем дело, но та давно уже с величайшим нетерпением ждала вестей и сидела у окна. Она удивилась и обрадовалась, увидя Сельмина вместе с Зембиным. До сих пор знакомство их было только бальное, то есть что они друг друга обязаны были звать ежегодно раза по два во время зимних балов, теперь же посещение Зембина должно было, по-видимому, вести к ближайшему знакомству, — а женский инстинкт любопытства тотчас же внутренне убедил ее, что дело идет о той семейной тайне Зембиных, которую все московские старухи столько лет не могли выведать. Поэтому-то Леонова встретила своих посетителей как бы нечаянно при самом входе их в залу, и эта встреча расстроила, разумеется, все приготовленные фразы Зембина и Сельмина. Теперь уже они были в руках Леоновой и должны были следовать послушно за нею.

Впрочем, она, как опытная в своем деле дама, не вдруг приступила с вопросами. Она обласкала сперва Зембина самым обаятельным образом, наговорила ему бездну учтивостей, которые так приятно всегда слышать от женщины, — словом, старалась прежде всего приобрести дружбу и доверенность Зембина. И уже только тогда, когда она заметила, что это ей отчасти и удалось и что дальнейшие светские фразы будут пошлы и утомительны, вдруг обратилась к нему с вопросом:

— А что Вера Николаевна? Мы все были с нею у обедни. Ей сделалось дурно на паперти... Скажите, пожалуйста, отчего это и какова она теперь?

— Слава богу, прошло... безделица! — отвечал Зембин. — Верно, от тесноты или от ладана...

— Я с Машей хотела садиться в карету, один наш знакомый молодой человек велел было подавать... Как вдруг Вера Николаевна вскрикнула...

— А кто был этот молодой человек? — спросил с внутренним трепетом Зембин.

— Здешний студент, прекрасный молодой человек... очень хорошей фамилии... Он почти всякий день у нас бывает...

— Я что-то о нем тоже слышал, — продолжал Зембин, потупя голову. — У него, кажется, есть какой-то дядя...

— Да! Самый почтенный, но странный и таинственный человек... всю жизнь свою прожил в какой-то пустыне... в поместье Александра Петровича...

— У твоего отца? — вскричал Зембин, обратясь к Сельмину. — Ты мне этого не сказал.

— Сам в первый раз слышу... Но теперь помню и знаю этого человека... только у него не было тогда мальчика...

— Знаю, знаю, — прервал его Зембин. — Это он!

— Кто он? — спросила Леонова.

Зембин замолчал.

Леонова, будто не замечая его смущения, продолжала словоохотливо:

— О мальчике я ничего больше не знаю, но старик дядя, говорят, самый умный и добрый человек... был в военной службе и даже при дворе...

Все это Леонова говорила с некоторыми расстановками, устремля быстрые и испытующие взоры на Зембина, который, однако же, опустя голову на грудь, не поднимал глаз своих, с трудом переводя дыхание от сильного волнения чувств. Леонова видела действие, произведенное ее словами, но минутной ее догадливости слишком было недостаточно, чтоб понять, какую связь имеет пустынный Зембиным и Сашею. А потому она и решилась продолжать.

— Какими пустяками я вас, однако, занимаю! — сказала она, улыбаясь. — Мы, старухи, вечно таковы: с военными людьми рассуждаем о пустынных, а с дипломатами — о женских модах.

— О нет! — со вздохом прервал ее Зембин. — Я очень рад... мне даже очень любопытно было бы узнать историю этого пустынного, в особенности же его племянника...

— А вообразите себе, какая странность! — в свою очередь прервала его Леонова. — Ведь этот молодой человек по удивительной игре природы... имеет большое сходство с вами.

— Да, я слышал.

— А сестрица его еще более похожа, — сказал вдруг Сельмин, вмешавшись в разговор.

— Сестрица? — задумчиво спросил Зембин. — А разве у этого мальчика есть сестрица? Кто она?..

— На этот только раз позвольте мне, генерал, не отвечать вам, — сказала Леонова с иронической улыбкою, глядя на Сельмина. — О молодом человеке я могу вам рассказать все, что угодно, потому что жизнь его... не тайна, но сестра его... это совсем дело другое... О ней я не могу и не смею говорить...

— Я и не любопытствую, — холодно отвечал Зембин. — Это только мой Александр Петрович все еще мечтает о девушках...

— Если б вы ее видели, генерал!

— Да я, кажется, ее видел зимою на бале...

— Что ж? Поразило ли вас сходство этой девушки с вами? — спросила Леонова.

— Нет! По крайней мере, мне это не бросилось в глаза...

Леонова довела наконец разговор до желаемой точки. Теперь оставалось ей со всею женскою инстинктивною дипломатиею пользоваться превосходством своей диалектики и правом хозяйки.

Она уже торжествовала в уме своем легкую победу, одержанную ею так скоро; уже мысленно объезжала она всю фалангу своих знакомых с торжественным рассказом об открытой ею тайне... Как вдруг внезапно все ее мечты и ожидания разрушились, разговор был прерван самым непредвиденным образом. В гостиную вошли молодой Леонов и Саша. При виде Саши Зембин вскочил и молча устремил на него угрюмо-проницательный взор.

— Да вот он и сам кстати, — сказала Леонова. — Не правда ли, что сходство поразительное...

Она не dokonчила своей фразы, потому что, взглянув на Зембина, увидела такое грозное выражение в лице его, что сама испугалась. Такое же действие произвел вид его и на других присутствующих — всеобщее молчание продолжалось несколько минут. Наконец Зембин медленно подошел к Саше и, схватив его за руку так сильно, что тот едва не закричал, спросил его:

— Как ваша фамилия, молодой человек?

— Александр Тайнов,— с робостью и почти со слезами на глазах отвечал Саша.

— Тайнов! — с горькою улыбкою повторил Зембин.— Да! Он прав! Лучше нельзя было придумать... Где вы провели детство?

— В поместье Петра Александровича Сельмина, во Владимирской губернии.

— Это он! Нет сомнения... А что делает ваш дядя? Замолил ли он прежние грехи свои?..

Краска негодования вспыхнула на лице Саши. Последний вопрос сделан был с презрительною и злою улыбкою — мужество Саши вдруг пробудилось.

— Извините, генерал,— сказал он громким, хотя и несколько прерывающимся голосом.— Вы, верно, не знаете моего дядюшку... Не мне, конечно, защищать его... я этого недостойн, но тысячи голосов скажут вам, что он самый великодушный и благородный человек...

— И все солгут... потому что я лучше всех его знаю... Поедемте к нему... Я хочу его видеть... Я хочу повторить ему... поедемте...

С этим словом он потащил Сашу, который не смел противиться, и через минуту они уже скакали к монастырю, где жил пустынник.

А Леонова и Сельмин? Они долго смотрели друг на друга молча — и во всяком другом случае расхохотались бы, но ужасное выражение лица Зембина было у них еще перед глазами. Оба боялись теперь за участь Саши и не смели сообщить друг другу своих мыслей. Молодой Леонов прервал молчание.

— Что все это значит, тамап? — спросил он.— Кто этот господин? Куда и зачем увез он Александра?

— Они поехали к дяде его в монастырь,— отвечала старуха,— но я не знаю... я боюсь... Ты бы очень хорошо сделал, Николай, если б съездил туда же... Может быть, твое присутствие спасло бы Сашу от какой-нибудь неприятности... А если ему нечего бояться, то, по крайней мере, ты бы узнал что-нибудь...

Так женское любопытство везде всплывало наверх! Леоновой грустно было, что тайна Зембиных так неожиданно ускользнула из ее рук, тогда как, по-видимому, она готовилась овладеть этим заветным сокровищем.

— Да что же этому генералу надо от Саши? — спросил опять молодой Леонов.

— Это Зембин, на которого Саша так похож...

— Не столько он, сколько его сестрица,— сказал Сельмин, которому очень хотелось воспользоваться этим случаем, чтобы выведать тайну о *прелестной незнакомке*.

И мать и сын взглянули друг на друга, улыбаясь. Сельмин заметил это, но не понял. Он думал, что Леоновы забавляются его романической страстию, и решился продолжать разговор.

— А странное дело,— сказал он.— Зембин устремил все свое любопытство на брата, о сестре же и знать не хочет. Я ему раза два заговаривал о ней сегодня, но он мне отвечал, что это гиль, что у господина Тайнова нет сестры... очень удивительное упрямство! Не правда ли?

Леонова опять улыбнулась и отвечала очень равнодушно, что развязку всего этого может только дать открытие семейной тайны Зембиных, но как им не удалось ничего узнать, то всякий и должен оставаться при своих догадках.

— Конечно, перед нами теперь обширное поле для догадок,— сказал Сельмин,— но в существовании сестры господина Тайнова, кажется, нет никакой тайны... Расскажите мне, пожалуйста, что вы о ней знаете...

— В другой раз, в другой раз, Александр Петрович. Теперь я и сама слишком занята судьбою брата, мне уже не до сестры!.. Поезжай же, Николай... Узнай, что там делается...

Леонов отправился.

ГЛАВА VIII

Уныло сидел в своей комнате пустынник. Несколько часов сряду занимавшись молитвою, он почувствовал наконец, что его тело слишком утомлено, чтоб продолжать ее с тою же душевною внимательностию. Он бросился в дубовые кресла, стоявшие у окна, и предался глубокому размышлению.

Перед ним простиралась обширная равнина, пересекаемая в разных направлениях рекою Москвою, а за этою равниною расстилалась многолюдная столица, кипящая жизнью и деятельностью. Эта картина живо напоминала ему протекшую и настоящую его жизнь, теперешнее спокойствие его и уединение, а за этою равниною — прежнюю бурную, светскую жизнь.

Теперь все заботы его, все занятия ограничивались то помещьем Сельмина, то тесною оградой монастыря, а прежде мечтам его было мало и всего света! Невольно воображение перенесло его в период счастливой молодости, когда и жизнь и люди облечены были в глазах его всеми красотами и добродетелями. И как вдруг потом все это исчезло и разлетелось, будто дым! Горькая опытность удостоверила его, что все на свете обман и суета. Теперь он признал всю людскую злость и несправедливость, однако же он не ненавидел свет и не презирал людей. Страсти давно уже улеглись в груди его — и в пороках людских он видел одну слабость и несовершенство нашей натуры. Только изредка воображение его рисовало ему один предмет, который еще заставлял сердце его биться сильнее обыкновенного, — но твердая воля тотчас же прогоняла эту минутную слабость воображения. Теплая молитва тотчас же возвращала его к душевному спокойствию, и он мысленно прощал врагам своим.

Оставался для него один Саша, который составлял еще некоторую связь между ним и миром. Саша должен был ему ежедневно рассказывать свои приключения и чувства, — но если это и напоминало ему мирские отношения и слабости, то нисколько не нарушало до сих пор его спокойствия.

Привязанность его к питомцу своему была самая тихая, кроткая и отеческая. Ему хотелось по возможности предохранить это существо от всеобщей порчи нравов и заранее внушить ему покорство судьбе и великодушное терпение в несчастиях. Только с некоторого времени заметно было в пустынике видимое беспокойство после известия о предполагаемой встрече Саши с Зембиной, но и тут надежда на Провидение ободряла его. Зная всю неисповедимость судеб Божиих, он твердо был уверен, что всякая человеческая борьба бессильна противу путей Господних. Зная, однако же, что в этот день должно совершиться это роковое свидание, он целый день провел в видимом волнении и с каким-то тайным трепетом ожидал вечернего прихода своего питомца. Он никак не предчувствовал, кто должен был прийти с Сашею!

По окончании вечерни уже более часа сидел он в своих дубовых креслах у окна, вдруг шум шагов возвестил ему чей-то приход, и чрез минуту Саша был в его объятиях.

Пустыннику довольно было одного взгляда, чтоб видеть необыкновенное волнение и расстройство юноши.

— Что с тобою, друг мой? — спросил он его с некоторым беспокойством.

— К вам приехал... Он насильно привез меня. Спросите у него, что это значит?..— И прерывавшиеся речи Саши были сопровождаемы потоком слез.

— Кто приехал? Где? — с увеличивающимся волнением спросил пустынник.

— Там!.. Здесь... генерал Зембин,— отвечал Саша и указал на ближайшую комнату.

Пустынник вскочил и, судорожно приложив руку к пылающему челу своему, погрузился в минутное размышление, потом схватил Сашу, прерывающимся голосом сказав ему, чтоб он остался в этой комнате и не слушал разговора, который будет происходить в зале, вышел сам к посетителю, тщательно заперев за собою дверь.

Там стоял Зембин у окна и с угрюмою бесчувственностью смотрел на закатившееся солнце. Услыша шаги входившего пустынника, он быстро оборотился и, скрестя руки на груди, вперил в него пронизательный взор. Пустынник остановился при виде человека, давно знакомого ему в прежней мирской жизни, с тою только разницею, что взоры пустынника выражали любовь и снисхождение.

— Ты ли это, Иван? — с кротостью сказал он Зембину.

Но тот угрюмо молчал и только взглядами, которые вдруг воспламенились каким-то гневом при звуках голоса пустынника, старался выразить чувства, для которых языка было недостаточно.

— Зачем ты пришел ко мне? Чего ты от меня хочешь? — спросил опять пустынник.

— Где этот мальчишка? — сказал Зембин с сильным гневом.

— Там, в той комнате!.. Он не должен слышать нашего разговора. Довольно и меня одного для твоего несправедливого гнева.

— Несправедливого! — вскричал Зембин.— Старый лицемер! Ты все еще не отучился притворствоваться? Ты думал пустынническою жизнью прикрыть свои пороки и лживость.

— Ты все таков же, Иван,— с кротостью сказал пустынник,— буйный, строптивый, несправедливый.

— Замолчи! Тебе ли упрекать меня в чем-нибудь.

— Я и не думаю упрекать... Скоро мы оба явимся на суд Всевышнего, там ты убедишься в моей невинности... Но я не

сетую, не жалуюсь на тебя... Я тебе все отдал: жизнь, честь, имя, имущество — и за это...

— И за это отнял спокойствие на всю жизнь,— прервал его Зембин.— Замолчи, говорю я тебе... Я не считаться с тобою пришел сюда... Я очень хорошо помню все, чем тебе обязан... Но ты слишком дорого взял за свое добро... Я теперь отдам тебе вдвое; возврати мне только спокойствие и семейное счастье...

— И то и другое совершенно в твоей власти... Ты никогда не терял их, только собственное твое заблуждение...

— Старая песня! Меня словами не уверишь...

— А все-таки придет время, что ты узнаешь свое заблуждение и будешь раскаиваться в своей несправедливости... Мы уж стары, Иван! Вспомни Бога и смертный свой час...

— Для тебя должно быть тяжелее об этом вспоминать... Ты призываешь Бога в свидетели своей невинности, а не он ли изобличил твое преступление? Улика налицо. На кого Саша похож?

— Странное заблуждение и ослепление! Он похож на *тебя*, и только. А что мы похожи друг на друга — это еще естественнее. Не лучше ли было верить добродетели чистейшей женщины и чувствам брата, который все тебе принес в жертву? Это было вернее и справедливее...

— Да! Вернее, чтоб быть обманутым!..

— Мне грустно видеть твое упорство и ослепление; но я не буду убеждать тебя... Кто не хочет ни видеть, ни слышать истины, тот и не заслуживает знать ее... Скажи теперь, что тебя привело ко мне?

— Появление сына... Он виделся с женою... Сходство поразило ее... Она узнала...

— Только бесчувственные отцы, тебе подобные, могут не узнавать своих детей...

— О нет! И я его сейчас же узнал... тоже узнал... тоже по сходству, а более по моей ненависти и бешенству... Я с ним нарочно к тебе приехал... Чтоб завтра же его не было в Москве!.. Я этого требую непременно.

— Ты требуешь невозможного... Он оканчивает курс в здешнем университете. Когда выйдет, то я постараюсь определить его на службу куда-нибудь подальше от тебя... Но теперь...

— Что ж? Я должен караулить всякую минуту, чтоб жена... Нет! Этому не бывать... я предчувствую все твои хитрости...

Сам ты отказался от имени и имения, но теперь хочешь доставить их своему мальчишке...

— И он их получит, но не прежде твоей и моей смерти... Когда же мы оба будем пред престолом Вечного Судии, то твое неправоудие должно быть исправлено на земле...

— О! Я не допущу этого, и мое завещание предупредить твою *родственную* заботливость...

— *Мое* завещание будет вернее и справедлинее. Законы и совесть будут на моей стороне...

— Увидим! А до тех пор, повторяю тебе, чтоб *его* здесь не было... Иначе... ты меня знаешь... Я решусь на все...

— Знаю твой буйный нрав и твою всегдашнюю несправедливость, но, пока дело шло собственно обо мне, я тебе во всем повиновался, я все тебе отдал... Теперь дело идет о несчастном и невинном создании...

— Лицемер! — с яростью вскричал Зембин. — Неужели ты не чувствуешь, что чем более за него стараешься, тем более изобличаешь себя...

— Нет, Иван! Нет, это самое и должно тебе показать мою невинность... за плод преступления своего я бы боялся Бога и людей, но за *твоего* сына, гонимого и невинного, я готов на все... Не доводи меня до крайности, Иван... Я тебе зла не желаю и никогда не сделаю, но *мои* средства к защите будут действительнее твоих угроз. Что тебе надобно? Чего ты хочешь? Ты требуешь, чтоб Саша никогда не виделся с бедною своею матерью, и я это исполню... Исполню потому, что ее спокойствие и мнение света зависят от этого, а не потому, чтоб я боялся твоих угроз. Ты уже совершил все, что бесчеловечие и бесчувственность могли придумать. Ты на всю жизнь разлучил мать с сыном... и за кровавые ее слезы дашь строгий ответ Всевышнему Судье... Ты принудил родного своего брата отказаться от света, имени и людей — и он тебе это прощает... Но далее не иди, Иван! Ты ошибешься в своем расчете... Ты меня всегда видел кротким и снисходительным, не испытывай моей твердости... Она так же непреклонна, как и твоя несправедливость, — с тою только разницею, что на моей стороне Бог, совесть и правда.

Пустынник замолчал — и Зембин долго, мрачно и внимательно смотрел на него. Никогда еще не видел он в нем столько силы и твердости. Это был вовсе другой человек. Перед кротким и уступчивым был он всегда бешен и смел; перед

твердым же и угрожающим он вдруг почувствовал почтение и даже род боязни.

— Ты очень переменился, Григорий,— сказал он ему с иронией.— Разве пустынножизненная жизнь сделала тебя гордым и самонадеянным?

— Нет! Но прежде я надеялся на правосудие людей — и ошибся... Теперь же все упование мое на одного Бога, и потому-то я тверд и непреклонен.

— Значит, мне с тобою и говорить не о чем. Я приехал к брату, а встречаю какого-то святошу...

— Нет, Иван, сердце брата не изменится и по смерти... Ты сделал мне все возможное зло, и за это я всякий день молюсь за тебя... Дай мне случай принести тебе еще какую-нибудь жертву, и я с радостью не пожалею и жизни моей...

— Я от тебя и прошу теперь жертвы... Избавь меня от этого сына... Когда я решился выбросить его из дома, то мог бы его оставить и у порога неизвестной хижины, и тогда я бы о нем никогда более не слышал, но я уступил слезам матери — и оставил его у тебя. Ты знаешь мои условия, исполни их.

— Да! Письмо твое и теперь у меня хранится... Ты отвергнул собственного твоего сына — и поступил жестоко и несправедливо... Ты поручил его мне — и я заменил ему отца... Ты требовал, чтоб он никогда с тобою не встречался, но за это разве можно поручиться? Кто мешает тебе чуждаться его? Я тебе даю слово, что скоро отправляю его в Петербург на службу... Чего же тебе больше? Ты сам своим бешенством дашь пищу злословию и сплетням... Будь хладнокровен, равнодушен — и никто никогда не узнает твоей губительной тайны...

— Но теперь я уже сорвал завесу... я отыскал этого мальчика у одной московской барыни, старухи, болтуны, повез его к тебе, и завтра же по всем домам благовестят обо мне.

— Вот видишь ли, что ты один виною всех несчастий... твоя опрометчивость и сумасбродство... но бог с тобою!.. я не хочу упрекать тебя... Я уже сказал, что со временем ты узнаешь всю вину свою и несправедливость... Теперь же стоит только исполнить твое безрассудное требование и услать куда-нибудь Сашу, тогда всё заговорит и догадки людской праздности будут для тебя вреднее самой действительности... Гораздо лучше... поезжай опять с Сашею, отвези его к Леоновой, скажи, что вышла очень забавная ошибка, извинись, будь хладнокровен, и все вестовщицы замолчат.

Долго не отвечал Зембин ни слова. Всякому тяжело сознаться в справедливости другого, каково же было гордому и вспыльчивому Зембину? Он, однако же, преодолел себя наконец и угрюмо сказал:

— Да, ты прав. Ты учишь притворяться, лицемерить. Это урок достойный тебя, но, однако же, это единственное средство... Так и быть!.. Смотри же... Чтоб этот мальчишка нигде не смел встречаться с женою. Да я ее никуда и пускать не буду... А когда ты отправишь его в Петербург или еще куда-нибудь подальше, то уведоми меня... Я тогда позволю жене выезжать... Прощай, и моли Бога, чтоб он тебе простил старые грехи твои.

С этими словами он повернулся и ушел.

Долго смотрел ему пустынный след и, возведя взоры свои к образу Спасителя, висевшему на стене, сказал с кротостию и верою: *«Господи, не вниди в суд с рабом Твоим»*.

Когда пустынный отворил дверь своей комнаты, Саша сидел у окна и горько плакал.

— Что это значит, друг мой? — спросил его он. — О чем ты плачешь?

— Не знаю! — отвечал Саша. — Но мне сделалось так грустно...

— Слышал ли ты что-нибудь из нашего разговора?

Саша потупил глаза и покраснел.

— Слышал, — отвечал он. — Голос отца моего был слишком громок, чтоб не слышать его.

— А любопытство твое было еще сильнее его голоса. Бедные мы дети Евы... И тысячелетия не изменят первородных слабостей... Итак, ты все знаешь?..

— Все!

— Тем лучше... Теперь мне не нужно предостерегать тебя. Будущая участь твоя будет зависеть от тебя самого. Ты слышал волю отца твоего...

— Отца! Который меня бросил с малолетства... О! Скажите, объясните мне, ради бога, за что он возненавидел меня? За что он гонит и теперь?

— Это тайна его сердца... Твое дело терпеть, страдать и молчать... Между отцом и сыном нет судей на земле... Я, брат его, мог сказать ему и могу повторить пред целым светом, что он не прав... но ты должен без ропота переносить гнев его, как бы он ни был несправедлив.

— Я готов переносить все, потому что мне остается *ваша* любовь и защита... Но бедная мать моя... За что *она* страдает?..

— Чтоб в лучшем мире приобрести полную награду, сужденную невинным страдальцам... Что такое наша жизнь? Минутное испытание!.. Счастлив тот, кто перенес его с твердостью и верою! Перенеси его и ты, друг мой. Терпи, страдай, молчи.

Саша горько заплакал. Напрасно пустынный старался успокоить его, он долго рыдал самым неутешным образом. Наконец дядя объявил ему, чтоб он съездил к Леоновым и если еще застанет там отца своего, то чтоб сообразовался во всем с его словами; когда же он уедет и Леонова приступит к расспросам, то чтоб сказал, что генерал был у дяди один — и что свидание их было непродолжительно. Саша успокоился.

В приемной зале встретил он молодого Леонова. Пустынный расспросил у нового посетителя, зачем он приехал, и поручил ему поблагодарить старуху Леонову за все ее ласки и расположение к Саше.

— Что же касается посещения генерала, — прибавил он, — то скажите своей маменьке, чтоб она не беспокоилась. Генерал был поражен фамильным сходством между Сашею и самим собою. Он хотел знать всю родословную Саши, и я сообщил ему о ней самые верные сведения, которые совершенно его успокоили. Он теперь поехал к вашей матушке и все ей расскажет... Жаль только, что он не взял с собою Сашу... Но вы поедете теперь вместе... Саша должен принести вашей матушке всю свою благодарность за ее заботливость и попечения о нем...

Молодые люди откланялись и уехали. Когда они приехали к Леоновой, то Зембин был еще там. Он несколько смешался при виде Саши, но когда Леонов повторил матери своей слова пустынного, то Зембин успокоился и сказал несколько незначащих слов насчет сходства Саши. Впрочем, заметно было, что он старался не смотреть на Сашу и что с той минуты, как Саша вошел, Зембин спешил окончить начатый разговор, чтоб поскорее уехать. Действительно, минут через пять он раскланялся, напрасно приглашая с собою Сельмина, который все еще надеялся узнать что-нибудь о своей прекрасной незнакомке.

Когда Зембин уехал, то разговор сделался живее и непринужденнее. Леонова осыпала Сашу вопросами, но тот с удивительным искусством отделялся от них. Оставалось, след-

ственно, догадываться — и изобретательность Леоновой была неистощима. Не раз Саша с ужасом слышал, как она кружилась около действительной истины, но вскоре потом оставляла ее, чтоб придумать что-нибудь другое, и Саша снова успокаивался.

Между тем и Сельмин, с своей стороны, хлопотал всеми силами, чтоб достигнуть своей цели... Несмотря на свое отвращение к Саше, он на этот раз решился с ним сблизиться и не раз вступал с ним в разговор, чтоб расспросить его о *сестрице*, но хитрая старуха всякий раз успевала обратить разговор на другой предмет — и Сельмин внутренне бесился, видя свою неудачу.

Все, что он мог узнать от Саши, состояло в том, что сестрица его здорова и весела, что часто бывает в Москве у Леоновых, но никому не показывается и что она также зависит от пустынного. Двусмысленные эти сведения только более воспламеняли любовь и любопытство Сельмина. По взглядам Леоновых и Саши видел он, что от него скрывают какую-то тайну, и не хотел бесполезно добиваться истины. Он наконец раскланялся и уехал.

Тогда-то началась для Саши самая тяжелая минута. Все семейство отправилось в комнату Марии, и вопросы градом посыпались на Сашу. Уже его не спрашивали, что происходило во время свидания Зембина с дядею, они верили, что и тот и другой имели свои причины, чтоб удалить молодого человека во время своего объяснения; но все приступили теперь к нему с просьбами сказать им свои догадки насчет всех приключений этого дня. Он ясно чувствовал, что догадку его примут все за настоящую истину, и потому, видя необходимость придумать что-нибудь небывалое, не смел, однако же, слишком удалиться от правдоподобия для того, чтоб не лишиться совершенно всеобщей доверенности. К счастью, редкое присутствие духа и гибкость ума помогли Саше. Он с видом полной откровенности признался, что почитал было себя незаконным сыном Зембиной, но после объяснения между дядею и генералом, в продолжение которого приносили им разные монастырские книги и метрики, оказалось, что он рожден был покойною своею матерью в Ярославле в такой год и месяц, когда Зембин жил в Харькове и был уже женат. Следственно, сходство его с Зембиным должно было приписать одной игре природы.

Леонова была чрезвычайно недовольна этими сведениями. Все дело казалось ей еще очень темным и запутанным. Семейная тайна Зембиных была еще не открыта. Какая горесть для московской пятидесятилетней барыни. Она обласкала Сашу со всею женскою утонченностию ума и просила его следовать со вниманием за всеми случаями, которые представятся в будущем, чтоб дополнить догадки и достичь наконец до открытия тайны. Он, разумеется, обещал. А чтоб вполне доказать свое усердие в этом деле, объявил, что весь вечер намерен провести с дядею в надежде что-нибудь у него выведать. Леонова одобрила план Саши.

Возвратясь к дяде, рассказал он ему все.

— Странное стечение обстоятельств! — сказал задумчиво пустынный. — Я должен одобрять выдумки и ложь, тогда как с младенчества учил тебя и всех говорить правду... Но вот что значит свет и злоречивые языки общества! Теперь *правда* погубила бы мать, отца и тебя, а ложь спасает покуда всех. Что после этого все людские правила, вся их мудрость? Суета!

Можно вообразить себе, в каком расположении духа воротился домой Зембин. Все прошедшее, которое он уже мало-помалу начинал забывать, вдруг сильнее, нежели когда-нибудь, вспыхнуло в груди его. Перестав ежедневно следить за страданиями жены, он вообразил себе, что и она забывает несчастную причину семейной горести. Худо же он знал сердце женщины и матери! Ослепление, ревность и вспыльчивость мужа обременили ее самыми унижительными подозрениями, и она с великодушием переносила это, надеясь, что рано или поздно невинность откроется, и тогда муж вполне оценит ее любовь и самоотвержение. К несчастию ее, эту-то самую покорность и великодушие Зембин принял за безответное доказательство вины ее и решился поступать еще жесточе и бесчеловечнее.

Ужасное семейное обстоятельство заставило его думать, что первородный сын его есть плод преступной любви, и он возненавидел несчастное дитя. Он решился отчуждить свое дитя и объявил об этом отчаянной матери. Это было выше сил ее. Она требовала смерти, развода, монастыря. Но Зембин не внимал ни просьбам, ни слезам, ни угрозам. Он не хотел огласки. Все совершавшееся должно было навек оставаться тайною. Тогда опечаленная мать решилась умолять своего тирана, чтоб он поручил брату своему воспитание младенца. Зембин сжа-

лился над страданием ее и согласился исполнить эту просьбу, но с тем, чтобы брат его обязался воспитывать Сашу под чужим именем и никогда не открывал ему тайны его рождения.

Мы уже видели, что брат свято исполнил поручение. Открытие тайны произошло вовсе не от него. Бедная же мать приучилась с тех пор молча страдать. Она видела, что жестокость и несправедливость мужа не могут понять ее чувств и оценить страданий. Она приучилась плакать наедине и быть спокойною и равнодушною при муже. Она не хотела унижить своих чувств, обнаруживая их при нем.

Только на одну минуту силы изменили ей. Мы уже видели, как она упала без чувств, стараясь улыбнуться при вопросах мужа и Сельмина. Зембин тотчас же понял, в чем дело, и с бешенством бросился отыскивать откровенного своего сына. Тысячи планов мщения клубились в его голове — и только одна кротость и благоразумие брата могли образумить и успокоить его бешенство.

Надобно было, однако же, излить свой гнев на кого-нибудь, и он, приехав домой, тотчас же бросился к жене своей. Бедная жертва с трепетом ожидала решения судьбы своей. Целый день провела она в молитве: она видела своего сына и благодарила Бога за это высочайшее счастье для материнского сердца. Она, конечно, чувствовала, что эта встреча возбудит все бешенство ее мужа, но что ей до этого? Она видела своего сына.

Когда Зембин вошел в ее спальню, то она все еще молилась. Это несколько успокоило бешенство Зембина. Вид молящегося внушает невольное уважение в самых свирепых сердцах. Он молча бросился на кушетку и ожидал окончания молитвы. Зембина тотчас же ее окончила. Расчет ее с совестью и Богом всегда был готов. Она не хотела увеличивать нетерпения мужа, отерла слезы, положила молитвенник и подошла к Зембину.

— Я помолюсь и после, — сказала она с кротким величием. — Теперь ты, верно, хочешь сказать мне что-нибудь...

Молитва и кротость жены несколько смутили Зембина. Он давно уже приготовил множество фраз самых обидных, самых жестоких, а теперь он их вдруг позабыл. Несколько минут продолжалось обоюдное молчание. Зембина села на ту же кушетку, на которой сидел муж. Она чувствовала, что мрачный вид его не обещает ничего доброго, но знала также хорошо, что медленностию ничего не выиграет. Что бы ни готовилось ей, она хотела знать все. К несчастьям она привыкла, страдать

было не новость для нее. Идя смело навстречу грозе, она сама решила напомнить мужу о причине его прихода.

— Ты, конечно, отыскал следы того, кого я сегодня встретила... я его узнала, но тогда при Сельмине не хотела говорить тебе об этом.

Гнев Зембина опять вспыхнул.

— Да, сударыня! Я всех видел! Всех отыскал... Пресчастливый день!.. И я как дурак живу здесь столько лет и не знаю, что все предметы ваших нежностей около вас!..

— Все? Кого ж вы еще видели?

— Пора бы вам и перестать притворствоваться. Вы, верно, лучше меня знали, что любезный мой братец переселился в Москву, а с ним и ваше детище.

— Если б я знала, что сын мой здесь близко от меня, если б я могла его видеть прежде, я была бы счастлива и не думала бы скрывать это от вас. А если б я умела и хотела притворяться, то, верно, скрыла бы от вас и сегодняшнюю встречу...

С удивлением посмотрел Зембин на жену свою. Еще в первый раз говорила она с ним с такою смелостью. Он ожидал покорности, слез, отчаяния, но не твердости. Это еще более смутило его.

— Эта встреча придала вам много смелости,— сказал он с иронией.

— Смелости? Неужели вы предполагали, что я из малодушия и боязни покоряюсь моей участи и вашему бесчеловечию?.. Как вы ошибались! Любовь к сыну заставляла меня все переносить.

— И сознание в собственной вине! — с едкою злостью прибавил Зембин.

Спокойно посмотрела на него Зембина. В этом взгляде не было ни гордости, ни упрека, ни презрения — одну кроткую самоуверенность и даже сожаление выражали взоры страдальцы.

— Пора бы перестать и вам клеветать на человечество и на самого себя,— сказала она.— Я давно уже не отвечаю вам на недостойные ваши подозрения, потому что они никогда не стоили ответа. Оправдываться перед вами — значило бы сознаваться, что проступок мой возможен. До подобного оправдания я никогда не хотела унизиться.

— О! Я верю всему... не трудитесь оправдываться... Это было бы лишнее... да и к чему бы оно послужило?..

— К собственному вашему спокойствию и уверенности... Никто на свете не платил еще такую черною неблагодарностью за беспримерное великодушие, как вы... Вы ненавидите человека, которого бы вам должно было обожать, вы клеветеете на того, чья редкая добродетель...

— Нельзя ли уволить меня от этих панегириков?.. Я все помню, все знаю... Ничто на свете не делается даром... Жертва, которую мне принес Григорий, была бы слишком велика, если б он не был уверен, что любовь ваша вознаградит его...

— Жалкий человек! Кто ж ему мешал пользоваться моей любовью? Разве он не имел на это полного права?..

— Так, следственно, и обижаться вам нечего моими подозрениями... Нарушая приличие и совесть, вы могли уверить себя, что не нарушаете законов...

— Это ужасно!.. Ваш образ мыслей превосходит всякое вероятие... Бедный Григорий! Не думал он, что посеет добро свое на такой ядовитой почве! Но он счастлив! Он находит утешение в молитве и уединении. А я... я должна ежедневно слышать адские клеветы и ругательства... Боже! Подкрепи мои силы! Я давно уже терплю, и только Ты один знаешь мои страдания. Не дай мне впасть в отчаяние и малодушие!..

Глаза ее, наполненные слезами, обратились к киоту.

— Все это я недавно слышал от Григория... Я знаю, все это одни слова, которые ничего не доказывают... Избавьте меня от скучных повторений одного и того же... Чем вы меня уверите в своей невинности? Ничем, потому что ясных доказательств быть не может, а словам я не поверю... Одно из двух: или *вы* виноваты, или я... Если вы, то терпите, молчите и покорствуйте, как до сих пор делали... Если же я, то убедите меня, и тогда, разумеется, не будет в свете человека преступнее меня... Но это невозможно! Если б вы и Григорий могли оправдаться, то давно бы сделали это.

— Я уж сказала вам, что никогда не унижусь до того, чтоб оправдываться перед вами, а Григорий... он, кажется, вовсе не имеет надобности в оправдании... Ему судья один Бог и совесть, а он перед ними чист.

— Окончим, однако, этот пустой разговор... Он не поведет ни к чему... Я не за тем пришел к вам, чтоб слышать громкие фразы...

— Что ж вам от меня угодно?

— Я требовал от Григория, чтоб он тотчас отправил куда-нибудь этого мальчишку...

— И он согласился?

— Нет! Я нашел и в нем какую-то небывалую твердость и упорство. Он обещал мне отправить его в Петербург, но не прежде осени... Следственно, до тех пор вы не должны никуда выезжать...

— Я шестнадцать лет никуда не выезжаю...

— Сегодня, однако же, вы нашли средство видеться с вашим милым детищем... Так, во избежание подобных встреч, которые могут только вести к неприятной огласке, вы не должны ездить и к обедне...

— Я буду молиться дома! — с кротостью отвечала Зембина.

— И должны мне дать честное слово, что не будете ни писать к ним обоим, ни получать от них писем.

— Кажется, на этот счет ваша домашняя полиция хорошо наставлена... Впрочем, как хозяин дома, вы имеете полное право этого требовать, и я даю вам слово... За это, однако, прошу вас изредка говорить мне все, что вы случайно узнаете о нашем сыне.

— О нашем?.. — яростно вскричал Зембин, вскочил и, не отвечая ни слова, ушел.

А Зембина? Она снова пошла к киоту, пала на колени и, зарыдав, начала опять молиться.

ГЛАВА IX

«Человек предполагает, а Бог располагает» — как справедлива эта пословица на каждом шагу нашей жизни! Сколько планов, сколько затей уничтожает иногда обстоятельство, о котором никто и не думал! Люди похожи на муравейник. С каким трудолюбием и заботливостью хлопчут они созидать себе здания, собирать запасы, трудиться над неверною будущностью: мало-помалу огромный муравейник возвышается, красуется, и муравьи-строители с гордостью и самодовольством смотрят на него... Вдруг идет прохожий и с рассеянностью проводит странническим своим посохом по муравейнику. Вершина опрокинута, здание упало, запасы рассеяны — долговременные труды погибли! Надо снова все придумывать, строить, собирать, а между тем беспечный путешественник продолжает свою дорогу, вовсе не думая об ужасном расстройстве, которое он произвел.



Какую сложную машину представляют, например, обстоятельства, действия и предположения всех лиц нашей повести в эту самую минуту!

Саша открыл тайну своего рождения, не узнав еще, однако же, причины своего отчуждения. Зембина нашла сына, с которым более шестнадцати лет была разлучена, но то была одна мимолетная минута блаженства для материнского сердца: жестокий муж и отец снова расторгнул священные узы природы, и будущее не представляло ей ничего, кроме вечной тоски и отчаяния. Зембин, упорствуя в своем ослеплении, мечтал о новых планах своей мстительности над безответными своими жертвами, и бешенство его еще более усиливалось неожиданною твердостью, встреченною им в страдальцах. Сельмин, добивавшийся узнать в одно время и тайну Зембиных, и тайну своей таинственной незнакомки, внутренне бесился, что не узнал ничего, и кружил в уме своем тысячи планов, чтобы добиться хотя последней цели. Леонова воображала, что благодаря нескромности Саши узнала всю подноготную; радовалась своему успеху, собиралась разблаговестить свою новость по всей Москве и готовилась к новым замыслам, чтоб узнать наверное все остальное... И что ж? Думали ль все эти люди, что прохожий с палкою, который о них вовсе не помышлял, разрушит одним шагом весь их муравейник? Однако же все это случилось на другой день после описанных нами событий. Сам прохожий, конечно, еще не вдруг явился, но уже достаточно было и слуха о нем, чтоб ниспровергнуть все мелочные затеи. Этот прохожий был *Наполеон*.

Психологи утверждают, что перед каждою болезнью, перед каждым несчастьем люди ощущают в себе какое-то тягостное, непостижимое чувство. Они толкуют, сами не зная о чем; ничто им не весело, не мило. Они с какою-то боязнью осматриваются вокруг, не доверяют ни себе, ни другим. Может быть, все это одна гипотеза, которой приметы и доказательства отыскивают уже после совершившегося бедствия, однако же все почти уверены в справедливости *предчувствий*. Всякий готов клятвенно уверить, что он *предвидел*, *предчувствовал* такое-то событие, и подробно расскажет вам все обстоятельства и выводы своей психологической предусмотрительности... И все это мечта, обман!

Москва встретила весну достопамятного 1812 года самым веселым и беззаботным образом. Гулянье в Марьиной роще было особенно великолепно, то есть толпа архивеселого наро-

да, бездна экипажей, много пыли, куча цыган, песни, пляски, плошки, тарелки... и когда ввечеру все разошлись по домам, то все единогласно уверяли, что было *очень весело*. Что, если б в этой толпе веселящихся москвичей вдруг явился тогда какой-нибудь *ясновидящий* и сказал им, что через четыре месяца неприятель будет в Москве праздновать свое торжество над груды пепла их жилищ?!

Разумеется, подобного предсказателя, как зловещую птицу, серьезные люди посадили бы в клетку, а беззаботные от чистого сердца похохотали бы. О подобном событии не было и помышления в Москве. Из трехсот тысяч жителей, весело встречавших весну и *май*, ни у одного не было ни малейшего *предчувствия* о бедствиях *сентября*. В политичном Петербурге, конечно, еще с зимы поговаривали о возможности войны с французами. Там всякий выведает что-нибудь правдою-неправдою; там и гвардия, и дипломатический корпус — все что-нибудь да узнаешь. Но в Москве! Довольная своею древнею славою и центральным положением, она узнает о политических переворотах света из «Московских ведомостей» и то еще не всегда им поверит. Она мало заботится о планах честолюбцев и дипломатов. Была бы ей стерляжья уха, было бы шампанское, были бы цыгане — какое ей дело до прочего! Если боязливые и расчетливые люди толковали тогда о каких-нибудь возможных несчастиях, то все-таки ограничивались толками о посеве, урожае, скотских падежах и дороговизне сахара и рома... Но о нашествии неприятеля и пожаре Москвы никому и во сне не снилось — Москва была в середине России. На юге была, правда, война с турками, но уже оттуда русские давно перестали ждать опасностей, оттуда даже победные реляции принимали с некоторым равнодушием. *Турки разбиты! Такая-то крепость их взята!* Что за диво! Это так должно быть! С запада же Москва и не думала предугадывать себе беды. Со времен Полтавы русские привыкли сами прогуливаться по Европе и везде показали себя молодцами, но явился человек, который заставил задуматься всю Европу и против которого никто не мог устоять. Все обратились к русским, и на них одних была всеобщая надежда. Вот они три года сряду на славу бились за чужое добро, за чужие выгоды. Нередко заставляли они, в свою очередь, задумываться самого победителя всей Европы. Наполеон иной раз в эти годы побеждал русских, но он всегда, однако, удивлялся их мужеству. И вот уже почти четыре года была Россия с ним в мире. Диплома-

ты давно уже предвидели грозный перелом, давно предугадывали, что самостоятельность России несовместна с планами и характером Наполеона. Надобно было или повиноваться ему, или победить его. Последнее казалось невозможным, потому что под знаменами его шла теперь вся Европа, а первое было вовсе несообразно с характером императора Александра и с достоинством России. Из всего этого завязался новый гордиев узел, который мог только быть рассечен мечом победителя. Но кто будет этот победитель? Это знал наверное один Бог. Люди все уверены были в непобедимости Наполеона.

Впрочем, и он чувствовал всю важность предпринимаемой войны. Два года готовился он к ней и, казалось, все придумал, чтобы приковать победу к своей колеснице. Он давно уже двинул к Неману громады сил своих и все еще вел переговоры. До последней минуты думал он, что уступчивость России предоставит ему диктаторство над Европою и что он победит Россию без пролития крови. От этого вся Россия не знала тогда, будет ли война и с кем. Русские армии стояли, правда, уже давно на западных границах, но то были правительственные меры, до которых вовсе не было дела жителям средних губерний. В мае месяце немногие даже знали в Москве, что Европа идет на Россию. А если «Московские ведомости» и говорили вскользь о движениях Наполеоновых армий, если приезжие из Петербурга в отпуск и толковали, что дело что-то похоже на войну, то добрые москвичи уверены были, что все недоразумения кончатся какою-нибудь кампаниею в Восточной Пруссии, какими-нибудь двумя-тремя сражениями, подобными Эйлаускому¹, и новым свиданием в Тильзите... Но о нашествии двадцати племен на Россию, но об опустошении городов и сел от Немана до Оки, но о взятии Москвы и истреблении ее огнем и мечом... и помышления не было.

Только тогда, когда узнали об отъезде государя в Вильну, начали старики и старушки поговаривать шепотом, что дело что-то неладно. Но разговоры вдаль не шли; покачают головою, пожмут плечами, подумают о рекрутских наборах, да и заговорят опять о соседях и городских новостях. Всего же менее добрые москвичи подозревали, чтобы *милые, любезные французы* сделались их непримиримыми врагами. Тогда было

¹ Прёйсиш-Эйлау — ныне город Багратионовск в Калининградской области.

золотое время для французов. Конечно, и в Петербурге их любили и уважали, но в Москве их просто *обожали*. В Петербурге французский язык был аристократический; говорили им по обычаю, по форме и для удовольствия, но в Москве он составлял истинное наслаждение. При слове *француз* все чувства таяли, все губы улыбались, глаза выражали совершенное удовольствие. Француз везде был принят, обласкан, француз всегда был умен и во всем прав. Русская привязанность, русское уважение, русские деньги — все принадлежало французам. О, как им тогда было хорошо! Могли ли думать москвичи, что за все русское добро французы отплатят им так жестоко?

Конечно, теперь мы, как доктор Панглос, можем уверять, что *все к лучшему*, что без войны 1812 года Наполеон мало-помалу достиг бы решительного диктаторства над Европою, что эта война и последствия ее поставили Россию на первую степень политического величия, что пожар Москвы спас Россию и Европу и что даже самый город очень много выиграл от этого пожара, сделавшись теперь великолепнее и правильнее, — но оптимизм в истории хорош для потомков, а не для современников. Несмотря на всю славу и выгоды этой войны, те, которые потеряли дома, имущества, отцов, детей, братьев, те, которые сами погибли, все те, верно, сказали бы, что гораздо лучше бы было, если б Наполеон не шел на Россию, если б Москва не была взята и сожжена и если б города, деревни и жители наши остались целы. Это, конечно, эгоизм, даже почти один инстинкт самосохранения, но мы уж так родились. Это слабость человеческой натуры. Все для настоящего, ничего для будущего!

Какой удар поразил вдруг Москву, когда до нее достигла весть о переходе Наполеона через Неман! То был удар электрический, потрясший мгновенно всю Россию. Неприятельское нашествие! Это слово как-то странно зазвучало в русских ушах. Век Петра I и Полтавы принадлежал уже почти к древностям России. С тех пор она шагнула вперед на три столетия; с тех пор границы ее раздвинулись от Дуная до Торнео; с тех пор западные ее пределы перешли с Двины на Неман; с тех пор русские уже побывали на Рейне, и семь лет гостили в Пруссии, и штурмовали Прагу¹, и разведали своего двуглаво-

¹ Имеется в виду предместье Варшавы под таким названием — в ходе подавления Польского восстания (1794).

го орла на вершинах Альп и Апеннин, и смело боролись с непобедимым героем XIX столетия, и переходили по льду Ботнический залив! И вдруг посреди величия и славы небывалый враг вторгается в русские границы. С ним идут волею и неволею почти все народы Европы, и изумленная Россия видит, что ей ни на чью помощь надеяться нельзя... Бог и мужество — одна ее защита. Но этого было и довольно для нее. У нее был добрый, великодушный государь, у нее была православная вера, у нее был молодецкий штык, и с первой минуты нашего шествия никто из русских не сомневался в торжестве своего отечества. Как скоро государь сказал, что *не положит меча, покуда ни одного неприятельского воина не останется в пределах России*, то рано или поздно война должна была кончиться изгнанием врага. Никто, конечно, не мог предвидеть, что он так далеко зайдет и так скоро уйдет, но в окончательном успехе никто не сомневался.

Удивительные сцены тогда происходили в Москве! Много эпох славы имела она в продолжение своего существования, но славнее, величественнее эпохи 1812 года не имел ни один город в мире. И я говорю это не о пожаре: это бедствие и эта слава были еще впереди, но я разумею эпоху приезда Александра I из Полоцка в Москву. Вот минута, которую будущие историки должны поставить выше всех событий существования Москвы. Никогда история не представляла такого торжественного явления. Царь обширнейшей монархии в свете приходит беседовать с своим народом, рассказывает ему, что силы врагов несметны, что существующих армий мало для поражения его, что нужны меры необычайные, силы великие, пожертвования, достойные имени русского, — и высокие слова государя нашли достойный ответ в сердцах подданных. Поступки, слова, дела, жертвования москвичей в эту эпоху выше всего! Рассказ об этом принадлежит более восторженной поэзии; это уже не история, а высокая, эпическая поэма! Когда через неделю эти самые меры были объявлены в Петербурге, то новая столица дала более Москвы, но это уже было подражание московскому энтузиазму. Сделать то же самое — значило отстать, следовательно, надо было возвышаться. Но слава первого народного порыва принадлежит Москве, и потомство должно воздвигнуть памятник древней русской столице за высокие ее подвиги в 1812 году.

И при всем том никто еще не воображал, что это только начало геройства и жертвований Москвы.

В то время главнокомандующим в Москве был граф Ростопчин¹, и никогда не могло быть человека более приличного для той эпохи и тогдашних обстоятельств. Он был создан для 1812 года. Теперь нам странными кажутся его воззвания к народу: мы уже далеко ушли от того времени и тогдашних идей, но кто был в Москве в знаменитую эту эпоху, тот помнит, с какою жадностью, с каким восторгом Москва читала воззвания графа Ростопчина. Он хорошо знал русский народ, он постиг все величие эпохи, он умел говорить с народом его языком — и Москва слепо ему верила. Он скрывал от народа неудачи первого периода кампании и приближение врага, но, с одной стороны, это был его долг, а с другой — внутреннее убеждение. С одной стороны, он успокаивал брожение умов в народе, а с другой — сам твердо уверен был, что русская армия не допустит врагов до Москвы. Пламенный патриот и великий гражданин, он не был воин; он уверен был, что одного народонаселения Москвы достаточно, чтоб отразить Наполеона, и москвичи до последней минуты разделяли это мнение. «Закидаем шапками!» — кричал народ, и эту риторическую фигуру, поговорку принимали за действительную возможность.

В высшем московском круге, конечно, не разделяли вполне этой уверенности. Там знали, что пушки бьют сильнее шапок, но зато какой вдруг удивительный переворот совершился в этом московском круге. Если б, кажется, кто за месяц перед тем предсказал эту моральную перемену, то, вероятно, московские барыни побили бы того камнями. Имя *француз*, бывшее до той минуты синонимом ума, честности, благородства и любезности, вдруг сделалось предметом всеобщей ненависти. Французов не только не принимали везде с отверстыми объятиями, но теперь вдруг все двери затворились для них. А французский язык! Это высокое наслаждение русской натуры! Эта изящная необходимость всякого порядочного человека. А французский язык? Который, впрочем, вовсе не был виноват ни в нашествии Наполеона, ни в опустошениях, производимых его войсками, — он вдруг был изгнан из гостиных и зал большого света и остался только в будуарах. Чудо непостижимое! Московские барыни даже в театре не говорили по-французски, даже на Тверском бульваре объяснялись по-рус-

¹ Ростопчин Федор Васильевич (1763—1826) — государственный деятель, генерал-губернатор Москвы в 1812—1814 гг.

ски! Хотя у многих от этого усилия болели голова и желудок, но все-таки французский язык подвергся такому гонению, что теперь, в спокойные времена, когда все возвратилось к прежним вкусам и обычаям, волосы дыбом становятся. Вообразите, что московские франты, встречаясь на улице, не смели не только рассказывать своих бальных походов по-французски, но даже и здоровались по-русски... Разве кое-где проскакивали слова *mon cher*¹, и то только потому, что его слишком мудрено перевести на русский язык. А если надо было сказать друг другу слова два по секрету, следовательно, по-французски, то прежде всего говорящие боязливо оглядывались и потом уже решались на запрещенный проступок.

Да и нельзя было иначе в то время! Народ признавал всякого иностранца за француза, а всякого француза — за шпиона. Толпы народа так и караулили везде подозрительные физиономии, а дурной русский выговор и, того более, иностранный язык были явным доказательством *изменщиков*. Были многие печально-смешные примеры в этом роде. Многие господа и господчики, не успевши еще сбросить с себя привычки говорить по-французски, были схвачены народом и иногда довольно неучтиво отведены в полицию, как шпионы. Эти эпизоды доказали всем необходимость быть вполне *русскими* не только в душе, но и на языке.

Что сделалось вдруг со всеми городскими новостями, со всеми сплетнями и мелочными интригами? Все как в воду кануло! Электрическая струя патриотизма потрясла все сердца, и от мала до велика все в Москве думали только о войне, о России и о победе. Других идей, других разговоров не было. Вся Россия слилась в одну думу, в одну мысль.

Что же в это время сделалось с действующими лицами нашей повести? Все их планы, предположения, желания, мечтания — все было поглощено всеобщей идеею нашествия врагов. Все вдруг изменилось и приняло совершенно другое направление. Зембин и Сельмин вдруг получили приказание отправиться в низовые губернии² для немедленного формирования новых наборов, и долг службы внезапно прекратил всякие другие помышления. Зембин даже должен был оставить жену свою в Москве, хотя его и мучила ужасная мысль,

¹ Мой дорогой (*фр.*).

² «Низом» издревле назывались на Руси земли, примыкающие к Волге. Отсюда — Нижний Новгород.

что она воспользуется его отсутствием, чтоб видаться с Сашею. Сельмин успел только заехать к Леоновым и в последний раз умолял старуху открыть ему жилище его незнакомки, но и тут Леонова успела отделаться от него двусмысленными фразами, обещая открыть все, когда Сельмин воротится.

Впрочем, старухе было в самом деле не до того. Сын ее, который только и ждал университетского экзамена, чтоб вступить в военную службу, теперь, при известии о вторжении врагов, не хотел дожидаться и выпуска, а подал начальству формальную просьбу об увольнении его. Примеру его последовали все почти старшие студенты — и ректор чувствовал, что их нельзя удерживать. Причина, по которой они оставляли университет, была так похвальна, что малейшее замедление было бы непростительно. Но, с другой стороны, не желая, чтоб молодые люди в награду за свои пламенные чувства к отечеству потеряли служебные выгоды, правление университета решилось ускорить свой экзамен. Зная заранее, кто из студентов чего достоин, оно немедленно сделало публичное испытание и чрез три дня его окончило. Тогда все вновь выпущенные студенты подали просьбы о принятии их в военную службу, и желание их было исполнено.

Один Саша не последовал примеру своих товарищей.

Эта безвременная нерешимость наиболее бесила молодого Леонова, который непременно хотел, чтоб друг его служил с ним в одном полку. Разумеется, все обвиняли в этом не самого Сашу, в чувствах которого все казались уверенными, а приказание его дяди — и молчание Саши оправдывало всеобщее негодование на пустынного. Иногда Саша ссылался и на мнение старухи Леоновой и Марии, которые прежде всего отговаривали его от военной службы, когда Николай склонял его к этому, но теперь и мать и дочь держали сторону своего сына. Они говорили тоже, что каждый русский дворянин должен идти на защиту отечества. Следственно, Саше оставалось одно извинение: воля дяди.

Вдруг с изумлением все узнали, что дядя и не думал препятствовать ему в исполнении этого священного долга.

Однажды Николай, раздосадованный двусмысленными ответами Саши, которого все тогда убеждали идти в военную службу, уехал тихонько из дома и отправился в монастырь к пустынноiku. Тот по обыкновению принял его тотчас и спросил о причине посещения. Николай рассказал ему, что всеобщее негодование падает на него за то, что он препятствует

Саше идти на защиту отечества. Каким же удивлением был поражен Леонов, когда пустынный с жаром отвечал ему:

— Молодой человек! Вы ошибаетесь! Только по молодости лет простительно вам и товарищам вашим думать, что на святой Руси в чьей-нибудь груди бьется сердце, не исполненное любовью к отчизне и мстью к врагам ее. Не смейте и думать этого! Я человек без имени и звания, но я русский, я верно-подданный великого нашего государя, и если б когда-нибудь могло случиться, что враг пришел бы к воротам моего жилища, то я умел бы умереть как русский.

С возрастающим недоумением смотрел на него Леонов.

— Что же значит упорство вашего племянника?..

Пустынный покачал головою, и незаметная печальная улыбка пробежала по губам его.

— Это его тайна, которая, впрочем, скоро откроется.

— Воля ваша, Григорий Григорьевич,— с жаром сказал Николай,— а нет в свете такой тайны, которая бы могла освободить русского от первого и священнейшего долга...

— И он его исполнит, поверьте мне в этом... Только не убеждайте его, не принуждайте... С вами вместе он не пойдет!

— Почему же? Не лучше ли в кругу друзей умереть за отечество?

— Жертва эта везде равна, лишь бы была принесена от чистого сердца и с пользою для святой Руси... И если вам вздумается опять упрекать меня в чем-нибудь, то я даю вам на это теперь полную свободу. Мои приказания назначили Саше другое место, где он должен служить.

— Не иначе как в военной...

— Разумеется, в теперешнее время другой службы и быть не может... Он вступает в московское ополчение...

— Помилуйте! Как это можно! Служить с мужиками!..

— Молодой человек! Эти мужики будут защищать отечество, так почему вы знаете, что они менее ваших солдат любят его?

— Я этого не говорю... Но толпа без дисциплины, почти без оружия... Можно ли тут отличиться?

— С истинными чувствами мужества и любви к отечеству можно везде отличиться... Да и то ли теперь время, чтоб думать о наградах? Всякий должен спешить на защиту родины, и где бы долг его ни был исполнен, где бы жертва принесена ни была, все равно!

— В этом отношении, конечно... но если можно пожертвованием своей жизни принести в одном месте больше пользы, нежели в другом, то не лучше ли идти туда, где можно умереть с пользою... А вы согласитесь, что храброе, благоустроенное войско более принесет пользы для России, нежели толпа крестьян.

— В открытом поле, в правильном сражении — вы правы; но теперь война *народная*, и толпы крестьян могут произвести не менее регулярных войск. Всякую армию можно победить, но целый народ — никогда.

— Вы меня извините, Григорий Григорьевич... Я вовсе не думал входить в суждения военные и политические... Я только хотел просить вас о Саше... Мы с ним четвертый год вместе учимся, вместе вышли; он у нас ежедневно бывал; мы с ним истинные друзья, и для нас приятно было бы служить вместе. Это, вероятно, зависит от вашей воли, потому что ваше приказание для него выше всего на свете. Позвольте именем всех моих товарищей, именем всего моего семейства умолять вас о согласии на вступление Саши в один полк со мною...

— Я этого не могу сделать... Я уже просил генерала Г. Он его берет к себе в адъютанты... Согласитесь, что для молодого человека все-таки приятнее начать службу с подпоручиков, нежели с юнкеров... В ополчение он будет принят тем же чином, каким из университета вышел, а когда кампания кончится, он тем же чином перейдет в любой полк...

— Конечно, если вы основали службу его на таком расчете... но вы же сами недавно сказали, что теперь не то время, чтоб думать о наградах и честолюбии...

— Разговор наш будет схоластический и ни к чему не поведет... Мне жаль, что я прежде не знал ваших намерений... Но теперь я не могу уже взять слова своего назад... Просьба о Саше уже представлена... Дня через два он уже будет в ополчении.

Леонов видел, что пустынный непреклонен, — и с досадою на свою неудачу откланялся и уехал.

Когда он воротился домой, то Саша сидел еще в комнате Марии, он разыгрывал с нею ноктюрн в четыре руки, а старуха Леонова читала в это время «Московские ведомости». Все вскочили при входе Николая, потому что он при отъезде исчез так внезапно, что из них никто понять не мог, куда он девался. Все осыпали его вопросами, где он был, куда пропал.

— Я хотел узнать наконец настоящую правду насчет Саши,— отвечал Леонов.— Я ездил к его дяде — все выведал... Прекрасно, Саша. Вот как теперь друзья поступают. Ты надул нас всех... Поздравьте его, тата, порадуйся, сестра! Ваш Александр не захотел служить с нами в мелких чинах. Ему низко показалось пробить наравне с нами полгода юнкером. Он захотел прямо надеть эполеты и послезавтра будет подпоручиком в московском ополчении.

Все с любопытством и радостью окружили Сашу, осыпая его вопросами и дружескими упреками, но изумленный Саша не мог ни на что отвечать. Он уверял, что сам ничего об этом еще не знает и только догадывался, что дядя о чем-то для него хлопотал.

— Впрочем, позвольте мне к нему отправиться,— сказал Саша.— Я не знаю... я попрошу... я, может быть, еще переделаю...

— Вряд ли тебе удастся! — сказал Леонов.— Но если ты успеешь, то я с тобою помирюсь... Если ты пойдешь в один полк со мною, я по-прежнему твой верный друг... В противном случае прощай... Мы с тобой никогда не увидимся...

Мать и дочь, разумеется, восстали против жестоких слов Николая и уверяли Сашу, что они его, во всяком случае, будут почитать за близкого, за своего, за родственника. Это его успокоило; он поехал к дяде.

Тот принял его с некоторою важностью и торжественностью, рассказал ему о посещении Леонова, о просьбе его и о своем ответе.

— Теперь ты видишь, Саша,— сказал потом дядя,— что тебе непременно надо идти в военную службу. То, что я выдумал, всего безопаснее для тебя и, спасая жизнь твою, спасешь и честь.

— Но, боже мой, боже мой,— воскликнул сквозь слезы Саша,— неужели во время войны все непременно должны сражаться! Ведь тысячи же людей остаются и по должности, и по собственной своей воле...

— Если б у тебя прежде этой войны была какая-нибудь должность, которая требовала бы теперь, чтоб ты остался между нами, то все бы молчали... Но чтоб молодой человек по собственной своей воле остался в праздности... и в какое еще время! Если б то была обыкновенная война, заграничная, политическая!.. Тогда я бы ни слова не сказал... служи, где и когда хочешь... но теперь, когда вся Европа вторглась в пределы

России, когда ей угрожают порабощением... тогда и дети, и старцы, и женщины должны защищать свою родину и православную веру. Ни пол, ни возраст не избавляют от священного долга к отечеству и Богу. Сын мой! Ты должен, *должен* идти на защиту святой Руси.

Саша молчал, но слезы градом текли по щекам его. Пристально посмотрел на него пустынный и покачал головою:

— Перестань, дитя! Мы одни, но мне за тебя стыдно...

— Что ж мне делать, дяденька, если я чувствую такое непреодолимое отвращение от военной службы!.. Моя ли это вина? Я очень хорошо понимаю справедливость слов ваших и всеобщих упреков... Но если я не могу...

— Человеческая воля всего сильнее, сын мой! Вижу теперь, что я во всем виноват. Воспитывая тебя, я только хотел, чтоб ты был добрым, честным и умным человеком. Я забыл внушить тебе долг *мужества*, полагая, что это инстинкт. Я ошибся. Это тоже принадлежит к воспитанию. Впрочем, для этого довольно теперь и рассудка. Преодолей себя. Тверди себе каждую минуту, что это должно, что это необходимо, и ты исполнишь свой долг. Собери все силы своего разума и самолюбия, выдержи только первую опасность, и ты будешь так же хорошо служить, как и все...

— Но если я при первой же встрече умру...

— Этого не случится... Унизиться же до трусости ты никогда не решишься, потому что тогда уж нельзя тебе будет жить в обществе людей... Перестань же, сын мой! Ступай в свою комнату... Помолись усердно Богу... Прощай!

Саша поцеловал руку дяди и ушел. Когда он пришел в свою комнату, то бросился на диван и долго плакал.

— Что это с вами, Александр Иваныч? — спросил его с участием и заботливостью старый Егор.

Саша рассказал другу своего детства все свои несчастья. Какова же была досада его, когда Егор, прошедший всю жизнь в людской, оправдывал всеобщие упреки и требования.

— Да как же *иначе*, Александр Иваныч! — вскричал он с жаром. — Разумеется, вам надо служить и драться за святую Русь... Я уж давно собирался спросить у вас об этом... Ну, да я знал, что дядюшка, верно, все это устроит... Теперь послушайте, Александр Иваныч. Я вам столько лет служил верно и честно... Верно, вы не оставите меня здесь, в монастыре, верно, возьмете с собою!..

— Куда?

— Разумеется, на войну!

— Ты с ума сошел...

— Боже сохрани, Александр Иванович!.. Я не хочу отставать от православных христиан. Все идут на врагов, так и я хочу на своем веку хоть одному басурману снять голову... Экие нехристи! Куда забрались! Да как им это в мысль пришло.

— И неужто ты пойдешь охотно на войну! И тебе не страшно?

— Страшно? Да чего же? Мы все ходим под Богом. Сегодня жив и здоров, а завтра скрючит, да и полезай в могилу. Так не лучше ли умереть в чистом поле за царя и святую Русь?

Саша молчал. Все было против него. Когда же Егор повторил еще свою просьбу, чтоб его взять с собою, то Саша дал ему слово, что не расстанется с ним.

Через несколько дней Саша явился к Леоновым в общем армейском мундире, с золотыми эполетами, аксельбантом и шляпою с пером. Он был прелестен в этом наряде. Все его поздравляли, им любовались, и Саша уже был вне себя от радости. О тайном отвращении его никто не знал, и он сам, казалось, забыл о нем, надев военный мундир. Леонов и товарищи его завидовали Саше, они уже получили свое определение и шили себе юнкерские мундиры. Они были тоже довольны своею участью и подсмеивались над Сашею, говоря, что он с своим красным мундиром останется в Москве, не видав неприятеля, а они через неделю будут уже окурены порохом.

Так протекло несколько дней в приготовлениях к отъезду. Вскоре Леонов и товарищи его уехали в полк, а Саша остался в Москве. Он был теперь довольный и счастливый человек! Вдруг получено было приказание, чтобы московское ополчение выступило. Эта весть тотчас разочаровала его. Он бросился к дяде, плакал, умолял его, но получил в ответ одно благословение.

— Послушай, Саша,— сказал ему пустынник при прощании,— жребий твой брошен. Не старайся бороться с судьбою. Это будет бесполезно. Помни, что каждый твой шаг будет мне известен и что если ты постыдишь свое имя и мундир, то будешь моим убийцею. Теперь прощай... И прежде чем уедешь, исполни еще один священный долг. У тебя есть мать, которая тебя любит. До этой минуты я запрещал тебе искать средство с нею видаться, потому что на то была воля отца твоего... Но теперь?.. Кто знает, что случится?.. Благословение матери всего важнее в жизни. Съезди к ней и скажи, что, идя на защиту

отечества, ты хотел еще раз с нею видеться, чтобы принять ее благословение. Ступай! Господь да хранит тебя. Я всякий день буду здесь молиться за тебя.

Саша зарыдал, бросился в объятия дяди и долго не мог оторваться от благодетельной груди старца, хранившего дотолe жизнь его на всяком шагу. Сам пустынный прослезился — и это были первые слезы его со времени удаления от мира. Он уже давно не испытывал этого сладкого ощущения. Тяжкие многолетние страдания забыты в эту минуту. Одна слеза надолго облегчила грудь страдальца, и он с теплою молитвою спешил благодарить за нее Творца.

ГЛАВА X

Печально и однообразно текла жизнь Зембиной со дня рокового свидания. Муж уехал, но при прощанье не забыл, однако же, повторить ей, что малейшая попытка к сближению с Сашею будет знаком к вечной разлуке их. Она безропотно повиновалась и молилась. Живя совершенно уединенно, она никого не принимала и никуда не выезжала. Переписываясь только с мужем, который был в то время в Туле, она просила у него позволения съездить на время жатвы в деревню, чтоб недели две заняться хозяйством, и Зембин согласился. Деревня их была в Смоленской губернии, на самом почти рубеже с Московскою, и хотя в начале августа разнеслась по Москве ужасная весть о взятии Смоленска, но воззвания графа Ростопчина тотчас же успокоили народ, а известие о прибытии к русской армии нового главнокомандующего (Кутузова) решительно обнадежило Москву, что с этой минуты начнутся победы русских. Никто и не думал, чтобы взятие Смоленска могло угрожать опасностию Москве. С нетерпением ждали всякий день известия о сражении, которое должно было кончить отступление русских, и имя Кутузова было верною порукою, что русские победят.

Конечно, в это время боязливая часть народонаселения Москвы начала мало-помалу выезжать, но масса москвичей смеялась над этими эмигрантами. Народ ходил гурьбою и твердил, что шапками закидает басурманов.

Очень мало зная о ходе политических и военных дел, Зембина в эту самую минуту собиралась выезжать из Москвы.

Вдруг ей докладывают, что какой-то офицер, адъютант, хочет ее видеть. Она несколько удивилась, но, полагая, что какой-нибудь приезжий от мужа с поручением, поспешила выйти к нему.

Один взгляд, и бедная страдальца едва не лишилась чувств.

— Что вам угодно? — прошептала она и, закрыв рукою глаза, бросилась на диван.

— Неужели вы меня не узнали? — спросил Саша дрожащим голосом.

— Можно ли сделать этот вопрос матери, — отвечала она, робко озираясь, как будто боясь, чтоб и стены не подслушали слов ее.

Молча бросился Саша к ногам ее, схватил ее руку и осыпал жаркими поцелуями и слезами. Молча обвила Зембина руки свои около его шеи и целовала его голову, глаза, лоб, щеки... Какие слова выразят подобную сцену!

Зембина, бедная, тотчас же опомнилась... Любопытство слуг могло изменить ей... Она встала и повела Сашу в образную, куда никто не смел к ней ходить; тут первым ее движением было броситься перед иконой Спасителя, чтоб воздать Богу благодарение за одну минуту счастья в жизни. Когда первые порывы чувств несколько успокоились, начались вопросы Зембиной, и рассказ Саши снова заставил ее плакать. Отверженный сын пришел просить ее благословения, отправляясь на поле битвы, на смерть! Сердце матери разрывалось на части, но она была русская и с твердостью благословила сына своего. Каково же было ее удивление, когда он, приняв с набожною покорностью благословение матери, рассказал ей, что чувствует непреодолимое отвращение от военной службы, особенно в эту минуту, когда им предписано выступать в поход. Это признание был еще новый удар для сердца матери, но она забыла свое огорчение и кроткими убеждениями старалась доказать Саше все неприличие его чувств. Саша согласился со всем, но повторял ей опять то же. Узнав же в конце разговора, что Зембина едет в тот же день в смоленскую деревню, он стал просить ее, чтобы она взяла его с собою.

Несчастливая мать имела довольно твердости, чтоб отказать ему, представляя, с одной стороны, бешенство отца, который узнает о нарушении его приказаний, а с другой — долг службы, призывающий Сашу на поле битвы. Все представления ее были, однако же, напрасны. Саша убедил ее позволить ему

проводить ее до первой станции. Она согласилась с тем, чтоб он съездил сейчас к своему генералу и выпросил у него позволение на это.

После тысячи объятий и целований они расстались. Саша сказал, что догонит мать за заставою, и Зембина, которая уже совсем была готова к отъезду, тотчас же собралась в дорогу.

Половина Москвы выезжала тогда по всевозможным направлениям, кроме Смоленской дороги. Одна Зембина, не думая ни о каких опасностях, отправилась через Дорогомиловскую заставу. Толпы черни, сопровождавшей обыкновенно криками и насмешками всех выезжающих, молчали при виде кареты и двух кибиток Зембиной, которые тянулись навстречу приближающемуся неприятелю. Это было для них необыкновенное явление, которое внушало уважение и удивление. Зембина, конечно, ничего не замечала. Какое ей было дело до неприятелей и опасностей! Она видела своего сына — и снова ожидала его. Любимая горничная и ключница, которые всегда в подобных вояжах ездили с барынею в карете, пересажены были в кибитку до первой станции для того, чтоб матери два часа провести наедине с Сашею. Зембина никак не ожидала, что Саша готовит ей нечаянность столь же странную, сколько и печальную. Не более версты проехала она, миновав Дорогомиловскую заставу, как вдруг услышала голос Саши, спрашивавший у задней кибитки, не это ли карета Веры Николаевны Зембиной. С восторгом и нетерпением бросилась она к окну и закричала кучеру, чтоб он остановился, чтоб отпер дверцы... Каково же было ее изумление, когда к дверцам подошла молодая, прелестная девушка, одетая в щегольское дорожное платье, и просила у ней позволение ехать с нею вместе. Эта девушка был Саша, переодетый в женское платье.

Изумление лишило Зембину на время способности говорить. Она знаком пригласила к себе в карету мнимую путешественницу и махнула кучеру рукой, чтоб он ехал, а Саша приказал своему кучеру ехать вслед за кибитками Зембиной.

Долго смотрела мать на несчастного своего сына, который с нежностью целовал ее руки и с беззаботною легкомысленностью радовался, что едет с своею матерью. Наконец тяжелый вздох и ручьи слез облегчили грудь бедной страдальцы, и она спросила сына строгим голосом:

— Что значит твое переодеванье?

— Идея чудесная, гениальная, — весело отвечал он. — Я не хочу идти в поход и придумал этот наряд, который меня на-

долго скроет от всяких неприятностей... Я уж не раз наряжался девушкой, я знаю все женские приемы, в меня даже влюблялись... Вы едете в деревню... Теперь, в военное время, совсем не до расспросов, кто я и зачем. Я проживу у вас до зимы — война кончится, и, придумав какой-нибудь роман, плен, похищение, я явлюсь опять в Москву...

Может быть, болтовня Саши продолжалась бы еще более, но он взглянул на мать, и отчаяние, выражавшееся на лице ее, остановило его. Он замолчал и с недоумением смотрел на нее, не смея спросить о причине...

— Несчастный! Что ты сделал? — вскричала она, ломая себе руки.— Боже! Боже мой! За что ты так жестоко меня наказываешь?

Она не могла продолжать и громко зарыдала.





Часть вторая

ГЛАВА I

Уже два дня тащилась карета и кибитки Зембиной по песчаной Смоленской дороге (тогда еще и не думали о шоссе!); они приближались уже к Вязьме, которая была целью путешествия, потому что, не доезжая до этого города, деревня Зембиной лежала в сторону на проселочной дороге, ведущей из Калужской губернии прямо к Вязьме. В карете Зембина все еще сидела с переодетым Сашею — и мало-помалу мать привыкала к этому странному зрелищу. Неизвестно, каким образом мог Саша уговорить свою мать, но после продолжительного объяснения и обоюдных слез Зембина позволила ему продолжать с нею путь, стараясь материнскою нежностью заглушить всякое другое чувство. Что же касается Саши, то какое-то непостижимое легкомыслие позволяло ему забывать и настоящее и будущее, а если по временам Зембина напоминала ему об ужасных последствиях, которые должны были произойти от самовольной его отлучки, и в такое время, то он с веселою изобретательностью исчислял все возможные случаи, которые непременно освободят его от всяких неприятностей, и нежными своими ласками заставлял бедную свою мать забывать справедливые ее опасения.

Уже было около полудня — и солнце кончающегося московского лета сильно пекло путешественников. Более всех чувствовали это тощие лошадки, которых неумолимый кучер изредка награждал за усилия их добрыми ударами кнута. Повесив свои головы от этой людской несправедливости, они с стоическим равнодушием переносили и слова и поступки полусонного возницы и не думали прибавлять шагу. Если б

наши путешественники не были так сильно заняты сами собою, то беспрестанные встречи, еще более замедлявшие их езду, привлекли бы все их внимание. Это было самое любопытное зрелище. Сотни телег, повозок и фур тащились мимо них с ранеными и больными, беспрестанно ехавшими из русской армии. Между ними часто встречались и пленные французы. Раненых везли так же бережно и человеколюбиво, как и русских, но с партиями здоровых пленных поступали не очень учтиво. Иррегулярная конница, провожавшая их, совершенно с ними не церемонилась. Не зная по-французски, чтоб заставить их понимать свои приказания, эти всадники нашли другой способ объясниться, который пленные очень хорошо стали понимать.

Еще с четверть часа проехали наши путешественники; но судьбе не угодно было допустить их далее. Встретился обоз отступающей русской армии и надолго остановил карету и кибитки Зембиной. В это время кучера ее успели выведать у кучеров армейского обоза всю подноготную о состоянии военных и политических дел. Результатом этих сведений было то, что кучер Зембиной подошел к дверцам, снял шапку и, по заведенному обычаю почесав за ухом, сказал Зембиной:

— А что, матушка-боярынька, не лучше ли нам вернуться? Я, вишь ты, переспросил у господ кавалеров, и они мне, спасибо, все пересказали...

— Что ж они рассказали? — с живостью спросил Саша.

— А вот что, боярынька, что за обозом идет все несметное русское войско, а вслед за ним валом валит басурманская сила... Вишь, не устоять нашим... али заманивают — кто их знает...

— Ну, так что ж? — спросила Зембина.

— Как что, боярыня? Да нас с дороги в канаву сбросят, а уж лошадок же наших, верно, выпрягут да возьмут под пушечки али под муницию.

— Так что ж нам делать?

— Да вот налево идет проселочная дорога... прикажите своротить... Верст десять отсюда есть село, мимо которого идет другая боковая дорога на Вязьму... так мы в этом селе переночуем, а к утру узнаем, можно ли ехать дальше.

После короткого совещания между Зембиной и Сашею решено было послушаться советов кучера и своротить на проселочную дорогу.

Едва успели они это сделать, как увидели вдали чернеющие массы авангарда русской армии. По какому-то неопределенному чувству весь поезд путешественников спешил как можно скорее уехать в лес. Уже там на поляне остановились они на минуту и слышали гул, подобный отдаленному грому, с большой дороги. Это были шаги и говор проходящих войск. С чувством страха просил Саша, чтоб ехали поскорее до ближайшего села, и карета быстро покатилаь.

Вскоре они достигли этого селения и чрезвычайно удивились, когда у самого въезда толпа крестьян остановила их и стала допрашивать: кто, откуда, куда и зачем? Только по убеждению кучеров Зембиной уверились крестьяне, что едут *православные*, и пропустили их.

По всей деревне народ ходил гурьбой, и Зембина велела остановиться у старосты. Седой шестидесятилетний старик сидел на прилавке у ворот и с поклоном встретил Зембину. Бежавший впереди лакей уже объявил ему, что проезжая *генеральша* хочет пристать и переночевать у нею.

— Что, старичок,— спросила Зембина у старосты, выходя из кареты,— можно ли у тебя переночевать?

— Милости просим, сударыня... Благодарим, что не погнушались нашею хижинкою... Не осудите нас... Чем богаты, тем и рады...

Подобным приветом проводил старик Зембину в избу и с удовольствием увидел, что она при входе помолилась иконам; это было лучшим доказательством, что она не басурманка.

Саша не исполнил этого, и староста молча покосился на *барышню*.

— Что это значит, старик? — спросила Зембина.— Нас у въезда остановили и долго расспрашивали... Да у вас и народто ходит по улице в каком-то волнении. Все ли у вас здесь спокойно?

— Да бог весть, сударыня... Ваша милость больше нашего знаете... А вот наш батька был вчера в Вязьме по церковным делам и сегодня прискакал оттуда с дурными известиями... Народ взбаламутился... Долго была мирская сходка, покуда все уладили и во всем условились...

— А какие же там дурные вести?

— Да бают, что басурманы недалеко... что наше войско за Вязьму отступает... и что будет большое побоище...

— Ну так вам какое дело? — спросил Саша.

— Как какое дело, сударынька? Ведь и мы такие же русские, такие же православные... До нашей деревни только десять верст с большой дороги... Кто их, проклятых, знает?.. Неравно вздумают и сюда пожаловать...

— Неужели? — вскричал Саша, побледнев. — Так уедем отсюда...

— Куда же, душенька, мы уедем? — отвечала мать. — Разве опять в Москву?..

— Нет, нет! Куда-нибудь подальше.

— Мы об этом с тобою после поговорим, а теперь отдохнем здесь и переночуем... Вели, любезный старик, въехать моей карете и кибиткам во двор...

— Слушаю, сударыня, — отвечал староста, почесываясь. — Так вашей милости угодно здесь ночевать?

— Ну да! Разве у тебя места нет?

— Помилуйте, матушка боярыня... У меня в избе целые обозы ночуют... Да теперь время-то такое... Видно, Господь прогневался на нас... Знать, много согрешили... Вишь, какую саранчу Бог наслал... Что, если они, сударыня, к ночи-то сюда нагрянут?

— Ведь вы, верно, заранее об этом узнаете... Мы успеем уехать... Ну, а если бы, по несчастью, неприятели и застали нас здесь, то, верно бы, женщин не тронули, а денег со мною очень мало... пусть все возьмут...

— Нет, сударыня!.. Мы люди православные и не дадим ни макового зерна басурманам... Уж вестимо, что мы заранее споведаем: караульные стоят везде, на колокольне сидят два дьячка... Только что завидят, то тотчас в набат...

— Да уж не намерены ли вы драться с неприятелями? — спросил Саша.

— Уж как бы, сударынька, не подраться с нехристью... кабы сила да мочь... Караульщики тотчас дадут знать, и коли басурманов мало, так мы их примем в рогатки и топоры... Да только вряд... Их, говорят, несметная сила... Батька наш видел русское войско в Вязьме и ужаснулся многому множеству ратных людей... Какая же должна быть вражеская сила, когда уж и этакому громадному войску не вмоготу! Нет, сударыня! Наше дело, кажется, обойдется без драки... За что же даром губить наших парней?.. Кто знает, чем война кончится? Может быть, мы еще и пригодимся...

— Так вы встретите французов мирно и спокойно?

— Что ты, боярыня? — с жаром вскричал староста. — Да разве мы басурманы?.. Мы ведь знаем, как с самого Смоленска поступают все православные... как скоро нам дадут весточку, что французы близко... мы возьмем наши святые образа на руки, зажжем каждый свой дом и побежим в лес... Пусть из всего нашего имущества достаются врагу одне головешки.

— Прекрасно, друг мой! — сказала Зембина. — Вы истинные русские и православные!.. Не дай бог, чтоб вы принуждены были дойти до этой крайности... но и решимость ваша похвальна и благородна.

— Э, матушка сударыня! Что тут хвалиться! Не отставать же нам от миру... Что другие, то и мы, а что мы, то и другие... Не дай бог дожить до этого, чтоб басурманы дошли до Москвы, но если б Господь допустил такую беду, то и москвичи, верно бы, не отстали от всех... Ведь если все так будут поступать, так басурманы поневоле оставят святую Русь... как жить негде да есть нечего, так похрабрятся, да и уберутся в свои кромешные земли...

С особенным вниманием слушал Саша этот разговор — слова старосты глубоко отозвались в его сердце. Он боялся войны, он бежал от нее, а простой крестьянин готов встретить врага рогатиною и при видимом бессилии предать пламени дом свой и все имущество!.. Слезы навернулись на глазах его. Неизвестное пламя охватило грудь его, и он мысленно видел себя в военном наряде, бросающегося на толпы врагов, видел свою победу... Но вдруг взглянул на свое женское платье — и покраснел от стыда. Только мысль, что на случай надобности в чемодане его лежала вся офицерская одежда и оружие, успокоила его несколько. Он не смел сказать матери о чувствах, которые его волновали, а та, боясь стыда и огорчения, не хотела возобновлять своих убеждений.

Они пообедали, отдохнули, и день клонился уже к вечеру... Вдруг прибыли в деревню русские квартиргеры¹ и объявили старосте, что на другой день вступят в это село три батальона новосформированного войска, идущего проселочною дорогою из Калуги к Вязьме, где они надеялись присоединиться к русской армии. Умный староста почел долгом тотчас же отправить верхом одного из расторопных крестьян своих к на-

¹ Кв а р т и р г е р ы — те из войсковой колонны, кто во время ее марша посылался вперед для устройства ночлега.

чальнику этого отряда с донесением обо всем, что поутру случилось в Вязьме, и о мерах, которые приняты в их селе на случай прибытия врагов.

Не успел посланный отскákat от деревни полверсты, как вдруг на колокольне раздался протяжный звон большого церковного колокола. Вся деревня в минуту высыпала на улицу: женщины и дети с образами и кое-какими пожитками, а мужчины с оружием. Кучера Зембиной в ту же минуту бросились запрягать карету и кибитки, а Зембина и Саша спешили сами выносить и укладывать свои вещи. Прошло еще несколько минут, и верховой караульный прискакал с известием, что по большой дороге прошло вслед за русскою армиею много неприятелей и что конные разъезды, своротя на проселочную дорогу, остановились верст за пять от деревни, не решаясь идти далее. Это несколько успокоило всех, но Зембина решилась уехать, хотя и сама еще не знала куда.

Проселочная дорога вела на старую Калужскую дорогу, по ней можно было ехать или в Калугу, или объехать обратно в Москву.

Когда деревня опять успокоилась, то староста воротился и увидел приготовление Зембиной. Он явился к ней и не советовал ей уезжать до ночи.

— Теперь, сударыня, еще бог вестъ, куда злодей пойдет, — сказал он, — к нам ли в деревню ночевать или дальше по опушке леса вслед за своею армиею... Если сюда они пожалуют, так вы еще успеете уехать отсюда и вас будут провожать все наши крестьяне. Если же супостаты потянутся вдоль леса, то они тотчас же завидят вашу карету и кибитки, догонят вас, дочиста оберут и, может быть, убьют. Подождите же лучше здесь до сумерек... Ночью, если они и не придут сюда, то вы все-таки можете пуститься в путь, потому что вас не увидят, а версты за две дорога круто поворачивает вправо, так к утру и далеко от них будете.

Подумав вдвоем с Сашею, Зембина согласилась на совет старосты, поставя на всякий случай свою карету и кибитки на улице под окнами. Саша, не говоря ни слова матери, отыскал в своей кибитке пистолеты и саблю и тихонько перенес все это в карету. Между тем вся деревня мало-помалу воротилась в избы, и только небольшие партии гуляли по улице, выжидая, чем кончится все это.

Непродолжительно было всеобщее ожидание. Смолкнувший колокол вдруг снова загудел, и караульный прискакал с

известием, что партия конных неприятелей, человек тридцать, едет шагом к деревне.

— С этими мы справимся, ребята! — вскричал староста, потрясая ружьем своим, с которым ходил осенью под тетерева.

— Справимся! — повторила вся деревня и двинулась было ко въезду. Но староста остановил всех и приказал разделиться всем на три кучки: двум залечь за первые две избы справа и слева, а третьей за изгородью перед въездом. Они должны были пропустить неприятелей и потом напасть в одно время с боков, тогда как задняя кучка должна была запереть ворота въезда и, защищая их, не допускать ни одного всадника уйти обратно.

В это время Зембина, не почитая избы старосты верным для себя убежищем, пошла с Сашею в церковь, где уже собралось множество богомольцев, поставя тут же и повозки свои, готовые к отъезду. В церкви начала Зембина с прочими усердно молиться, а Саша ушел в карету, чтоб хоть издали видеть, чем кончится нападение неприятеля на деревню.

Всадники подъезжали тихо и осторожно. В деревне видели они одних женщин и детей, изредка перебежавших из избы в избу, но не заметно было ни малейшего признака к сопротивлению.

Так въехали они в ворота и проехали несколько сажен, чтоб в ближайших избах отыскать какое-нибудь живое существо. Но едва часть всадников успела спешиться, как из-за изб с криком высыпали обе засадные кучки крестьян, и три выстрела (потому что только у троих крестьян деревни были ружья) повергли столько же неприятелей, прочие бросились на них с топорами и рогатинами. Французы пришли в беспорядок. Они не ожидали такого дружного нападения. Их послали только осмотреть деревню и собрать припасов, а в случае сопротивления они имели приказание отступить, чтоб возвратиться с большими силами. А потому командующий отрядом тотчас же приказал ретироваться, и все всадники спешили назад к воротам, но там встретила их новая куча, и ворота были заперты. Поневоле принуждены они были остановиться, а крестьяне воспользовались этим случаем, чтоб напасть на них. Начался рукопашный бой. Французов было немного, но они были на лошадях — и это давало им несколько времени перевес над пешими крестьянами, — но, поражаемые пиками и саблями всадников, русские презирали смерть и ударами топоров повергали своих противников. Несколько раз порывались фран-

цузы проскакать вперед по деревне, но густая толпа крестьян преграждала им дорогу и не позволяла лошадям сделать ни малейшего движения. Надобно было победить или умереть; здесь многолюдство крестьян и ожесточение их скоро решили участь сражения. Все всадники пали. Ни один не успел уйти. Напрасно несколько раненых жалобно умоляли о помиловании — их доколотили; другие прикинулись мертвыми, но их всех стащили к речке, протекавшей посреди деревни, и бросили в воду.

Как скоро победа была решена, староста собрал опять всех и по-прежнему послал караулить на дороге, а сам явился в церковь и просил священника отслужить благодарственный молебен. Успокоив Зембину, он просил ее воротиться к нему в дом, говоря, что через час, когда совсем смеркнется, она безопасно может пуститься в путь, но Зембина сказала, что подождет до тех пор в церкви, и расспросила старосту о всех подробностях сражения. Саша, слушая рассказ его, внутренне негодовал на себя, что не участвовал в этом подвиге русских поселян, и душевно желал, чтоб пришел еще отряд в деревню.

Увы! Желание его скоро сбылось. Вскоре колокол снова загудел, и караульный прискакал с известием, что идет *тьма-тьмущая* неприятелей к деревне. Все было тотчас решено. Староста велел зажигать избы с обеих сторон и уходить в лес, забирая с собою как можно *более* съестных припасов. Явился и сам священник, которому староста послал в церковь объявить о всеобщем решении, и, благословляя всех на пожертвование, первый взял пук горящей лучины и подложил ее под своим домом. Все крестьяне испустили радостные крики и спешили последовать его примеру. Зембина и Саша спешили сесть в карету и пустились в путь, обещая крестьянам прислать им подмогу, где встретят.

Выехав из деревни, они оглянулись. Ужасное, великолепное зрелище представилось их глазам. При наступившей темноте деревня вдруг вспыхнула с обеих сторон; свежий ветер быстро разносил пламя. Толпы крестьян, женщин и детей бежали по всем направлениям в лес, неся с собою лучшие пожитки и съестные припасы. Не видно было между ними ни малейшего отчаяния, не слышно ни одного стога. Все торопились бежать, все поминутно оглядывались на пылающие свои дома. Но никто не сокрушался о потере всего имущества. Каждый живо чувствовал, что исполнил долг свой перед Богом и царем.

С другой стороны приближались французы. Сильные патрули посланы были с большой дороги по всем направлениям, и отряд, нечаянно попавший к этому селу, намерен был только заpastись провиантом и фуражом. Для этого послан был сперва небольшой отряд для занятия, но как часовые, расставленные впереди биваков, донесли о выстрелах, которые слышны были в деревне, то весь отряд тотчас же и двинулся вперед. Он состоял из двух эскадронов легкого конного полка и трех рот пеших егерей. Уже совсем начинало смеркаться, когда они подошли к деревне,— и вдруг их осветил ужасный пожар двухсот пылающих домов. Изумленный отряд остановился. Послано было несколько всадников для рекогносцировки, и они донесли, что деревня горит, но никто не думает тушить ее, а толпы жителей бегут в лес. Ясно было, что пожар произведен нарочно. Впрочем, с самого Смоленска французы ежедневно видели подобные примеры, и теперь, глядя на это, начальник отряда пожал плечами и сказал: *oh, les barbares!* (какие варвары). Дальнейшее движение было остановлено. В деревню уже нельзя было идти; но командир отряда не постигал, куда девался передний патруль его из тридцати человек. Не пустился ли он в лес в погоню за уходящими крестьянами, не прошел ли далее по дороге? Это весьма беспокоило его, несколько отрядов было разослано по всем направлениям около деревни, чтоб открыть след передового патруля.

Между тем Зембина ехала далее и далее.

Эта проселочная дорога была не из лучших, тем более что в то время и главные тракты не славились своим устройством; а потому поезд Зембиной довольно медленно двигался, боясь в темноте быть опрокинутым от неровности дороги. При одной ухабине колесо кареты так глубоко ушло в нее, что лошади напрасно истощали свои силы, чтоб его вытащить. Все должны были выйти, и кучера с лакеем принялись дружески помогать лошадям; однако же прошло добрых четверть часа, покуда эти общие усилия увенчались успехом. Когда же все опять уселись по местам, то кучер кареты, оглянувшись с высоты козел на пылающую вдали деревню, вдруг со страхом оборотился к Зембиной и, постучав в окно кареты, объявил ей, что их догоняет несколько всадников. Зембина и Саша быстро выглянули. Действительно, человек шесть подъезжали к дороге через поле, стараясь преградить путь карете. Саша схватил пистолеты.

— Что ты делаешь? — вскричала ему мать.— Если мы будем сопротивляться, то нас наверное убьют. Лучше предадимся на волю Провидения. Отдадим без сопротивления все, что у нас есть...

— Ни за что! — вскричал Саша.— Я буду защищать вас до последней капли крови...

— Но если твоя защита будет мне стоить жизни?

Руки Саши опустились. Он не знал, что делать.

В эту минуту всадники въехали на дорогу и закричали карете, чтоб она остановилась.

— Что вам надобно, господа? — спросил Саша у них по-французски, выглянув из кареты.

— Вот мило! Какая хорошенькая! Да и по-французски говорит,— сказал один всадник, который, по-видимому, другими командовал.

— Надеюсь, господа,— продолжал Саша,— что вы ведете войну не с мирными путешественниками.

— А всего менее с такими прелестными девушками, как вы,— отвечал тот же всадник.— Позвольте узнать, однако, откуда вы едете и куда?

— Мы хотели проехать в нашу деревню, близ Вязьмы, но узнали, что эти места уже заняты вашею армиею, и решились воротиться в Москву по проселочной дороге.

— Бесполезный труд, моя красавица! Мы к вам скоро и туда придем в гости... Вы теперь едете из той деревни, которая горит?..

— Точно так...

— Кто зажег ее?

— Сами жители...

— Зачем?

— Чтоб врагам ничего не досталось...

— Какое варварство! И вы, верно, одобряли этот поступок... Может быть, даже участвовали в нем...

— Участвовать мы не могли, потому что уехали прежде, нежели деревня была зажжена; но всею душою одобряем благородную эту решимость...

— Что тут с ними долго разговаривать! — сказал другой всадник.— Нам нужны припасы и деньги... Эй, красавицы! Выходите из кареты... Вы можете и пешком дойти, куда хотите, а ваши экипажи, лошадей и поклажу мы берем себе...

— Надо знать, отдадим ли мы их! — вскричал Саша, и громкий смех всадников был ответом на грозную его выходку.

— Если воинам Наполеона не стыдно грабить проезжих по дорогам, то мы повинuemся,— сказала Зембина.

— А вот и маменька заговорила, и умно,— возразил второй всадник.— Выходите же без церемонии... Нам некогда с вами забавляться... Мы не грабим, а открыто берем все по праву завоевания... Даже и ты, красавица, должна бы по-настоящему принадлежать нам, но французы на этот счет учтивы и пользуются только добровольною добычею.

Громкий смех всадников доказывал Зембиной и Саше, что им нельзя ждать пощады, потому Зембина вышла из кареты, успевши спрятать под шаль кошелек и бумажник, а Саша, выходя за нею, взял в одну руку саблю, а другою метко выстрелил из пистолета во второго всадника, который наглее всех торопил их. Француз вскричал и повалился с лошади.

Крики негодования раздались между прочими всадниками, и один из них, схватя Зембину за волосы, занес на нее свою саблю, чтоб наказать хоть мать за вину *дочери*, но Саша другим выстрелом поверг и этого злодея, а сам в эту же минуту вскочил на лошадь новоубитого и, грозно размахивая саблею, бросился на ближайшего неприятеля.

Все остановились с изумлением. Им казалось совестно напасть соединенными силами на девушку, неожиданное геройство которой приводило их, однако же, в удивление.

— *Daible! Comme vous y allez, ma belle!*¹ — сказал первый всадник.— Посмотрим, не справлюсь ли я с этою бунтовщицею!

Направля к ней коня своего, он с каким-то чувством стыда поднял против нее саблю, надеясь с одного удара обезоружить ее. Но каково было его удивление, когда удары мнимой красавицы посыпались на него как град и заставили употребить все свое искусство, чтоб отвратить их. Однако же усилия его тем и ограничились. Ему было совестно убить девушку — а Саша, помня хорошо все прежние уроки фехтования, наносил ему удар за ударом. Наконец он несильно ранил великодушного всадника.

— Жак,— закричал он близстоявшему всаднику,— займи мое место и справься с этим русским чертенком... Я ранен...

Жак бросился на Сашу, и тот, в свою очередь, увидел, что удары Жака вовсе не так великодушны, как первого всадника. Теперь надобно было защищаться и отступать, но, ощупав

¹ О дьявол! Как вы скачете, моя красавица! (*фр.*)

в седле пистолеты, Саша вынул один и выстрелил в своего противника. Пуля попала в грудь француза, он свалился.

Оставалось уже только двое всадников, которые, по-видимому, были не из храбрых. Геройство Саше показалось им сверхъестественным. Ночь, пожар и название чертенка, данное Саше раненым всадником, наполнили их сердца страхом, и они готовы были ускакать. Вдруг увидели они новую толпу всадников, подъехавших к дороге, и закричали им, чтоб они поспешили к ним на помощь. Те тотчас же явились и, слушая рассказ оставшихся, то хохотали, то с удивлением посматривали на амазонку, которая наделала такие чудеса. При вновь прибывшей толпе был офицер, и тот, подъехав к Саше, объявил ему, что должен взять его и представить в главную квартиру с донесением обо всем случившемся.

— А если я не пойду, если я буду защищать свою свободу!..— вскричал Саша.

— Необходимости и силе уступает самый храбрый человек. Прошу и вас не сопротивляться. Силы наши слишком неравны.

— В таком случае вы донесете в главной квартире, что вам удалось умертвить девушку и ограбить проезжих... я не пойду и решила защищаться.

— Увидим! — с этим словом он дал знак своим солдатам, чтоб схватить Сашу. Все ринулись на него, и отчаянное, бесполезное сопротивление не могло быть продолжительно. Вдруг крики: *русские! русские!* остановили странную борьбу. По дороге видна была чернеющая вдали масса русской пехоты, быстро подвигавшейся к группе наших действующих лиц. Зарево пожара ярко отражалось на русских штыках. Перед пехотою летели казаки и, завидя кучу французских всадников, наклонили пики и гикнули. Вся толпа в минуту рассеялась, и преследование продолжалось поодиночке.

Между тем начальник русской пехоты, сопровождаемый отрядом казаков, подъехал к Зембиной и Саше, чтоб расспросить их... Каково же было обоюдное изумление и радость! Начальником русского отряда был Сельмин!

Все было тотчас же пересказано в коротких словах: Сельмин остановился в семнадцати верстах отсюда в одной деревне, чтоб переночевать в ней и пойти на другое утро к Вязьме. Он вел несколько вновь сформированных батальонов и имел предписание сдать их в главную армию; маршрут был ему дан на Вязьму. Встреча с Зембиной и с неприятельским отрядом

убеждали его, что надобно идти проселочною дорогою назад, чтоб догнать русскую армию у Можайска,— он объявил, что будет до тех пор провожать Зембину. Он был в восторге, что судьба свела его так внезапно с предметом его страсти и допустила его даже быть избавителем *прекрасной незнакомки*. С отрядом казаков отправил он Зембину далее в ту деревню, в которой расположился было ночевать и из которой вызвало его известие о появлении неприятеля в ближайшем селе; сам же тотчас сделал распоряжение, чтоб напасть на французов, стоявших близ пылающей деревни. Но те уже узнали о прибытии сильной колонны русской пехоты и спешили отступить на большую Смоленскую дорогу. Когда казаки донесли об этом Сельмину, то он немедленно двинулся в обратный путь и вскоре догнал Зембину. Для ночлега ее отведен был, разумеется, лучший дом в деревне, и Сельмин окружил ее всеми возможными услугами и заботливостью. Особенно *прекрасная его незнакомка* была предметом его попечений и страстной внимательности. Жадными взорами следил он за малейшим движением ее, чтоб угадать ее желания; беспрестанно говорил ей самые высокопарные нежности. Зембина была в величайшем затруднении. Она не смела открыть Сельмину, кто его незнакомка; но ей было больно и оставить его в таком печальном заблуждении. В тех обстоятельствах, в которых она находилась, было ей вовсе не до шуток и мистификаций. Она желала бы вразумить и спасти обоих, но не знала, как приступить к этому. Каково же было ее сердцу, когда Сельмин, воспользовавшись временным отсутствием Саши, объявил ей о давнишней своей страсти к ее *родственнице* и просил ее содействия в этом деле.

— Я не имею никакой власти в этом деле,— отвечала она.— Да и теперь не такое время, чтоб думать о любви и женитьбе. Когда война кончится, я поговорю с Сашею и ее родственниками...

— Такая отсрочка ужасна! Вы убьете меня! — вскричал Сельмин.— Почему же в минуту опасности не думать нам о предметах, которые дороги нашему сердцу?.. Ведь мои чувства не основаны на расчете и условиях общества. Ведь я не спрашивал вас: кто эта девушка и какое у нее состояние? Я люблю ее всеми силами души моей и был бы самым счастливым человеком, если б она согласилась быть подругою моей жизни. В теперешнее время надо дорожить каждою минутою. Кто знает, буду ли я жив через неделю! Почему же мне не оставить

другому существу свое имя? Почему же *ей* не принять его? Оно честно и безукоризненно...

— Любезный Александр Петрович! Вы меня ставите в самое мучительное положение... Повторяю вам, что ни от меня, ни от самой Саши не зависит принять ваше предложение. Будьте благоразумны... Ваша страсть...

В это время вошел в комнату Саша, и разговор на минуту прервался. Сельмин горел, однако же, нетерпением возобновить его, но Зембина нарочно начала отдавать приказания к завтрашнему отъезду и даже вышла для этого. Оставшись наедине с Сашею, Сельмин несколько растерялся, но чувство самосознания и чести говорило ему, что надо идти прямо и откровенно, а потому он решился чистосердечно рассказать Саше разговор свой с Зембиной, свое предложение и свою страсть.

Прислонясь к окну, Саша слушал внимательно и задумчиво страстные выражения Сельмина. Ни одна улыбка не изменила ему. Напротив, он сам, казалось, был тронут до глубины сердца. Влажные глаза его как будто бы обнаруживали сочувствие к страсти. Какие-то нежные мечты носились перед мысленными его взорами, и когда Сельмин, видя столь счастливые для себя признаки, с жаром схватил руку Саши и покрыл ее поцелуями, то Саша с какою-то безотчетною нежностью склонился челом на плечо Сельмина и, казалось, вполне разделял его любовь.

Вошла Зембина, и Сельмин с жаром приступил к ней с новыми объяснениями, ссылаясь теперь на безмолвие Саши, но Зембина, полагая, что Саша мистификует своего любовника, вовсе не хотела продолжать подобной шутки и объявила Сельмину, что, отдохнув от волнения, она поговорит о всем с Сашею и даст ему ответ завтра поутру. Сельмин успокоился и откланялся.

Когда Зембина осталась наедине с Сашею, то представила ему все неприличие *его* шутки и всю затруднительность его положения.

— Что нам теперь делать? — сказала Зембина. — Он непременно захочет решительного ответа. Он будет ехать с нами всю дорогу и беспрестанно твердить о смешной своей любви. Открыть ему все — значит погубить тебя. Молчать — неприлично. Благородство его характера и искренность чувств заслуживают уважения, а не глупой насмешки. Я совершенно теряюсь.

— А я легко окончу все эти затруднения, — с живостью отвечал Саша. — Я действительно виноват и перед ним, и перед вами. Не постигаю самого себя и не умею дать себе отчет

та в своих чувствах, но уверяю вас, что я, слушая сейчас признание любви Сельмина, не думал смеяться над ним. Нет! Я был тронут... Я в это время думал о другой девушке и воображал, что так же буду объясняться с нею... Очень чувствую, что все это странно, неприлично и что надо это кончить, сегодняшние происшествия образумили меня. Я все дело поправлю, и вы будете мною довольны. Я, как негодяй, бежал и скрылся от своей священной *обязанности*; да, только ваша материнская нежность могла согласиться на это. Виноват! Тысячу раз виноват, моя добрая, милая маменька! Вы должны быть огорчены таким поступком... И что ж? Вид этой пылающей деревни, это геройство простых крестьян, это нечаянное нападение мародеров, эта необходимость защищать свою и вашу свободу — все-все в одну минуту переродило меня... Теперь во мне вспыхнула непреодолимая страсть к войне, к сражению, к крови... Не знаю, будет ли она продолжительна, но поспешу к этому призванию... Я сейчас же уеду назад в Москву, отыщу своего начальника и извинюсь как-нибудь перед ним в своей глупой отлучке... Говорят, у Можайска готовится русская армия к битве за свободу России и спасение Москвы... Я непременно хочу участвовать в этом великом деле!.. Благословите меня, добрая, бесценная маменька!

С этим словом Саша бросился к ногам Зембиной и осыпал ее руки жаркими поцелуями. Удивленная мать ни слова не отвечала: она плакала и слезными взорами, поднятыми к небу, испрашивала Божьего благословения на главу легкомысленного своего сына.

В несколько минут все было устроено. Кибитка Саши была заложена. Он переоделся в свой мундир, и после самой трогательной сцены прощания с матерью, после тысячекратных объятий и поцелуев, после условий и обещаний писать друг другу или стараться свидеться где-нибудь они расстались.

Сельмин не спал еще, мечтая о будущем своем счастье, а в эту самую минуту предмет его мечтаний пролетел на тройке мимо его окон.

ГЛАВА II

Саша летел, а не ехал. Адъютантский мундир и деньги ускорили русскую почту. На другой день он уже был у своего генерала. Тот принял его самым недружелюбным образом.



Слова: *под арест, под суд!* несколько раз звучали в ушах Саши, но он уже приготовился к этой грозе и рассказал ему какое-то выдуманное происшествие со всевозможными прикрасами. Мало-помалу генерал успокоился, а наконец и простил виновного.

— Послезавтра, — сказал генерал, — назначено сражение. Наше ополчение должно в нем участвовать, и я уверен, что вы заслужите свое прощение на поле битвы...

Это было сказано 24 августа 1812 года, а 26-го была Бородинская битва.

Великие, святые воспоминания! Пройдут века, и поздние потомки будут еще твердить о вас! Вы не изгладитесь из памяти людей до тех пор, пока русские будут уважать самих себя! Вы будете служить примером для высоких чувств и великих подвигов, доколе племя людское будет почитать что-либо священным! *Бородино!* В этом слове целая поэма, которая во столько раз превышает «Илиады», во сколько Бородинская битва ужаснее жалких драк под стенами Трои. Бородино! Чье сердце не затрепещет невыразимым чувством гордости при этом названии? Только потомство вполне может оценить эту битву. Мы, современники, видели все эти чудеса, вокруг нас совершавшиеся, и не понимали их высокого достоинства. Все подвиги героизма казались тогда так обыкновенными, что их едва замечали. Только теперь начинают разуметь, что такое было *Бородино!*..

И в какую минуту произошла эта битва!

В июне месяце вторгается в Россию четыреста тысяч врагов, предводимых величайшим полководцем всех времен. В два месяца прошли они посреди огня и крови все пространство от Немана до берегов Москвы. Русские сражались, умирали, но отступали. Полководцы их чувствовали, что бой еще несоразмерен с силами врагов. Между тем ропот народа и войска требовали скорой, решительной битвы. Враги стремились к Москве, а в понятиях народа это был палладиум русского спасения. Отдать Москву без боя — значило убить совершенно дух русских... Бородинский бой совершился!

Какое высокое, умирительное зрелище представляла русская армия накануне этого великого дня! Она молилась! Каждый солдат чувствовал, что истинное мужество и любовь к отечеству неразлучны с верою. Достойное русское духовенство, всегда сочувствующее русским воинам в часы опасностей, было и тут посредником верующих сердец и именем Бога

живого благословляло православную рать на знаменитый подвиг. «Живым — вечная слава и благодарность родины, а мертвым — мученические венцы!» — восклицало оно. Чудотворная Смоленская икона Божией Матери носима была собором духовенства по всем рядам подвизавшихся, все с благоговением повергались перед нею, все молились с искренним усердием и теплою верою. В эту минуту не было ни одного неверующего; всякий видел человеческую слабость, всякий понимал, что только помощь *свыше* может даровать победу и личное спасение.

И вот настало роковое утро 26 августа! Грянула великая битва!.. Но знаменитые события эти принадлежат истории, а не нашему ничтожному рассказу. С тайной досадою должны мы воротиться к своей повести, которой эпизод составлял одну из малейших пылинок, крутившихся в вихре этого великого дня.

Московское ополчение стояло на левом фланге русской позиции в числе резервных войск. Оно было дурно обучено и еще хуже вооружено, так что не могло принести большой пользы в ужасной борьбе между лучшими воинами Европы. Но, составляя массу в десять тысяч человек, оно стояло в самом видном месте на высотах деревни Устицы и казалось неприятелям огромным резервом, который готов ринуться на них при малейшем истощении сил. Наполеон видел эту массу, но не знал ее материальной слабости и потому не хотел в решительную минуту битвы ввести в дело своей гвардии, которая могла бы дать ему окончательный перевес. Таким образом русский полководец нашел средство дать незначашему войску всю важность самых опытных ветеранов. Канун Бородинской битвы был и для московского ополчения днем приготовлений и молитвы. На полях, недавно еще пожатых серпом земледельца, готовилась обильная жатва смерти. От деревни Устицы вправо к берегам Колочи простирается обширное поле, частью служащее для запашки, а частью для выгонов. Оно образует заметную возвышенность, тихо склоняющуюся к реке. Выгоны сильно поросли кустарником ольхи и осины. Тут, вероятно, был прежде лес, который срублен был безрасчетными современниками, которые никогда не помышляют о будущем. Это тем вероятнее, что далее к юго-западу простираются обширные леса такого же качества, как и кустарник при Устице. Это роковое пространство составляло оконечность левого фланга русской армии, и охранение этого важно-

го пункта вверено было генералу Тучкову. Он верно выполнил свою обязанность и жизнь свою запечатлел ее! Под его начальством состояло и московское ополчение. Оно расположено было на пашне, и передние его посты примыкали к строевым войскам, расположенным в кустарниках.

Разумеется, оно наравне с прочими стояло на биваках, и большая часть деревенских сараев и заборов перешла в костры московских дружин. Ночь была холодна и пасмурна. В отряде ополчения приказано было разложить как можно больше огней, и Саша, как адъютант генерала, командующего ополчением, усердно хлопотал об этом по всей линии расположения. Он был в восторге при величественном виде этого необозримого стана русских воинов, которые с торжественностью стали твердою стопою, чтоб отразить толпы пришлецов. Весь горизонт темного осеннего неба был облит заревом пылающих костров. Шум, говор, езда, чистка оружия и беспечный сон многих составляли поразительную картину, которая сильно говорила сердцу и воображению. А там, вдали, западное небо горело пожаром, еще обширнейшим от биваков французской армии, которая с нетерпением ждала солнечного восхода, чтоб сразиться и победить.

В обоих станах не раз каждый воин подумал, что эта ночь может быть последнею в земной его жизни, однако же никто не поколебался в сердце своем. Все с радостью несли жизнь на алтарь отчизны.

Воротясь к биваку своего генерала, Саша донес ему о повсеместной исправности и веселом расположении духа ратников. Завернувшись в плащ, генерал лежал у костра и пригласил тут же расположиться и Сашу. Саша оглянулся и не видел ни малейшего удобства, чтоб лечь.

Это очень затруднило его. Генерал заметил небольшое замешательство своего адъютанта.

— Что вы так заботливо оглядываетесь, господин Тайнов? — сказал генерал с некоторою насмешливостию. — Вы еще первоученка. Биваки вам не по нутру. Привыкли к постелям, к одеялам... конечно, любезный друг! Теперь надолго проститесь с сибаритством, теперь другой постели у вас не будет, кроме общей нашей матери сырой земли, другого одеяла, кроме свода небесного. Ложитесь-ка без церемонии, на чем стоите. Свернитесь к огоньку, а под голову положите себе вот... бревешко, которое никак не хочет гореть. Поверьте, вы славно уснете.

Саша молча исполнил наставление генерала и расположился поближе к огоньку. Тут предался он всем мечтам игривого своего воображения. Мать, Сельмин, Мария, дядя... Все эти существа мелькали перед ним, как привидения: то он их видел перед собою, говорил с ними, обнимал их, то гонялся за ними по безызвестным сферам мироздания... К этим видениям присоединились другие; все это сделалось сбивчиво, неясно, странно... Он заснул.

Утро чуть брезжило, а русская армия была уж на ногах. Все готовилось к роковой развязке. Костры мало-помалу гасли, и утренний холод пробуждал самых беспечных. На рассвете поднялся туман и долго носился над бородинскими полями. Только отдаленный гул доказывал, что в армии происходят сильные движения. Наконец вошло солнце, и Наполеон воскликнул своему войску, что встающее солнце *есть солнце Аустерлица!* На этот раз он ошибся.

Вдруг раздался ужаснейший гром орудий. Французская 120-пушечная батарея начала гигантскую битву. Грозный сигнал отозвался на всех концах, и вскоре все покрылось пороховым дымом.

Позже всех выстроилось московское ополчение; генерал послал Сашу к командующему всем корпусом, чтоб находиться при нем до той минуты, покада получит приказание о действиях со стороны ополчения. Саша взял себе одного казака для отыскания дороги и пустился скакать к тому месту, где кипела битва. В первую минуту отъезда сердце его волновалось от восторга... Он увидит сражение вблизи, быть может, самому удастся участвовать в нем!.. Эта мысль наполняла душу его невыразимым удовольствием. Однако же чем ближе он подъезжал к месту битвы, тем слабее становился восторг его, а сердце более и более сжималось... Вдруг мимо него прожужжало неприятельское ядро, он внезапно остановился... Голова его закружилась... он готов был упасть с лошади. Казак, увидя его движение, подъехал к нему, чтоб узнать, не ранен ли он, тогда чувство стыда возвратило Саше присутствие духа; он объявил казаку, что рассматривает вдали движущиеся массы, стараясь угадать, в которой из них находится генерал Тучков. В эту минуту у самой лошади его врылось в землю еще ядро — и лошадь, фыркнув, отскочила. Саша снова побледнел, и блуждающие его взоры начали искать чего-то. Казалось, что он смотрит, куда бы ему укрыться, и, вероятно,

если б он был один, то повернул бы назад свою лошадь, но в эту минуту казак закричал ему:

— Ваше благородие! Вот на этом пригорке, что налево, стоит какая-то кучка кавалерии. Это, верно, господа командиры...

Саша дал шпоры своему коню и мигом донесся до этой группы. Казак его угадал. Это был действительно сам Тучков, окруженный несколькими адъютантами и казаками, развозившими его приказания по линии. Саша явился к нему и донес о поручении, данном ему генералом.

— Э! Пусть он с богом стоит на своем месте и не трогается,— отвечал Тучков.— Там он принесет гораздо больше пользы, нежели здесь. Вы видите, что здесь и старым солдатам приходится жутко стоять. Очень жарко, а кажется, еще будет жарче.

В эту минуту ядро пролетело над самыми головами говорящих, и Саша невольно присел.

— Э! Э! Какой новичок! — вскричал Тучков.— Чай, у вас все там такие учтивые! Каждому ядру кланяетесь. Нет, любезный, у вас тут голова устанет, коли всем отдавать по поклону.

— Ваше превосходительство,— сказал Саша, оправясь от минутного смущения,— с новыми знакомыми всегда церемонятся. Позвольте при вас сделать покороче знакомство с этими посетителями — и тогда я первый не буду им кланяться.

— Напрасно! Поезжайте за добра ума. Здесь короткое знакомство с этими посетителями не очень выгодно... Сражение только что началось — а у меня уже двух адъютантов убило...

— Мне генерал мой сказал, что я должен остаться при вас, покуда не получу каких-нибудь приказаний насчет ополчения... Позвольте же мне на это время заменить одного из ваших выбывших адъютантов. Мне бы хотелось загладить мой поклон...

— Э, мой милый! Мы все в свое время кланялись, и я не упрекну молодого человека за это невольное движение. Это не трусость. Это инстинкт самосохранения. Быть хладнокровным во время опасностей не добродетель, а навык... Впрочем, очень рад вашему усердию... С удовольствием согласен, чтоб вы при мне остались покуда, и от души желаю, чтоб участь ваша была счастливее ваших предместников... Постойте... Вот какая-то колонна бешеных валит на наш корпус. Это не люди, а черти. Лезут как сумасшедшие... Скачите скорее туда, налево к опушке леса (при этом он указал ему рукою чернеющуюся вдали

колонну). Там найдете вы бригаду пехоты... Скажите генералу Г-скому, чтоб он двинулся навстречу этой колонне и опрокинул бы ее на штыках. Перестрелкою заниматься некогда... А если ему придется худо, то я пришлю ему на выручку кавалерию... Только лучше бы, если б сам справился... Ступайте с Богом. Возьмите двух казаков, они покажут вам дорогу.

— А позволите ли, ваше превосходительство, участвовать мне в этом деле? — спросил с живостию Саша.

— Нет, сударь! Старайтесь делать всегда только то, что начальник вам приказывает. Кто больше делает, чем от него требуют, тот служит дурно... Вы мне здесь нужны... Ступайте и через полчаса будьте опять здесь.

Саша поскакал. На этот раз ядра осыпали его со всех сторон... Но он, чувствуя при каждом особенное стеснение сердца и наклоняясь перед каждым, не останавливался, однако же, и внутренно сам радовался, что сделался храбрее. По кустарникам, мимо которых он скакал, видел он ужасные действия жужжащих мимо него ядер. Лошади с оторванными ногами, с перебитыми челюстями валялись везде и, умирая, лизали кровь свою... Люди, еще ужаснее изуродованные, лежали в разных группах, раненые брели к перевязкам куда могли, начальников несли на плащах... Почти закрыв глаза при виде этих ужасов, Саша доскакал до бригады и, отыскав генерала, сообщил ему приказание корпусного командира... Тот уже давно готов был, потому что видел движение новой неприятельской колонны, громко скомандовал, перекрестился — и вся масса быстро двинулась вперед.

С любопытством остановился Саша на минуту и смотрел вслед за уходящими. Мимо него твердо и весело шагали солдаты походной бригады; на лицах их видно было одно нетерпение и твердая решимость. Офицеры ободряли свои взводы, но по осанке солдат видно было, что они слушают эти наставления только по долгу службы, — в самом же деле они не имели в них нужды. Они знали цель битвы, и каждому из них жизнь ровно ничего не значила в эту минуту.

Едва колонна эта двинулась с места, как неприятель осыпал ее со всех своих ближайших батарей: открылся целый ад. Ядра беспрестанно вырывали из рядов обреченные судьбою жертвы, но русские солдаты тотчас же стесняли свои ряды и, сотворив знамение креста о погибших, с прежнею твердостью шли вперед.

— А что, ваше благородие, не воротиться ли нам к генералу? — сказал Саше один из казаков, его провожавших.

С легкомысленною гордостью поднял Саша голову и спросил казака:

— А ты разве боишься?

Казак почесался и поежился.

— Не то, сударь, чтоб бояться, а мне не хочется задаром быть убитым, да и эта пушечная стрельба вовсе не по нашей части. Нашему брату где бы поработать пикую. Тут мы стоим за себя и не уступим никому, а уж пуль и ядер мы не любим...

Вдруг речь казака прервалась. Он слетел с лошади и, не испустив вздоха, упал мертвым к ногам своего коня. Ядро сорвало его, перервав пополам. Холодная дрожь пробежала по жилам Саши. Печально склонил он голову и тихо повернул лошадь, чтоб удалиться от этого зрелища. Проехав несколько шагов, каково же было его удивление, когда он увидел другого казака, сошедшего с лошади и снимающего что-то у мертвого товарища.

— Что ты там делаешь? — закричал ему Саша.

— Не беспокойтесь, ваше благородие, — отвечал ему казак. — Извольте ехать. Я сейчас догоню вас.

Саша продолжал путь, а казак через несколько минут прискакал назад.

— Что ты снял с убитого? — спросил Саша.

— Кожаный пояс и с груди бумажник, — спокойно отвечал ему казак.

— Да разве это можно? Разве *тебя* сделал он своим наследником?

— Все равно, ваше благородие. Уж это между нами водится...

— Водится? Обирать своих убитых товарищей!

— Что вы, ваше благородие! Разве я для себя взял? Боже упаси! А мы из одной станицы. У покойника осталась мать-старушка да сестра в девках. Я при первой okazji перешлю им все, что бедняк собрал, а коли лишние будут, так и своих прибавлю.

— Это прекрасно! Это бесподобно! Ты славный малый.

— Помилуйте, ваше благородие! Всякий из нас то же самое сделает

Саша замолчал. В короткое время увидел он и узнал столько прекрасных свойств простого русского народа, что ему

почти совестно было самому перед собою. Он был в восторге от них, а эти люди почитали все это самою обыкновенною вещью.

Скоро доехал он обратно до генерала Тучкова и пересказал ему все, что видел. Тот с некоторою рассеянностью слушал его и беспрестанно смотрел в подзорную трубку. Видно было, что участь посланной бригады беспокоила его. Действительно, он приказал другому адъютанту скакать к резервной кавалерийской бригаде и двинуть ее на выручку пехоте, которой, по видимому, приходилось худо.

С беспокойством ждал Тучков последствий этого нового движения и беспрестанно посматривал на бригаду.

— Славный народ! — сказал он с некоторою грустию. — Стоит и умирает. Если кавалерия не подоспеет, то они дадут себя перебить до последнего человека.

Вскоре, однако, лицо Тучкова прояснело. Неприятель был опрокинут и преследован до большой батареи. Тучков спешил отозвать войско, чтоб дать ему отдых и привести в порядок.

— Я знаю, что это будет ненадолго, — сказал он, — перед нами не такой неприятель, который бы позволил отдохнуть.

Предсказание его сбылось. Вскоре заметно было, что две новые колонны идут по этому же направлению. А далее по направлению к Бородину видно было еще какое-то неопределенное движение.

— Господин адъютант, — вскричал Тучков, — скачите скорее к князю Багратиону и доложите ему, что менее нежели через полчаса корпус мой будет атакован несколькими неприятельскими колоннами. Мне нужно значительное подкрепление, иначе меня раздавят превосходством сил. Скачите, летите!..

С двумя казаками Саша снова пустился по задней линии войск и начал отыскивать князя. Зрелище битвы представляло по всей линии те же картины. Везде французы неслись с дерзостью на русские фланги и, попирая груды тел своих товарищей, врывались наконец в укрепления и новыми усилиями русских резервов были отбрасываемы назад. Везде люди валялись целыми рядами и никто не думал о жизни. Не было уже ни трусов, ни храбрых, было одно взаимное ожесточение, которое думало не о победе, а об истреблении противников.

Остановясь у опушки одного леса, на возвышении близ Семеновской деревни, на котором была построена большая батарея, Саша получил приказание дожидаться тут князя Багратиона, потому что в эту минуту князь сам повел вперед

большую резервную колонну к семеновскому оврагу и хотел возвратиться на прежний свой пост. В этом кустарнике, прикрытом от неприятельских выстрелов возвышенностию батареи, устроено было место для перевязки раненых. Какое-то безотчетное любопытство привлекло Сашу в этот кустарник. Он вошел туда, взглянул и почувствовал головокружение. Его поразили не страх, а ужас. В этом кустарнике навалены были груды человеческих рук и ног, отрезанных услужливыми врачами у раненых. Вид мертвых тел и громады раненых не столько бы поразили его, как эти ужасные обрывки человеческого тела. Он убежал от этого зрелища и спешил на батарею. Там увидел он большую часть поля сражения, но о ходе битвы нельзя было иметь ни малейшего понятия. Пороховой дым застилал беспрестанно все. Да и самые войска часто до того смешивались между собою, что нельзя было разобрать, которая сторона одолевает. Вскоре представилось ему самое печальное зрелище. Небольшая группа казаков и адъютантов отделилась вдали от русских войск, препиравшихся у семеновского оврага, и приблизилась к кустарнику, где перевязывали раненых. Кого-то несли сюда на плаще, и печаль окружающей группы доказывала всеобщую любовь к раненому. Саша сошел с батареи опять к кустарнику и приблизился к этой группе. Одно слово показало ему все величие потери, которую сделала Россия в эту минуту. Раненый был сам Багратион. Спокойный и великодушный до последней минуты, он приказывал окружающим его скрывать рану свою от войска, чтоб солдаты не лишились бодрости, и требовал скорейшей операции над раненою ногою.

Между тем, увидя в группе около себя незнакомого офицера, он спросил Сашу, откуда он и зачем; тот донес ему о данном поручении.

— Да! И ему, бедному, приходится туго. Поезжайте назад и скажите Тучкову, что я о нем заботился, прежде нежели он ко мне прислал... Я уж давно послал к нему две свежие дивизии... Дай бог, чтоб он с ними мог удержаться... Скажите, что я ранен, но не опасно... Что сражение едва ли будет выиграно и что теперь его пост самый важный... Чтоб он сохранил его до последнего человека... От этого зависит спасение всей армии. Ступайте.

Саша поклонился, вздохнул, сел опять на лошадь и пустился к Тучкову.

— Боже мой! Точно ли вы уверены, что князь не опасно ранен? — вскричал Тучков, выслушав рассказ Саши.

— Так, по крайней мере, он сам сказал мне, но если судить по печальному выражению всех окружающих...

— Это было бы ужасно! Это была бы самая важная потеря для всей России... Но авось Бог милостив... Такие люди, как князь, слишком нужны для спасения отечества.

Тучков замолчал, но по лицу его видно было, что он не разделял надежды, которую старался внушить... Какое-то мрачное предчувствие говорило ему, что жребий битвы требует еще многих жертв.

Присланные в подкрепление ему две дивизии были действительно спасительным звеном для участи сражения. Новые усилия неприятеля заставили было Тучкова отступить к самой деревне и отдать во власть его все пространство кустарников и возвышенностей. Только прибытие подкрепления спасло его. Теперь борьба началась снова и шла с прежним ожесточением и равным успехом.

Вдруг со стороны неприятеля заметно стало новое движение.

— Опять будет отчаянная минута! — сказал Тучков и тотчас же собрал вокруг себя резервы. — Это мои последние средства, последние усилия!

— Может быть, и неприятель в таком же истощении, — сказал один из окружающих его штаб-офицеров.

— Нет, любезный! Я уже с самого утра наблюдаю в трубку вот эти чернеющие массы неприятельской армии. Они одни стоят неподвижно. Значит, тут сам Наполеон, и это его гвардия. Не дай бог, чтоб он двинул ее против моего корпуса. Мне и без того худо, а тогда останется только перекреститься и умереть.

Быстро собирались вокруг Тучкова остающиеся массы русских резервов. Видя их осанку и нетерпение к бою, он сам внутренне ободрился, выслал вперед стрелков, поставил новые батареи и с твердостью ожидал неприятеля. Вскоре открылась ужаснейшая канонада. Более двухсот орудий направлено было французами на этот пункт, и русская артиллерия, с живостью отвечавшая на этот губительный огонь, чувствовала, однако, что превосходство подавляет ее. Наконец сблизились и колонны.

Зрелище было ужасное, великолепное! Уже несколько раз русские отражали сильные напоры неприятелей, но казалось,

что препятствием только удвоивали их упорство. Они с бешенством продолжали идти вперед. Наконец, составя последнюю колонну к атаке, Тучков со всем корпусным штабом стал в первых рядах и повел ее на неприятеля.

— Ребята! — закричал он солдатам. — Надобно непременно устоять. Князь Багратион прислал сказать, что от этого зависит спасение всей армии. Или мы отбросим неприятеля, или никто из нас не вернется!

— Рады стараться! Ура! — был громкий единогласный ответ, и колонна быстро двинулась вперед.

— Молодой человек! — сказал Тучков Саше, увидя его подле себя в эту минуту. — Вы недавно просились в первую атаку, и я не пустил вас. Теперь дошла до вас очередь. С первого взгляда я имел плохое о вас мнение; но вы доказали мне, что я ошибся. Вы вели себя очень хорошо, и я доволен вами. Докажите же теперь, что вы вполне стоите той награды, которую получите по моему представлению.

— Скажите, что мне должно сделать, чтоб заслужить ваше доброе мнение?..

— Быть хладнокровным. Я замечаю, что вы хотите показать свою храбрость и все порываетесь вперед, суетитесь. Это не храбрость, а просто молодость. Смотрите опасности прямо и смело в глаза, идите вперед твердо и холодно. Если можете избежать опасности, уклонитесь от нее; если же надо умирать — умирайте как воин и христианин.

Наставления эти не были еще окончены, как колонны сошлись. Только солдаты Наполеона могли так нападать, только русские могли так отражать. Храбрость и ожесточение были равны, но превосходство сил везде было на стороне неприятелей, одна лишь neodолимая стойкость русских могла останавливать бешеные порывы врагов. Пронзаемые штыками, поражаемые картечью, люди до того сперлись, что, умирая, не имели места, чтобы упасть на землю, но в фантастических группах оставались неподвижны, как каменные обломки.

Саша ни на шаг не отставал от Тучкова и старался заслонять его собою. Несколько раз французы врывались на штыки в средину колонны, в которой был Тучков, и окружающие его принуждены были защищаться ударами сабель. В этих-то частных боях Саша наиболее отличался. Он с удивительною ловкостью и присутствием духа отражал гибельные трехгранники и даже в один из подобных прорывов спас своего генерала от видимой опасности. Но все это был тщетный труд!

Провидение решило уже жребий героя. Роковой выстрел поверг Тучкова, и Саша мог только заботливостию своею спасти его от плена; генерал был тотчас же вынесен из рядов, но в ту самую минуту, как Саша достигал с ним до места перевязки, картечь слегка задела его самого в левую руку. Саша вскрикнул, схватился за раненое место. Генерал открыл глаза и понял, в чем дело.

— А, и тебя тоже! — сказал он и покачал головою.

— О нет! Что-то слегка,— отвечал Саша.

— Да! Это так кажется сгоряча, а после не дай бог... Душевно жалею... А я... мое дело кончено!

— Помилуйте, ваше превосходительство! Вы непременно выздоровеете.

— В лучшей жизни! Земная же для меня кончена... Поезжайте к главнокомандующему и донесите ему обо всем, что здесь случилось. Скажите, что мой корпус не в силах далее держаться... Скажите, что я умираю... Что я прошу его наградить всех и чтоб вам назначили Владимирский крест.

— Такая милость...

— Ступайте, перевяжите сперва рану, да и поезжайте с Богом. Завтра вас, верно, отпустят для излечения в Москву. Помолитесь там обо мне... меня уже не будет на свете...

Явились доктора, осмотрели рану Тучкова, перевязали ее, старались успокоить и пошли прочь. Один из них занялся Сашею.

Чтоб скинуть сюртук с раненой руки, Саша попросил его разорвать рукав.

— Э! Помилуйте, на что портить сюртук! Он вам еще пригодится! — сказал лекарь очень хладнокровно.— Можно и так снять. Я вам помогу...

— Да очень больно будет...

— Ну, без этого нельзя. Приятных ран не бывает. Надо потерпеть...

При этих словах он начал снимать рукав, не заботясь о криках, исторгаемых болью у Саши. Только тогда, когда врач увидел, что больной от слабости и боли лишился чувств, он тихо положил его на траву, разрезал рукав рубашки, осмотрел рану, набросал на нее фунт корпии¹, обертел бантажем и спокойно ожидал, когда он придет в себя.

¹ Корпия — наципаные из старой полотняной ткани нитки, употреблявшиеся в прошлом при перевязках вместо ваты.

Вскоре Саша вздохнул и, открыв глаза, смутным взором посмотрел вокруг.

— Будьте спокойны! — сказал ему врач. — Рана незначущая. Через три недели можете опять сидеть на коне, а теперь поезжайте с Богом в обозе. Успокойтесь там, а то здесь еще прибавят.

Действительно, ядра беспрестанно летали мимо раненых. Генерал уже был унесен далее, а Саша велел подать себе лошадь и, с помощью казаков усевшись в седле, тихо поехал к селу Татаринову, где была главная квартира главнокомандующего.

День склонялся уже к вечеру, и ужасная битва утихала. Французы овладели всеми почти укреплениями русских, но эти успехи стоили им столько людей, что Наполеон изумился и прекратил бой. Может быть, двинув свою гвардию на утомленные полки русских, он бы одержал победу, но он не решился на новые усилия. Он видел, чего ему стоило всякое нападение, и не хотел губить последнего своего резерва. Он предвидел, что русские и без того должны будут продолжать свое отступление и, следовательно, победа будет, по-видимому, принадлежать ему. А потому с четырех часов пополудни он ограничился одною канонадою, на которую русские отвечали гораздо слабее. Отступив за семеновский овраг, они сохраняли еще грозное положение, готовясь отражать новые нападения... Но мало-помалу ночь опускала свой покров на поле ужаса и смерти. Битва была кончена. Обе стороны могли сказать: мы сражались! Но о победе нельзя было думать. Всякий знал, что значила победа Наполеона, а Бородинская битва вовсе не была похожа на победу. Результат был немногосложен. *Русские устояли* — вот все, что потомство скажет об этом великом деле.

Уже смерклось, когда Саша доехал до бивака главнокомандующего у деревни Татариновой. Маститый старец сидел у горящего костра на деревянной скамейке и, выслушивая ежеминутные донесения, отдавал приказания. Многочисленный штаб окружал его, а несколько поодаль стояли конные ординарцы и казаки.

Один из адъютантов доложил о Саше. Кутузов печально покачал головою.

— Бедный Тучков! — сказал он вполголоса и велел позвать Сашу.

— Вы поздно приехали. Старший генерал по корпусу Тучкова был уже у меня и доложил обо всем.

— Простите меня, ваше сиятельство,— отвечал Саша,— моя рана не позволила ехать скорее.

Кутузов взглянул на Сашу, на спущенный рукав, подвязанную руку и изнуренное лицо и убедился в справедливости слов его.

— Когда же вы были ранены? Ведь вас генерал послал ко мне, бывши уже сам ранен.

— Точно так, ваше сиятельство, но и я уже был тогда ранен. Только я почитал рану мою слишком незначительною, а адъютанты все были убиты или тоже ранены.

— Да, это правда!.. Что еще особенного поручил вам генерал?

— Если, ваше сиятельство, все уже изволите знать, то я ничего особенного не имею...

— Неправда! Мне уже обо всем донесли... Надо, сударь, всегда с точностию выполнять приказания начальства... Что еще поручено вам сказать мне?

— Генерал Тучков просил, чтоб ваше сиятельство не забыли наградить *всех*, которые остаются в живых.

— Эта просьба была лишняя... Это мой долг. Сегодняшнее сражение будет памятно в истории. Те, которые пали, тех может наградить один Бог... Государь же не оставит живых... Они все верно послужили ему и отечеству. Что еще поручено вам от генерала?

— Остальное лично до *меня* касалось, и я не смею... я почитаю себя так мало достойным...

— Вы себе не судья! Это дело начальства. Вам генерал Тучков назначил Владимирский крест... По власти, всемилоостивейше мне дарованной, я исполняю желание умершего начальника. Вот возьмите его из рук моих... Государь император удостоит утвердить мое назначение. Продолжайте служить царю верою и правдою. Вы молоды и много еще можете оказать услуг... Поздравляю вас.

Саша, тронутый до слез, с жаром схватил руку великого полководца, державшую крест (который он взял у одного из адъютантов), и поцеловал ее.

— Что вы, молодой человек! Лучше обнимите меня... Вот так!.. Теперь поезжайте лечиться... Верно, вы в Москву отправитесь. С богом, поскорее выздоравливайте и приезжайте ко мне... Я вас возьму к себе.

С этим словом Кутузов обратился к другим лицам, и Саша должен был откланяться.

Несмотря на темноту ночи и рану свою, он должен был, однако же, ехать к генералу московского ополчения. Не прежде полночи отыскал его он за деревнею Утицею на биваках. Разумеется, все тотчас же окружили и осыпали Сашу вопросами, а наконец — поздравлениями. Крест, данный рукою Кутузова, был важным драгоценным явлением.

А рана, полученная Сашею, делала из него героя в глазах товарищей. Генерал тотчас же отпустил его в Москву и даже дал собственную свою коляску, прося прислать обратно по приезде.

Саша поехал, и толчки неровной дороги сильно беспокоили его руку. Поутру почувствовал он лихорадку и остановился на одной станции, чтоб отдохнуть. Сон несколько восстановил его силы, но все ему советовали спешить в Москву, и он решился преодолеть чувство боли, чтоб скорее доехать. На другой день он был уже в Москве.

ГЛАВА III

Как счастлив был Саша, когда упал в объятия дяди! Даже на глазах пустынного показались радостные слезы, и он пламенно благодарил за них Бога. Подобной радости давно уже не давала ему судьба.

— Вот видишь ли, мой друг, — с кротким упреком сказал он Саше, — как несправедлив был твой детский страх. Ты боялся унизиться в глазах всех товарищей; ты думал, что непреодолимым малодушием посрамишь свое имя и мундир, а на поверку вышло, что ты был храбр и удивил самых опытных и мужественных людей.

— Не понимаю сам, как это все сделалось! В трусости своей я до сих пор уверен... Это какая-нибудь тайна моей натуры. Мне несколько раз делалось дурно при виде человеческой крови, а между тем я до того ожесточился во время битвы, что готов был на все. Мне кажется, что здесь я испугался бы малейшей опасности, а там их было столько, что уж они ничего не значили. Я просто думаю, что человек может ко всему привыкнуть. А пример других, обязанность службы и честь и не-

возможность избежать опасностей могут сделать каждого героем.

Дядя задумался и не отвечал ни слова. А Саша с легкомысленною радостью рассказывал дяде все свои ощущения и подвиги. Он забыл даже о ране своей, как вдруг приезд доктора, за которым дядя тотчас же послал, напомнил о ней.

Расспросив его подробно, доктор прописал ему успокоительное лекарство; осмотр же отложил до следующего дня, чтоб минуло трое суток с первой перевязки. Даже архипастырь, который в этом монастыре дал убежище пустыннику, пришел навестить раненого юношу, долго с ним разговаривал и благословил его.

По уходе его Саша тотчас же послал к Леоновым письмо, в котором извещал их о своем возвращении и ране. Также к Зембиной послал узнать, не воротилась ли она в Москву. О последней посланный принес ответ, что ее нет в Москве, а Леонова, вместо ответа, приехала сама с дочерью. В другое время подобное посещение показалось бы неприличным, но тогда думали только о народной войне. Саша был ранен, он был при Бородине, и этого было довольно! Притом же они уверены были, что дядя всегда бывает при раненом, следовательно, посещение двумя женщинами молодого мужчины и не было неприличным.

Можно вообразить себе взаимную радость Саши и Марии! Старуха Леонова вся рассыпалась в вопросах. Даже словоохотливый Саша не успевал отвечать ей на все. Впрочем, и она ему сообщила очень интересную для него новость. Сельмин был в Москве. Он также участвовал в Бородинской битве, был ранен и привезен в Москву. Рана его тоже была неопасна, но требовала долговременного лечения. Саша просил Леонову, чтоб она уведомила Сельмина об его ране и кресте; та рада была поручению и расспрашивала Сашу о Зембиной. Но тут словоохотливость Саши вдруг исчезла; он не намерен был рассказывать своих переживаний. Впрочем, чувствуя, что Сельмин, верно, рассказал Леоновой о встрече с Зембиной и *прекрасною незнакомкою*, а может быть, расскажет и о сватовстве, шепнул ей, что по выздоровлении объявит ей кое-что любопытное... но что теперь врач запретил ему всякие сильные душевные движения.

Хотя любопытство очень мучило Леонову, но здоровье Саши было для нее драгоценно. Она решилась потерпеть и,

как умная мать, начала продолжительный разговор с дядею, чтоб дать Марии и Саше случай поговорить.

Разумеется, они воспользовались им вполне; Саша, как герой и победитель, осыпав множеством поцелуев руку Марии, тихо требовал от нее настоящего поцелуя за *победу*. Как можно было отказать раненому воину, и в тогдашнее время! Она наклонилась к нему будто бы для рассматривания перевязок руки, а он в эту минуту прильнул пламенными губами своими к ее пылающей щеке и, крепко придерживая ее здоровою рукою, долго не хотел пустить ее. Леонова это видела и молчала. Она в это время громко рассказывала дяде о подробностях Бородинской битвы по *самым верным сведениям*, ею полученным.

Наконец они уехали, и дорогою мать спросила у дочери, что она так долго рассматривала перевязку у Саши. Та вспыхнула и смешалась.

— Я все видела, друг мой,— сказала мать.— Ты поступила неосторожно. Ты даешь над собою большие права этому молодому человеку... Будет ли он вполне благодарен... Я давно заметила его склонность к тебе... Он, конечно, молод... Но теперь он может сделать блистательную карьеру... Сам главнокомандующий дал ему крест... Это не безделица... Пусть окончится война, и я с радостию благословлю вас.

Мария осыпала руки матери жаркими поцелуями. До этого времени она любила Сашу, как хорошенького мальчика, теперь же, как русская, она обожала в нем героя, проливавшего кровь свою за отечество.

С другой стороны была подобная же сцена, только с другими оттенками. Дядя не видал продолжительного поцелуя, но видел долговременную близость говоривших и давал Саше дружеские наставления на этот счет. После подвигов, совершенных им, Саше казалось, что он имеет некоторое право быть самостоятельным, и потому он отвечал дяде, что действительно поцеловал Марию, что это было весьма приятное ощущение, что он давно уже любит ее и теперь взаимно уверен в ее любви.

— К чему же она поведет? — с горькою улыбкою сказал настоятель.— Ты только сделаешь эту бедную девушку несчастною, внушив ей страсть и надежды, которые не в состоянии будешь осуществить.

— Почему же, любезный дяденька?.. Если *вы* не будете препятствовать...

— Я не могу ни препятствовать, ни, еще менее, благословить. Тебе семнадцать лет, друг мой, и хотя ты был мною воспитан со всею скромностию и невинностию детских лет, но, вероятно, природа внушила тебе идеи, которые я не мог и не хотел до сих пор объяснить... Друг, вспомни, что у тебя есть мать и отец. Если ты когда-нибудь решишься выбрать себе подругу жизни, то прежде должен узнать, согласны ли *они* будут на твой брак.

— Мать, верно, благословит меня, а *отец*... О разве у меня есть отец!..

— Есть, друг мой, и, может быть, настанет время, когда он, узнав свои заблуждения, прижмет тебя к своему сердцу и благословит тебя. До тех пор ты не должен располагать своею участью. Без благословения отца и матери нет счастья на земле! Вот мой тебе завет и наставление. Прощай.

Дядя ушел, а Саша остался один в печальных мечтах о своей непостижимой участи. Целую ночь провел он без сна. Слова дяди терзали его сердце, мучили воображение, истощали телесные силы; под утро обнаружилась в нем сильная лихорадка, и дядя принужден был послать за доктором. Медицинские пособия, а более всего крепость молодости и неиспорченной натуры скоро одолели болезнь.

В это время дядя имел продолжительный разговор с доктором, и когда Саша проснулся с прежними силами и свежестью, то доктор приступил к осмотру и перевязке раны. Она действительно была не опасна, хотя и требовала длительного пользования. В мякоти верхней части руки недоставало большого куска тела, вырванного картечью, но, к счастью, ни кость, ни большие жилы не были повреждены. Саша довольно терпеливо выдержал боль перевязки и по окончании печально улегся опять.

Вскоре приехали Леоновы. Какое-то непостижимое чувство овладело Сашею при виде Марии. Вчера еще он любил ее... Сегодня!.. Ни одного взгляда любви не дождалась от него бедная Мария. Он сказал, что чувствует сильную головную боль; дядя подтвердил, что у него была целую ночь лихорадка, а доктор рассказал, что сейчас делал ему перевязку. Поневоле визит дам ограничился несколькими минутами, и Мария со слезами на глазах поехала домой. А доктор, видя упорное молчание больного, удалился. Остался один дядя. Но тот знал, в чем дело, и не делал Саше ни одного вопроса. Саша мало-по-

малу успокоился и привык к идее своего несчастья. Все мечты его приняли теперь другое направление.

На следующее утро опять приехали Леоновы; Саша принял их с прежнею веселостию и нежностью. Он чувствовал, что склонность его к Марии так же сильна, и решился сохранить к ней *братскую* привязанность. Опечаленная вчерашним приемом, Мария была в восторге от любезности Саши, и мать радовалась счастию детей.

Пришел дядя, и разговор сделался всеобщим. Политические новости занимали тогда всех, а происшествия шли быстро и приближались к роковой развязке. Известие о Бородинской победе, сперва преувеличенной, обрадовало Москву. Все полагали, что враги поражены и что дальнейший путь к Москве им навсегда прегражден. Но когда через два дня узнали, что русская армия продолжает отступать, то всеобщие опасения возобновились и все народонаселение столицы спешило искать убежища в низовых городах.

Леонова объявила, что завтра же выезжает и для большей безопасности в дороге упросила Сельмина ехать вместе с ними. Она приглашала и Сашу, но тот отозвался, что доктор не позволил ему еще вставать.

— Но если французы вступят в Москву, что вы будете делать? — спросила Леонова.

— Я не верю, чтоб Кутузов допустил Россию до такого несчастья, — отвечал Саша. — Но если таков будет жребий войны, то я полагаю, что убежище мое безопасно. Французы, верно, не тронут ни церквей, ни монастырей.

— Вот то-то и худо, что они не щадят никого и ничего... Пожалуйста, посоветуйтесь с *доктором*... Если есть средство выехать, то лучше поедem с нами в нашу тульскую деревню... Мы за вами будем смотреть не хуже ваших врачей... С нами же будет другой больной, и вам вдвоем будет веселее... Право, поедem... Уговорите и дяденьку, чтоб он с нами поехал.

Саша обещал посоветоваться, поговорить, решась наперед отказаться от этой поездки.

Без Сельмина он, может быть, согласился бы, но тут должны были произойти объяснения, которых он старался избегать. Леонова же думала, что Саша боится своей страсти к Марии и из скромности отказывается. Она продолжала убеждать его и сказала, что ввечеру пришлет за ответом.

Когда все разъехались, Саша спросил дядю:

— Правда ли, что Москва оставлена будет без боя?

— Я не мешаюсь, друг мой, в дела мирские... Но слишком люблю мое отечество, чтоб не скорбеть о наших несчастиях... Кажется, занятие Москвы французами — дело неизбежное.

— Это ужасно! Что же вы будете делать? Куда уедете?

— Я останусь. К Леоновой я не могу ехать, потому что дал однажды обет не являться в свет. Да и ты, пока твоя участь не решена, пока согласие отца не возвратит тебе твоего имени, не должен думать о женитьбе и, следовательно, завлекать добрую девушку. После этой войны, вероятно, отец твой образумится наконец, и тогда ты можешь явиться к ней.

— Так вы решительно остаетесь в Москве?

— Да, друг мой, здешний добрый пастырь дал мне убежище — и я не покину его.

— Но если злодеи действительно не щадят и храмов Божьих? Если не уважают и здешнего убежища?

— Тогда я их заставлю уважить человека, который умеет умереть без страха.

— В таком случае и я с вами остаюсь.

— Для чего? Ты имеешь свои обязанности, которые также святы. Ты послан сюда для того, чтоб вылечиться и снова стать под знамена отечества. Твое настоящее место там. Здесь ты только гость мой — и если враги вступят сюда, то ты поступишь безрассудно, оставшись со мною... Тебя объявят военнопленным и отвезут бог знает куда.

— Военнопленным!

Эта мысль сильно поразила Сашу. Потеря свободы никак не приходила ему в голову. Но оставить и дядю на произвол врагов казалось ему величайшею неблагодарностью. Изобретательный ум его тотчас же придумал средство, как согласить свою безопасность с привязанностью к дяде.

— Да зачем же в таком случае объявлять нам, что я офицер русской армии? — сказал Саша. — Я просто здешний житель, пожалуй, монастырский служка! Я человек больной, и, вероятно, меня оставят в покое. Мне даже кажется, что я с вами буду безопаснее, нежели по большим дорогам.

Пустынник задумался. Саша был прав: стоило спрятать его одежду и оружие, стоило сказать, что он больной служитель монастыря. Притом же если французы займут Москву, то где остановится нашествие их? Где может Саша найти безопасность?.. Все эти мысли заставили самого дядю полагать, что племянник может остаться при нем. Неясность же Саши и убеждения довершили его решимость. Он согласился на жела-

ние Саши, а когда ввечеру Леонова прислала за ответом при самой любезной записочке, то Саша отвечал, что доктор не позволил ему ехать.

На другое утро Леоновы приехали проститься, и на этот раз Мария взяла на себя уговорить и убедить Сашу. Он был нежен, любезен, но непреклонен. Он обещал писать к ним по мере возможности, а в случае скорого выздоровления обещал даже приехать к ним в деревню, если русская армия будет недалеко от мест. Делать было нечего. Со слезами на глазах простились они, и на этот раз Мария сама обняла Сашу и поцеловала.

Оставшись один, Саша не мог удержать своих слез. Он теперь вполне почувствовал свое одиночество и несчастье. Теперь все мысли его, вся привязанность души сосредоточились на одном предмете: на матери. У него была добрая, любящая мать, и это одно могло заставить его переносить все бедствия. Если б он мог страдать вместе с нею, то всякое горе жизни казалось бы ему ничтожным... А отец... увы, он чувствовал, что у него не было отца! Ненависть Зембина к созданию, которое было во всем невинно, лишило его детской любви и семейного счастья. Он отчуждал своего сына от родительского дома и отцовских объятий, но не мог его вырвать из сердца матери. Это святилище оставалось неприкосновенным. Саша не знал еще настоящей причины ненависти отца.

Скоро летели дни за днями, и 2 сентября, день вечно печальный для Москвы, наступило.

У Дорогомиловской заставы стал Наполеон и требовал, чтоб выслали ему депутатов и ключи. Он воображал себе, что это Милан, Вена, Берлин, Мадрид. Жестокая ошибка!.. Это была *Москва*, которая видала, правда, не раз в стенах своих неприятелей, но никогда не приветствовала их, не унижалась, не угощала. И теперь она отвечала гордому победителю всей Европы могильною пустотою и мертвым молчанием. У нее не было ни ключей, ни жителей. Остались только те, которые не могли уйти или которым нечего было терять, но и те готовили ему вовсе другую встречу, нежели ту, какой он ожидал.

Французы вступили в Москву... За три месяца тому назад кто из русских вообразил бы себе подобное бедствие!.. Весть эта громовым раскатом раздалась по всей Европе... и никто не воображал, что будет через три месяца! Все почти бежали из Москвы, но известная особа, жившая в этом монастыре, оста-

лась, потому что сильный недуг поверг достойного их пастыря на одр болезни.

Все жители монастыря не хотели его оставить. Далее врач его остался, чтоб ускорить его выздоровление, потом вместе с ним уехать. Итак, Москва была занята французами.

Пустынник с печальною торжественностию объявил об этом Саше, и тот в первую минуту ужаса умолял его уехать, спастись бегством. Но, видя хладнокровную твердость его, сам успокоился и взял меры к своему превращению в монастырского служку. Платье, оружие и бумаги были спрятаны, один только Владимирский крест Саша оставил при себе и не хотел с ним расстаться.

В это время Саша, видимо, уже поправился. Молодость была лучшим его лекарем. Рана быстро заживала, и он весело ходил уже по всему монастырю, приготавливая с дядею оборонительные средства, если бы случилось, что у стен этой обители произойдет какая-нибудь беда.

Теперь же, когда узнали, что враги вступают в Москву и что русская армия без боя отступила, все возможные меры сделались бесполезны.

— Любезный дяденька! Не заложить ли ворота монастыря?..— сказал Саша.— Не найдя входа, французы, может быть, и оставят эту обитель без внимания...

— Нет, друг мой! — отвечал дядя.— Если не заложили ворот Москвы, то наш монастырь не удержит врагов. Да совершится во всем воля Божия. Я всякую минуту готов предстать на суд Всевышнего. Притом же мы с тобою здесь гости и не имеем права распоряжаться; здешний архипастырь вверил, конечно, безопасность обители *мне*, как старому воину, но я только в крайности прибегну к сопротивлению. А как всякая минута будет теперь угрожать нам опасностью, то я должен еще сообщить тебе многое.

Тут дядя вынул какой-то сверток бумаги из своего ящика и отдал Саше.

— Вот тебе, друг мой, мое завещание и история всей моей жизни. Если пребывание врагов окончится благополучно, то ты возвратишь мне этот пакет *нераспечатанным*, потому что он написан только на случай моей смерти... Если же Богу угодно будет воззвать меня к лучшей жизни, то ты прочтешь его и отвезешь твоей матери и отцу.

— Отцу! — печально повторил Саша.— Разве у меня есть отец?..

— Когда он прочтет все это, то, вероятно, почувствует всю свою несправедливость...

— Где же я сохраню этот драгоценный залог? Злодеи, которые придут сюда, очень легко могут меня лишить этого сокровища...

— Они могут лишить нас обоих и жизни... Но я о себе и не забочусь. Тебе только приказываю спастись, если увидишь, что это будут звери, а не люди... Пойдем, покуда еще можно. Я укажу тебе средство к спасению. Возьми с собою и мой сверток.

Пустынник повел его в одну из монастырских церквей, которой древность восходила ко временам Калиты; тут в алтаре был спуск в подвал. Взяв свечи, они спустились вниз. Мрак и сырость препятствовали им различать предметы. Видно было, что давно уже сюда никто не сходил. Под самой лестницею, по которой они спустились из алтаря, находилась другая спускная дверь, которая вела к какому-то подземелью. Там было еще мрачнее и сырее.

— Нам туда идти не нужно,— сказал дядя.— Я недавно проходил по этому подземному ходу и нашел его не заваленным нигде. По преданиям, служил он во время набегов Литвы и крымских татар. Он выходит теперь в сухой колодезь, который за монастырскою стеною; я велел его расчистить. Выход из колодца очень незатруднителен... Вот, следственно, путь, по которому ты можешь скрыться, если обстоятельства того потребуют. Сверток мой положи под самой нижней ступенькою лестницы. Если тебе нужно будет спускаться в подземелье, то стоит только протянуть руку, чтоб достать его. Тут же ты найдешь и бумажник с деньгами на случай бегства. Теперь пойдем назад... Ты все знаешь... Помни мои наставления.

— Я исполню волю *вашу* в точности, но, признаюсь, не думаю, чтоб мне нужно было бежать и оставить вас...

— Ты не должен оставлять меня, покуда я жив, но если меня убьют, то беги, скройся... и будь счастлив...

— Если б злодеи покусились на жизнь вашу, то я, верно, умру прежде, защищая вас...

— Вот это-то я тебе и запрещаю... Надобно только там бороться, где мы можем победить, но что будут значить твои усилия против бесчисленности врагов? Ничтожное пожертвование жизни, и больше ничего. Нет, друг мой. Если меня убь-

ют, то дай мне слово отомстить за меня не бесполезным паладинством, а стоя под знаменами отчизны православия. Только общие усилия русского народа могут победить этого нового Тамерлана¹. Будь участником в этом усилии, сражайся в рядах русского воинства, и если оно когда-нибудь успеет отбросить фаланги этих двадцат язык за священные свои границы, то на рубеже освобожденной России ты можешь сказать мне: добрый дядя, ты отомщен! Я буду *там* в лучшем мире, но и из горних мест услышу твой голос и возрадуюсь о спасении моей родины. Исполнишь ли ты это, мой друг?

— Клянусь! Свято исполню!

Во время этого разговора воротились они в комнату Саши. Там из окна видна была вся Москва, из которой по всем направлениям все еще бежали жители, и в то же самое время вступали тогда и летучие отряды неприятелей, посланные по всем дорогам для отыскания русской армии. В монастырскую ограду вошло несколько бежавших московских жителей и спросили у служки: осталась ли тут монашествующая братия или скрылась; им отвечали, что настоятель и все монахи остались. Тогда группа бежавших просила позволения видеть настоятеля. Он немедленно их впустил в свою келью, потому что не мог встать с постели. Посетителями были, по-видимому, люди из купечества и мещанства. Один из них, высокий, широкоплечий и седой старик, подошел под благословение настоятеля и, поцеловав его руку, тихо и торжественно сказал ему:

— Зачем вы, ваше высокопреподобие, остались здесь? Все оставили нашу матушку Москву. Все покинули родные пепелища свои. Господь прогневался на нас грешных.

— Наш долг, друзья мои, молить Господа за вас и за всех христиан,— отвечал архипастырь.— Братию мою не мог я уговорить уйти без меня, и мы все остались... Да и что мне могут сделать враги? Оружие мое — молитва. Если они убьют меня, то исполнят волю Господа, судившего мне пасть за веру и царя...

— Вот потому-то мы и зашли сюда, ваше высокопреподобие! Мы знаем вас давно — и знаем, что вы не побоитесь злодеев... Да нам-то жаль стало, что такой богоугодный человек погибнет от поганых рук... Как вы думаете, высокопреподоб-

¹ Тамерлан (Тимур; 1336—1405) — среднеазиатский полководец, создатель мощного государства со столицей в Самарканде.

ный отец, не устроить ли нам тут засады? Не впустить ли этих нехристей и потом, заперев ворота, вырезать всех? Ведь это было бы, кажись, богоугодное дело...

— Во всяком другом месте, друг мой, я бы не сказал слова. Всякий русский должен защищать свою родину и семейство по силам и возможности... Но здесь, в монастыре, в обители, посвященной молитве и посту, я не могу допустить кровопролития, в котором бы сам должен был участвовать... Нет, друзья мои! Выберите себе другое место; я благословляю всех и каждого на подвиг бранный...

Все преклонили головы и перекрестились.

— Куда же вы теперь идете, друзья мои? — спросил настоятель.

— Никуда, ваше высокопреподобие. Мы — московские жители и решились остаться на своих пепелищах... Все бежали из Москвы и хорошо сделали. Останься все — и врагу досталась бы несметная добыча, а теперь...

— Ему, кажется, еще более останется, когда хозяев нет...

— То-то и есть, что ничего не достанется этому антихристу... Ведь и мы такие же русские, как смоляне, вязьмичи и другие православные люди, которые зажигали собственные свои дома при появлении еретиков. И мы сделаем то же... Пусть враги погреются около пепла наших домов.

Настоятель задумчиво покачал головою:

— Я не могу быть судьей в ваших намерениях и думаю, что каждый из вас не только имеет полное право зажечь и истребить свой дом, но что даже этим докажет свою преданность к святой Руси и православной вере... Подумайте, однако, друзья мои... Ведь, зажигая свои дома, вы легко зажжете и другие, которых хозяева вам не давали права на это. Вы сожжете и храмы Божии, и казенное имущество... А вам поручал ли кто такое дело?

— Никак нет, батюшка! Вестимо, что не поручал... Да ведь и до сих пор никто не приказывал по дороге жечь, а православные жгут себе, да и только... Ведь все те, которые бежали из Москвы и оставили врагу свое имение, наверное, не надеются получить его обратно в целости... Божьи храмы, конечно, было бы великий грех сжечь, но ведь сегодня же во всех церквях будут французские конюшни, так уж они и без того осквернены будут... казенные же дома... Уж, конечно, не для того оставлены, чтоб неприятели в них пировали и прохлаждались... Нет, батюшка! Поверьте! Дело наше доброе и русское. Мы — про-

стые гостинодворцы¹... кто каретник, кто ветошник. Но мы — русские, все православные. Товарищи наши бежали, забрав у кого кое-какие деньжонки на пропитание. Товары же все оставили... И мы у них спрашивали... хотят ли де они, чтоб это все досталось басурманам, или согласны, чтоб мы их запалили... Все они, батюшка, рукой махнули и перекрестились... Нет! Уж воля ваша, а делу быть так. Врагам нашим ничего не достанется! Вот поэтому-то мы и думали просить вас, чтоб вы с братией удалились куда подальше...

— Что Богу угодно, то и будет. Я не в силах уехать и останусь, друзья мои. А вы делайте, как знаете. Я не могу ни запретить вам, ни одобрить ваш поступок. Я буду только молиться за вас и за всех православных. Да воскреснет Бог и расточатся врази его!

С набожностью повторила вся толпа это изречение.

— Молитесь за нас, преподобный отец! Вспоминайте о нас в своих молитвах. Ведь уж, верно, и нам несдобровать. Да уж мы на то идем. Господь наградит нас на том свете, если враг и лишит живота... Покуда мы живы, то послушайте, батюшка: если вам приключится какая-нибудь нужда, если потребуется защита противу неприятелей, то велите только зазвонить в большой колокол. Мы здесь поблизости назначили сборное место и тотчас явимся.

— К земному оружию я не буду прибегать, друзья мои. Если помощь Всевышнего не спасет меня, то я готов умереть. Ступайте теперь с Богом... я очень ослабел.

Еще раз настоятель благословил всех и каждого, и все удалились. Все пошли в монастырскую церковь, где тогда служили вечерню.

Она уже приближалась к концу, как вдруг послышался на дворе необыкновенный шум, и чрез миг вбежали в церковь несколько французских солдат. Остановясь на минуту у входа, при виде священного служения, они потом громко расхохотались при звуках церковного пения.

Ни монахи, ни прихожане не обратили внимания на это кощунство. Первые продолжали службу, а вторые еще усерднее стали молиться. Тут солдаты подошли еще ближе и при громких разговорах о дурной музыке, терзавшей им уши, сговорились запеть одну из походных своих песен. Но едва раз-

¹ Гостинодворцы — купцы или их сидельцы (приказчики), торгующие в рядах, но не состоящие в купеческих гильдиях.

далось это богохульное пение, как священнодействовавший сшел с торжественностью из алтаря в полном облачении. Ему сопутствовал пустынный в виде переводчика, и сей последний, обратясь к французам, сказал им по-французски:

— Господа! Если у вас нет никакой религии, то не мешайте другим иметь ее. Если вы не уважаете ничего священного, то уважьте старость и усердие слугителей веры... Мы не можем вас заставить выйти отсюда, но просим вас не мешать окончанию божественной службы.

При первых звуках французского языка все солдаты замолчали и с удивлением слушали пустынного.

— Смотри-ка! Старик из порядочных людей! — сказал один запевало.— И по-французски говорит... Ну, ладно, стари-нушка. Мы тебе не мешаем, пой себе сколько душе угодно, только музыка-то у тебя плохая... Мы хотели тебе дать урок.

Все опять захохотали. В ту минуту вошел какой-то штаб-офицер, пустынный, увидя его, обратился к нему:

— Если вы, милостивый государь, имеете какое-нибудь влияние над этою толпою, то скажите ей, что смех, кощунство и дерзости в храме Божиим доказывают одно невежество и бессмысленность. Права победителей могут относиться к нашим имуществам и жизни, но не к вере.

Солдаты зашумели было снова, но громкое приказание штаб-офицера остановило их. Он им велел выйти и сам последовал за ними.

Когда служба кончилась и пустынный возвратился в свою комнату, то увидел, что уже она занята тем самым штаб-офицером, который выгнал солдат из церкви.

— Вы извините меня, господин аббат, приор или епископ, право, не знаю вашего звания,— сказал он очень веселым, однако же решительным тоном.— Это, вероятно, ваша комната, и я, по праву завоевания, занял ее. В вашем монастыре будут стоять две артиллерийские роты, которыми я имею честь командовать. Людей я размещу по вашим кельям, а для лошадей принужден буду занять одну из ваших церквей. У вас их здесь много в монастыре, и я вам любую оставляю для вашего употребления... Дисциплину между солдатами моими буду я сохранять самую строгую, но и вас прошу также не оскорблять их слишком усердным фанатизмом. Я очень уважаю религию и полагаю, что все вероисповедания равно хороши. Один только фанатизм равно дурен везде... Я рад, что вы говорите по-французски. Это доказывает, что вы просвещенный человек и,

следовательно, мы пойдем друг друга. Пойдемте теперь со мною и распишем ваши кельи, порядок нужен везде...

— Хотя здесь есть начальник,— отвечал пустынник,— но он болен и поручил мне заведовать мирскою частию монастыря. Вы заняли мою комнату, и я не противлюсь, хотя у меня и больной сын. Прежде всего, прошу вас всем священным не трогать кельи самого настоятеля. Он болен и не встает с постели. Если б не это обстоятельство, то монастырь давно уже был бы пуст. Теперь мы все ждем его выздоровления. Во-вторых, если вам угодно выгнать всех монахов из келий, то где же они поместятся, господин полковник?

— Я уж сказал, что отдам вам любую церковь для вашего употребления. Следственно, вы можете там и жить и спасаться... Впрочем, я бы вам советовал убавить на время число вашей *братии*. Ваши московские *бояре* все удалились, так и монахи могли бы то же сделать. И тем и другим было бы веселее. Здесь же я боюсь за них, а особливо за их желудки. Говорят, они любят покушать, а я все монастырские припасы взял уже в свое распоряжение. Это первое право и обязанность войны. Если б русские не были *варварами*, то не оставили бы своей столицы: рынки были бы открыты, солдаты имели бы правильное продовольствие из магазинов, и собственность каждого была бы неприкосновенна... Теперь же мы должны сами о себе заботиться. Наши должны себе отыскивать квартиры и припасы. Дисциплина от этого терпит, а от потери дисциплины более всех будут терпеть жители.

— Те, которые решились остаться в такое несчастное время, решились, значит, и терпеть. Духовенство же наиболее обязано подавать к этому пример. Страдания и унижение были уделом нашего Божественного законодателя. Мы его служители и должны...

— Знаю, знаю, господин аббат. Избавьте меня от теологических рассуждений. Я до них не охотник. Вы сами можете быть очень добрым и почтенным человеком, но ваше звание... извините, кажется мне совершенно лишним и бесполезным для людского общества. Признаюсь, я никак не ожидал столько просвещения в русском монахе... Вы прекрасно говорите по-французски, и это делает вам честь. Это одно заставляет меня питать к вам полное чувство уважения и оставить вас и всю *братию* в монастыре, тогда как первою моею мыслию было попросить вас всех оставить эти стены...

— Это можете вы сделать во всякое время... Это вы уже сделали, выгнав нас из наших келий, превратив храмы Божии в конюшни и отняв у нас пищу... Но я уже сказал вам, что, покуда не выздоровеет настоятель, мы будем терпеть и молиться... Московские жители не оставят нас без пищи.

— Но в Москве нет жителей, господин аббат. Эти варвары ушли, и когда наш император подъехал к завоеванной им столице, то даже не нашел ни одного порядочного человека, чтоб составить депутацию и поднести ему ключи города.

— Слава богу! Значит, московские жители чувствуют собственное свое достоинство... Они оставили вам все, но народную свою гордость унесли с собою.

— Прекрасно! Так и вы одобряете этот *варварский* поступок! А я было принял вас за просвещенного человека... Извините... Ошибся! Желал бы только знать, что через это выгадает ваша нация? Разве оставление Москвы помешает великой армии разбивать везде ваше войско? Разве вы не принуждены будете вскоре же просить мира у нашего императора?

— Я не занимаюсь политикою и не знаю намерений моего государя, но уверен, что, отдав Москву, свою первопрестольную столицу, без боя, он тем самым доказал, что готов на все жертвования, чтоб сохранить честь своей короны и достоинство имени русского.

— Он лучше бы сделал, если б не пустил нас в Москву... Но смешно и думать бороться с Наполеоном. Пора бы вам одуматься... Вы все это делаете для англичан, а они не только не помогут вам, но еще продадут вас...

— Господин полковник! Не угодно ли вам кончить этот разговор? Я полагаю, что вы тоже человек просвещенный и, верно, чувствуете, что мне неприлично слушать оскорбительные отзывы о моем отечестве... Защищать его пред вами я не буду. У нас один Бог — судья всех дел. Отвечать вам такими же фразами про Францию и про Наполеона я не намерен... Это противно моим понятиям о величии его сана...

— Да я бы вам этого и не советовал... То был бы большой риск с вашей стороны... Ну, так вам не угодно идти со мною расписывать ваши кельи?

— Я нахожу, что это бесполезно. Вы их заняли, и я должен уступить силе... Я велю всей братии переселиться в небольшую зимнюю церковь... Прикажете своим солдатам не ходить к нам и не оскорблять нас... Позвольте московским жителям

носить к нам припасы и молиться с нами во время богослужения... Все же наше имущество вы можете взять...

— Благодарю за позволение... Личное ваше имущество останется при вас. Французская армия не грабит жителей... Но монастырское богатство принадлежит нашему императору по праву завоевания. Когда завоеванные провинции не могут платить контрибуций, то для нужд армии надобно самим брать их... Прощайте, господин аббат... Разговор наш кончен. Впрочем, я рад, что познакомился с вами. Я сегодня же донесу императору о вас. Русский монах, который говорит по-французски,— редкое явление.

Полковник насмешливо поклонился пустыннику, который не полагал нужным объяснять ему, что он вовсе не принадлежит к духовному званию. Он поклонился и вышел. Вся братия смиренно стояла на дворе, осыпаемая плоскими шутками французских солдат. Пустынник объявил всей братии, чтоб они перенесли свое имущество в зимнюю церковь (это была та самая, в которой был подземный ход), и Саша должен был туда переселиться. Присутствие и распоряжения полковника сохранили, впрочем, всевозможный порядок в этом деле, и солдаты оставили братию в покое. Они даже не входили к больному настоятелю, и часть братии беспрестанно ему прислуживала, а пустынник получал от него все приказания.

Через час вся внутренность монастыря была преобразована. Орудия стояли вокруг соборной церкви, для зарядных ящиков заняли другую церковь и приставили обыкновенный караул; лошади были помещены в главном храме; люди размещены артелями по кельям; у кладовой тоже поставили караул, а все монахи поместились в теплой церкви. Ночь уже наступила, и пустынник взошел на колокольню, чтоб посмотреть на пленную Москву. Он трепетал, вспомя слова купцов и мещан, недавно у него бывших.

Они не обманули его. Около полуночи показалось сильное пламя над гостиным двором и в то же самое время в разных отдаленных кварталах. Не скоро могли сонные французы заняться пожаром. Напрасно бой барабанов созывал их: большая часть была утомлена усталостию и вином. Да и какое им было дело тушить пожар неприятельского города! Только Наполеон, которого разбудили этим известием, чувствовал все вредные последствия, если пожар распространится, и велел употребить все усилия, чтоб потушить его. Бросились везде

отыскивать пожарные инструменты, которыми русские всегда славились: все было увезено или истреблено. Надобно было употребить ручные средства, а этого было недостаточно. Солдаты шли и действовали неохотно, офицеры еще ленивее расставались с теплыми постелями для цели, которая им казалась совершенно постороннею. Вскоре увидели, что надобно только довольствоваться ограждением от огня ближайших зданий; горящих же нельзя было спасти.

ГЛАВА IV

Как прошла ночь, и утреннее солнце осветило самую печальную картину. Густой дым расстилался над Москвою. Целые батальоны сменялись один другим, чтоб тушить пожар, но вместе с тем солдаты ходили по домам и грабили. Французские генералы старались восстановить порядок и дисциплину, но их слушались только в минуту их появления куда-нибудь; как скоро же они уходили, солдаты принимались за прежнее.

Впрочем, никто еще не знал настоящей причины пожаров. Наполеон приписывал их неосторожности и своевольству своих солдат и издал строгие приказания. Вскоре, однако же, донесли ему, что поймали несколько русских, которые поджигали дома. Это изумило его и ожесточило. Он велел расстреливать каждого пойманного в зажигательстве. Бесполезный труд! Пожары умножались, усиливались, и французам приходилось работать целые дни, часто с опасностью жизни.

С невыразимою грустию смотрел пустынник на это ужасное зрелище. Поутру явились в монастырь из Москвы к божественной литургии те же лица, которые были накануне, и, как скоро узнали, что французы отняли все припасы у монастыря, поспешили принести все, что можно было отыскать в Москве. Впрочем, они еще раз уговаривали всю братию оставить обитель и брались проводить ее в безопасное убежище, но все остались непреклонными.

Около обеда явился в собрание монахов главный постоялец их и объявил пустыннику, что Наполеон желает его видеть и дал приказание на другое утро привести его к себе в Кремлевский дворец.

— Есть ли у вас своя карета, господин аббат? — спросил полковник. — Вам надобно приличным образом приехать к императору.

— Я никогда не оставляю монастыря, следственно, не имею надобности в подобных предметах роскоши, — отвечал пустынник.

— Ну, так я велю привезти из города... Там ваши бояре оставили пропасть экипажей. Когда мы отсюда выступим, то у каждого офицера будет своя коляска.

— Дай бог, чтоб это только скорее случилось, — холодно отвечал пустынник.

— Э, э! Как вы торопитесь, почтенный господин аббат! Ваш народ так славится своим гостеприимством: мы пришли к вам с визитом, а вы и недовольны.

Пустынник угрюмо молчал. Ему показалось неприличным продолжать подобный разговор. Но словоохотливый француз продолжал говорить и расспрашивать обо всем. Пустынник принужден был отвечать, хотя сухость и односложность его ответов давали чувствовать полковнику безвременность его шуток. В это время монашествующая братия собиралась за трапезу, и полковник хотел видеть, хорошо ли она себя угощает. Он удивился воздержанию их, расспросил, однако, откуда они получают припасы.

Саша был в числе обедавших за общею трапезою, и вид его возбудил все любопытство полковника. Он спросил у него: не умеет ли он говорить по-французски, и, несмотря на увещательные взгляды дяди, тот не мог утерпеть, чтоб не отвечать француззу. Полковник был в восторге от познаний и любезности молодого аббата (так прозвал он его) и во весь обед проговорил с ним.

— Жаль, что ваша больная рука не позволяет вам выезжать, — сказал он Саше, — а то я бы представил и вас императору. Он по всей Москве ищет каких-нибудь людей, которые бы знали французский язык и которым бы можно было поручить управление города. Но, к несчастью, осталась одна чернь и несколько наших соотечественников, которые не могут иметь никакого кредита в народе... Впрочем, как скоро вы выздоровеете...

— Я скорее приму смертный приговор вашего императора, нежели какое-нибудь поручение, противное моему долгу к царю и отечеству, — с жаром и опрометчивостью сказал Саша.

— Вы безрассудны, любезный аббат,— продолжал полковник,— исполнять поручения нашего императора ставят себе за честь коронованные головы... Да и что ж бы тут было противного вашему долгу и совести, если б вы взялись за какую-нибудь часть городского управления? Вы бы оказали этим услугу вашим соотечественникам и, следовательно, самому государю вашему... Теперь нет никакого порядка в городе... от этого страдают и солдаты наши, и сами жители. Нам нельзя соблюдать строгую дисциплину, потому что солдат принужден сам себе доставить все потребности жизни. А тогда...

— Тогда всеобщее проклятие моих соотечественников пало бы на меня, если б я сделался органом воли наших врагов! — вскричал Саша.— Нет, господин полковник, если монахи не могут умереть с оружием в руках, защищая свою родину и церковь, то могут презирать смерть, исполняя свой долг, как верноподданные и христиане...

— Что за энтузиазм, любезный аббат! Вы говорите как гомеровский герой, а не как отшельник...

— Извините, господин полковник, моего сына,— сказал пустынник, желавший давно уже прекратить этот разговор.— Это говорит просто молодость и национальное чувство. Он мог бы просто отвечать, что обеты его звания не позволяют ему ни в каком случае принимать участия в делах мирского управления; а ваш император слишком справедлив, чтоб принуждать к этому насильно.

— Конечно! — отвечал полковник.— Впрочем, мы об этом поговорим в другой раз. Теперь я оставляю вас, до свидания!

Он ушел, и дядя сделал несколько упреков Саше за безвременный его жар и даже за изобличение своего знания французского языка. Потом он отправился к настоятелю и просил его советов и приказаний насчет поездки к Наполеону. Тот объявил ему, что надобно, что даже он ему позволяет назвать себя монахом и просит об очищении монастыря от постоя. Но чтоб не смел принимать никаких поручений от врагов.

Вечеру явились в монастырь к вечерне прежние из московских жителей и опять уговаривали монахов оставить обитель, потому что скоро французам не будет уже пристанища в Москве. Ответ настоятеля был тот же.

Наступила ночь, ужасная, темная, бурная, и для несчастной Москвы — роковая ночь. Уже третий день пожары вспыхива-

ли ежеминутно в разных концах, но деятельность французских войск, руководимая строгими повелениями Наполеона, успевала отчасти останавливать распространение губительного пламени.

Наконец, природа сама решилась содействовать ужасному событию. С вечера поднялся сильный северо-восточный ветер, и как будто пользуясь этим содействием, пожары вспыхнули вдруг в одиннадцати местах. Барабанный бой тотчас же созвал помощь и остальную часть французских войск, расположенных в Москве, и все устремились к грозной борьбе с губительною стихиею. Но ожесточение народа и сила бури слишком хорошо действовали. Там, где не было поджигателей, там ветер переносил огромные головни из улицы в улицу, перекидывал пылающие бревна с дома на дом и разносил миллионы искр по всему пространству Москвы. Прошел еще час — и все эти отдельные массы огня, с непреодолимою силою порываясь друг к другу, слились наконец в один огромный, необозримый, всеразрушающий океан пламени, который, грозно пируя над падшею Москвою, положил предел всем человеческим усилиям. Никакое перо не в состоянии выразить этой ночи! Никакая поэзия не в силах вознестись до этой картины! Никакое воображение даже не может в фантастических своих порывах представить этой грозной действительности. Треск пламени, гром падавших зданий, невыразимый вой огня, могущественно обхватывавшего огромную Москву, оглушающий свист ветра, дружно обнявшего столбы пламени и перебрасывавшего их по всему пространству этого всепожирающего огненного исполина, бой барабанов, бесполезно созывающий бессильные толпы, беготня, суетливость и, наконец, частые и отвратительные сцены грабежа, насильств, поруганий над несчастными остатками населения умирающей Москвы — все это составляло картину непостижимую, ужасную! Пустынник с Сашею и несколькими братьями смотрели на это грозное и печальное зрелище с своей колокольни, и, будучи в двух верстах от города, они едва могли выносить жар от пламени пылающей Москвы. Всю ночь провели они на колокольне, и только благовест к заутрене отозвал их от этого зрелища.

Еще до заутрени явилось в церковь несколько из прежних московских лиц, но уже гораздо в меньшем числе, и старший гостинодворец просил братию отслужить панихиду по шести своим товарищам, погибшим в эту ночь.

— Что же с ними сделалось? — спросил Гавриил.

— Злодеи захватили их в то время, когда они поджигали некоторые дома, и, не дав им далее минуты на покаяние, тут же расстреляли. Но Господь милостив!.. Всеобщие наши молитвы спасут души грешные рабов... Они положили живот свой за веру и Русскую землю.

Пустынник вспомнил того, который обыкновенно приносил ему пищу и разговаривал с ним.

— А бедный Егор Иванович тоже был в числе? — спросил он у старосты.

— О, этот всех лучше сделал было свое дело, да жаль, не удалось. Нечистая сила бережет этого антихриста... А уж он был на ниточке от смерти...

— Кто? Наполеон?

— Вестимо, сударь! Уж тогда бы всему конец, если б удалось...

— Что ж он сделал?

— Да вот извольте видеть... мы все подкладывали огонь как можно ближе к Кремлю, где в царских чертогах поселился этот Божий враг... Бог дал нынешнюю ночь хороший ветер, и пламя полилось на Кремль. Несколько раз вспыхивал и там огонь... Да злодеи успевали все тушить... Искры так и расстилались над площадью, и нам слышно было, что несколько пороховых ящиков взорвало от них... Наконец около полуночи Бог помог нам: уже все улицы кругом Кремля были залиты пожаром... Злодею пришлось жутко, хоть он и из адского племени, а, видно, стало жарко... Выжили его из Кремля. Целая ватага генералов высыпала оттуда, и все начали бросаться, как угорелые, куда бы пройти. Не тут-то было! Куда они ни сунутся, огонь так и пышет навстречу... Вот вдруг Егор Иванович, который мараковал по-немецкому, живучи у каретника-немца, вышел из одного пылающего домика и тоже как будто стал искать выхода. Его схватили и начали расспрашивать... обрадовались, когда услышали, что он бормочет по-немецки, и приказали ему вести всю ватагу по улицам к Петровскому дворцу... Егор взялся и повел их... Мы издали радовались и благодарили Бога... Егор вел их нарочно по таким улицам, которые кружились около пожара, и наконец завел их в глухой переулок. Тут уверил он их, что есть проходной дом на безопасную улицу. Этот дом уж горел, и Егор хотел, впусая их, заложить ворота, о, там бы им всем карачун... Что же? Злодеи

смекнули. Один из них сунулся вперед и, увидя пылающие сараи, а вдали целое огненное море, завопил по-своему, чтоб другие не ходили... Все остановились и поняли, что они в западне. Уже и сзади пылал огонь. Они, однако же, бросились назад... Но перед тем какой-то басурман схватил Егора и замахнулся на него саблею. Смерть была неминуемая. Все догадались, что Егор хотел их гибели, и бросились было на него... Но он был малый дюжий... вырвался у поджарого француза, бросился в пылающий дом, взбежал на балкон, стал на колени, сотворил молитву, перекрестился, да и Богу душу отдал... А злодеи-то выпутались из закоулков да ускакали из Москвы в Петровский дворец... Видно, так Богу угодно было... Зато выжили их из Кремля.

— Так уже Наполеон не в Кремле? А он приказал сегодня поутру привести меня к нему...

— Зачем же это, сударь?.. Уж и на вас не хотят ли злодеи руку наложить?..

— В деснице Божией и жизнь моя, и помышление врагов. Не думаю, чтоб нужна была моя смерть... Впрочем, я готов на все...

— Ах, батюшка! Лучше бы оставить на время эту обитель... Поверьте, что они не пощадят и вас... Если б вы видели, что эти разбойники делали в эту ночь в Москве...— Начало заутрени прервало разговор. По окончании же службы москвичи удалились, напоминая настоятелю, чтоб он при малейшей опасности дал им знать звоном большого колокола.

Около обедни явился полковник и спросил пустынника, может ли он отправиться.

— Я исполняю приказание силы и власти,— отвечал он холодно и пошел за ним.

У ворот стояла карета, запряженная артиллерийскими лошадьми.

— Не знакома ли вам, может быть, эта карета? — спросил полковник в пути.— Ее привезли солдаты с первого двора, который встретился... Кто знает, может быть, в ней прежде и часто езжали в Кремль на поклон к царю, а теперь поедem с визитом к французскому императору.

Не отвечая на наглый и насмешливый тон своего провожатого, пустынник вспомнил только рассказ купца о происшествиях прошедшей ночи и сказал полковнику, что он, верно, ошибается и не в Кремль его везет.

— Куда же, господин аббат? — спросил полковник. — Император вчера принимал нас в этом московском тюльери¹ и приказал сегодня поутру привезти вас туда.

— Но в эту самую ночь ваш император оставил Кремль и переехал в Петровский дворец, — сказал пустынник.

Внимательно посмотрел полковник на пустынника.

— Почему вы это знаете? — спросил он его с удивлением. — Вы, кажется, не занимаетесь мирскими делами...

— Московские жители, бывшие сегодня в монастыре, объявили мне об этом.

Полковник несколько задумался.

— Если б вы не сами мне это объявили, — сказал он, — то я бы подумал, что мы окружены шпионами и что вы участвуете в этих занятиях...

— Я предоставляю вам думать что угодно, — с важностью отвечал пустынник. — Не знаю, унизился ли бы я до ремесла, о котором вы говорите; уверен только, что не унижусь до того, чтоб оправдываться перед вами.

Оба замолчали; полковник остановился на первой гауптвахте и спросил о пребывании императора. Ему подтвердили слова настоятеля. Тогда он спросил пустынника, знает ли он дорогу в Петровский дворец или надобно взять проводника.

— Не мое дело знать, куда вы меня везете, — отвечал пустынник, — посмотрите на Москву. Разве можно через нее ехать? Разве в океане пламени существуют улицы и дороги?..

Полковник опять угрюмо замолчал и начал брать провожатых от каждого военного поста. Все это производило остановки, расспросы, ошибки, объяснения, и карета медленно двигалась вперед, объезжая Москву.

Более двух часов проездили они и уже за полдень явились в Петровский дворец. Французская гвардия стояла около него на биваках. Карету везде останавливали и опрашивали. Достигнув приемной комнаты, пустынник был встречен любопытными вопросами генералов и адъютантов Наполеона. Они при первом взгляде на него вообразили, что он привез им предложение о мире. С трудом разуверил их провожатый пустынника, а дежурный адъютант пошел доложить императору о его приезде. Через несколько минут их обоих позвали.

В одной из зал Петровского дворца, наскоро устроенной для временного пребывания Наполеона, стоял этот победитель

¹ Тюльери (Тюильри) — дворец в Париже, одна из резиденций французских королей.

народов у камина и диктовал разные приказания Дюроку и Бертье¹, сидевшим за большим столом, заваленным бумагами и планами. Лицо его было смугло и угрюмо, руки были закинута за спину; величайшая тишина царствовала в комнате. При входе пустынника он быстро и внимательно осмотрел его, и этот взгляд, суровый, проницательный, неотразимый, произвел над ним какое-то безотчетное действие страха и почтения. Входя в залу, он с жадностью хотел всмотреться в этого знаменитого человека, но вдруг принужден был потупить взоры.

— Кто вы? — сурово спросил у него Наполеон и, сам же отвечая на свой вопрос, продолжал: — Монах! Какого ордена?

— У нас нет никакого различия между монахами, ваше величество, потому что права и правила равны для всех.

— И это хорошо! Папа тоже должен бы был уничтожить все эти различия орденов... Вы — аббат, настоятель, епископ?

— Я простой монах.

— Зачем вы остались в Москве? И зачем вся Москва выехала?

— Я остался потому, что настоятель наш болен, и никто из братии не хотел его оставить. Почему же *все* уехали... я не могу об этом знать... Собственно ли это решимость жителей или распоряжение правительства.

— В обоих случаях этот поступок достойный самых варварских времен. Вы в древние времена скрывались от монголов, крымцев, литовцев. Это было естественно!.. Но в девятнадцатом веке, и перед самою просвещенною нациею, это глупо, дико! Это ни на что не похоже...

— Сколько я слышал в своей обители, что Россия испытала теперь те же бедствия, какие были во времена прежних нашествий.

Наполеон вспыхнул. Он уже и прежде был в самом дурном расположении, а теперь гнев его достиг высочайшей степени.

— Но кто же в этом виноват? — вскричал он, подошел к пустыннику и вперил в него пылающие свои глаза. — Ваш народ, ваше духовенство. Вместо того чтоб внушить черни порядок и повиновение, вы подстрекаете ее к убийствам, к зажигательству. Взгляните, сударь! Вот плоды ваших наставлений, вашего фанатизма!

¹ Дюрок Мишель Жерар (1772—1813) — маршал Франции, участник всех походов Наполеона; Бертье Луи Александр (1715—1815) — маршал Франции, военный министр, до 1814 г. — бессменный начальник штаба Наполеона.

При этом слове он схватил пустынного за руку, подвел его к окну и указал на пылающую Москву.

— Да, сударь! Это *ваше* дело! — продолжал он с величайшим гневом. — На вашу голову падут проклятия тысячей. История покроет вас вечным пятном... Что это? Не в силах будучи защищать своих городов и сел, вы их малодушно зажигаете и сами бежите в леса! Прекрасное просвещение, удивительный патриотизм! Труды целых веков, богатства многих поколений, памятники искусства, древности — все это предано пламени! А на что? Что вы мне через это сделаете? Разве я не могу двинуться в Калугу, Тулу, Владимир? Ваша армия, верно, не мешает мне. Она не умела защитить и Москвы... На что же эта бессильная злость, это варварство, достойное готов и вандалов!..

Он остановился. Видно было, что, предавшись всему порыву своего гнева, он вдруг вспомнил о величии своего сана и безвинности стоявшего перед ним человека. В это время пустынный, который недавно не мог вынести его взгляда, мало-помалу ободрился, и, когда надобно бы было полагать, что выражение гнева Наполеона приведет его в совершенное замешательство, он, напротив, вдруг одушевился, слыша несправедливые обвинения и укоризны русскому народу.

— Ваше величество! — сказал он с важностию и твердым взглядом. — Я простой монах, но я русский и смею сказать вам, что вы несправедливы. Никогда еще Россия не показывала столько геройства, единодушия и преданности к царю. Народ наш видит нашествие врага, предводящего силами всей Европы, и решился умереть или победить. В сожжении Москвы и в самовольных пожарах деревень вы видите поступок варварства; мы видим в нем величайшее самоотвержение и решимость. Мы отступим до Урала, превратив все в пустыню, но не покоримся чужеземному игу. Вы привели сюда всю вооруженную Европу, и армия наша была слаба, чтоб противостоять вам; но, победив войско, вы никогда не победите народа, который решился пожертвовать всем, чтоб сохранить свою независимость и достоинство. Завладев Москвою, вы думали предписать законы России и великому ее монарху, но русский народ сожжением Москвы доказывает всем, что сила России не в стенах Кремля и не в громаде зданий... Сила наша в Боге и твердой воле, в преданности к государю и в любви к отечеству. Их вы не в состоянии победить.

Он замолчал. Наполеон с изумлением смотрел на прекрасное и одушевленное лицо старца, так смело презиравшего гнев его. Все окружавшие Наполеона ожидали ужаснейших следствий его вспыльчивости; напротив, он вдруг сделался тих и даже ласков.

— Вы очень смелы, господин монах,— сказал он ему и дружески положил ему руку свою на плечо.— Но я извиняю вашу ревность. Я люблю видеть людей, искренно преданных своему государю и отечеству. Только вы смотрите на вещи с ложной точки зрения... Можно быть патриотом, но не должно быть фанатиком... Первое чувство производит героев, второе порождает равальяков¹. Вы знаете ли, что ваши зажигатели хотели было в нынешнюю ночь завести меня в лабиринт огня?

— Знаю, ваше величество.

— Как — знаете? — вскричал Наполеон и почти отскочил от него.— Почему вы знаете? Кто вам сказал?

— Кажется, моя обитель осталась одна, в которой православные могут слышать божественную службу. Каждый день толпы оставшихся московских жителей приходят к нам молиться и рассказывают об ужасах, совершающихся в несчастной столице.

— Что ж вам рассказывали о сегодняшней ночи? — спросил Наполеон и устремил на пустынного проницательный и беспокойный взор.

— Мне говорили, что пожар, усиленный ужасным вихрем, охватил все улицы около Кремля, что вы принуждены были оставить его и что один из жителей, взявшихся проводить вас, завел в глухой переулок, из которого не было выхода и в котором вы были в большой опасности.

— И вы, сударь, одобрили, благословили этот замысел? — грозно вскричал Наполеон.

— Я молился за душу погибшего, и это был мой долг. Когда законы осуждают величайших преступников, судьи допускают к осужденному священников, чтоб принять его раскаяние и спасти душу.

— Так этот злодей точно погиб?

— Он сгорел в том самом пламени, в которое вел он вашу свиту и вас.

¹ Р а в а л ь я к Франсуа (1578—1610) — французский террорист; убил кинжалом Генриха IV, короля Франции.

— Достойный конец фанатика!.. Послушайте, однако... к вам эти люди ходят, рассказывают... может быть, даже советуются. Я очень уважаю ваше звание, но никогда не щажу заговорщиков и фанатиков... И если вы для подобной цели остались в Москве...

— Ваше величество! Я не заслуживаю этого оскорбления... Прежде моего духовного звания я был русский дворянин и даже старый солдат.

— В самом деле! — весело сказал Наполеон и, с доверенностью подойдя к нему, взял его за рясу.— Зачем же вы променяли самое благородное звание на бесполезное?

— Это будет слишком долго рассказывать, ваше величество... Есть в жизни обстоятельства, в которых мы становимся чуждыми для всего мира, и тогда один Бог, уединение и молитва остаются нашим прибежищем... Но смею сказать, что вы слишком неблагоприятно судите о моем теперешнем звании. Из истории вы, верно, знаете очень много примеров, что из нашего звания были самые добродетельные и полезные люди... А в нашем отечестве эти примеры на каждой странице народного бытописания.

— Да! Знаю и очень уважаю дух вашего духовенства. У нас на Западе оно было причиною вековых кровопролитий и народных распрей. У вас оно, напротив, всегда было послушно властям и никогда не мешалось в политику... Это всего лучше... А где ваш монастырь? Покажите мне на плане Москвы...

Он подвел его к столу, на котором разложен был план столицы, утыканный разноцветными булавками, означавшими расположение французских войск. Пустынник указал.

— У вас стоят двадцать восьмая и двадцать девятая батареи... Довольны ли вы постояльцами? Не было ли каких обид?

— Права войны извиняют многое, и мы не жалуемся, ваше величество. Но если бы можно было оказать нам милость и вывести из монастыря солдат... Настоятель мне поручил просить об этом ваше величество...

— Теперь это невозможно. Напротив, я еще более помещу туда. Пожар лишил войско всех способов размещений. Я не виноват, я должен беречь солдат.

— Так, по крайней мере, позвольте нам беспрепятственно молиться и отправлять божественную службу; мы будем довольны.

— Можете! Я не только не мешаю вам, но очень сожалею, что большая часть ваших собратий оставила Москву. Если б

они остались, то чернь не осмелилась бы зажигать и злодействовать... И теперь, так как вы почти одни, то советую вашему настоятелю и вам употребить все ваше духовное красноречие и влияние, чтоб остановить это варварство, которое ни к чему не ведет. Исполните ли вы это?

— Вероятно, наши советы не имели бы никакого влияния и прежде на решимость народа... Теперь же, ваше величество, взгляните на Москву... Кажется, всякие советы уже поздны...

Досада видимо вспыхнула опять на лице Наполеона. Он начал с беспокойством ходить по зале. Наконец какая-то мысль снова прояснила пасмурное чело его. Он подошел к пустыннику и ласково спросил:

— Есть ли у вас родственники или знакомые при дворе Александра?

— Нет, ваше величество! Я оставил мирское общество еще до вступления на престол нынешнего императора.

— Знаете ли вы, куда отступила ваша армия?

— Нет, ваше величество! Я не мешаюсь в политические дела.

— И в армии у вас нет родственников и знакомых?

— Может быть, и есть, но я не имею с ними никаких сношений.

— Желаете ли вы добра своему отечеству?

— Я русский.

— Думаете ли вы, что хороший и выгодный мир со мною будет полезен для России?

— Война — бич Божий, а мир — благодеяние для народов.

— Вы правы! Я с самых молодых лет вел войну, но никогда не любил ее. Меня всякий раз принуждали обнажать меч. Все континентальные войны Европы делались в угождение англичанам. Теперешняя война тоже. Она совершенно противна выгодам России. Я и не думал начинать ее. Какой-то фатализм увлек меня и Александра. Он был моим искренним другом. Еще недавно в Эрфурте¹ мы жили как родные братья. Я уверен, что он и теперь любит меня тоже, как я его... Но кабинетные интриги разлучили нас. Мы начали войну, войну ужасную. Признаюсь, я никогда подобной не видал... Я всегда уважаю русскую армию. Она славно дралась под Аустерлицем, но я разбил ее. Она еще сильнее оспаривала у меня победу при

¹ Эрфурт — город в Восточной Германии.

Эйлау, но опять была побеждена под Фридландом. Теперь я вошел в Россию с четырехсоттысячною армиею. У Смоленска, у Можайска русские опять дрались хорошо, но опять были побеждены. Только с этой минуты война приняла самый печальный оборот, самый неестественный ход. Вместо того чтоб военный и политический вопрос решить на поле битвы, против меня вооружают чернь, пожары и опустошение. Я повторяю, что это варварство. Это совершенно разорит, испепелит Россию. Я этого не хочу. Я не враг ни народу, ни царю вашему. И тот и другой заслуживают полное уважение. Вы должны занимать высокое место в системе европейских держав. Это было мое всегдашнее мнение. Пора окончить кровопролитие. Мы довольно пролили крови. Я возьму Тулу, и Россия будет обезоружена. Но повторяю вам, что искренно желаю мира, мира прочного, полезного, выгодного для обеих наций. Ваш император, вероятно, то же чувствует, верно, то же желает. Но может быть, самолюбие запрещает ему сделать первый шаг. Он не хочет, чтоб потомство сказало, что он просил мира. Пожалуй! Я не так самолюбив и готов первый сделать это предложение... Только дипломатические средства всегда очень медленны... мне бы хотелось все это сделать проще, скорее... Не хотите ли вы взяться за это? Вы себе открыли бы самую приятную страницу в народной истории и право на благодарность отечества. Вы бы могли ехать в Петербург к своему императору и пересказать ему наш теперешний разговор. Он, может быть, не знает всех несчастий Москвы. Опишите их ему. Бедствия народа тронут его сердце. Он добр и великодушен. Скажите ему, что я готов на всякие пожертвования, чтоб окончить эту чудовищную войну... Пожалуй, я оставлю Москву, отойду к Вязьме... Мы заключим перемирие... и займемся условиями прочного и полезного мира... Что? Как вы думаете? Хотите ли вы участвовать в таком прекрасном деле?

Наполеон замолчал и обратил испытующий взор на пустынного, который, опустя глаза, как будто колебался и придумывал ответ. Вдруг он поднял взоры свои, взглянул на пылающую Москву, покачал головою и с твердостью отвечал:

— Как бы я счастлив был, ваше величество, если б когда-нибудь мог оказать отечеству моему подобную услугу... Но я не смею оставить своей обители, а еще менее смею мешаться в столь важное поручение... Могу ли я, простой служитель

алтаря, знать намерения моего монарха? Не заслужу ль я справедливого негодования его, когда явлюсь перед лицом его с таким неожиданным предложением. Вы сказали, сударь, что война приняла самый неблагоприятный вид... И что же теперь остановит ее, кроме совершенного изгнания врагов? Народная война иначе не может окончиться... Взгляните на Москву и судите, какие пожертвования могут вознаградить России эту потерю? Мир уврачуе, конечно, ее раны, но этот мир должен быть приличен России и твердости ее великодушного монарха. Могу ли же я, слабый, ничтожный человек, вмешаться в столь великие вопросы? Усердие может ослепить меня. Я теперь думаю, что мир был бы значителен для России, а кто знает, не обременит ли потомство проклятием память того, кто теперь осмелится говорить о мире при виде пылающей Москвы? Нет, ваше величество! Избавьте меня от подобного поручения. Оставьте меня в моей обители молить Бога за моего государя, за верный народ его и православную церковь. У вас столько есть средств к сношениям... Употребите их... Я не смею принимать на себя подобного поручения...

Наполеон грозно взглянул на него и пожал плечами. Пустынник замолчал.

— Фанатики! Фанатики! — проворчал Наполеон сквозь зубы и отошел к камину.

— Если угодно вашему величеству, — прибавил пустынник, — то я по начальству донесу об этом разговоре, и если оно найдет приличным донести о нем до сведения государя императора...

— Не беспокойтесь! Не надобно! — холодно отвечал Наполеон. — Пусть война продолжается. Я верно не боюсь войны. Я умываю свои руки. Бедствие народов не на моей будет совести. Прощайте, господин монах. Вы можете ехать домой. Господин полковник, — он обратился к провожатому пустынника, — отвезите хозяина... К вам присоединятся сегодня еще две батареи... В Москве стоят негде. Прошу вас беречь людей и лошадей. Господина настоятеля и братию его не беспокойте в исправлении религиозных дел... Но прекратите всякое сношение между ним и московскими жителями. Молиться они могут ходить, но разговоров не нужно... Если же что заметите, то поступайте по всей строгости законов. Прощайте.

Полковник поклонился и дал знак пустыннику за ним следовать.

ГЛАВА V

— Как вы худо поступили, господин аббат,— сказал ему полковник во время обратного путешествия,— не согласясь на предложение императора. Вы бы могли сделать много пользы, а теперь сделали много вреда.

— Человек должен, прежде всего, делать то, что ему долг предписывает, господин полковник, остальное во власти Божией,— отвечал пустынник и печально смотрел на Москву.

— Я так же, как император мой, не боюсь войны, но, признаюсь, хотел бы поскорее выбраться из этой враждебной земли. Я был три раза в Германии. О! В тамошних местах война — самое приятное занятие. Везде встречают с отверстыми объятиями, угощают, дарят, забавляют, а здесь!.. Император прав! Это варварство! Это ни на что не похоже!

— Если вас дурно здесь встречают, зато с чувством большого удовольствия будут провожать отсюда,— с насмешкою отвечал пустынник.

— Поверьте, что это не скоро случится... Да и тогда вам нечего будет радоваться. Русская армия, верно, не помешает нашей обратной прогулке.

Оба замолчали и продолжали свой путь в дурном расположении духа.

Пустынник тотчас же по приходе донес обо всем настоятелю, и тот одобрил его поступки. После этого он объявил всей братии о приказаниях Наполеона насчет сношений с жителями. Настоятель призвал свою братию и сказал ей:

— Теперь начнут нас притеснять всеми силами, братья мои, и, следственно, теперь только начнется исполнение наших обязанностей. Страдать за веру и отечество — первый наш долг. Мы не будем нарушать воли победителей, не будем вызывать на себя без пользы их гнев и мщение, но будем молиться и терпеть.

Полковник, с своей стороны, спешил принять все меры к строгому исполнению воли своего императора. Часовые были поставлены у дверей жилища братии, а когда началась вечерня, то и в самой церкви между прихожанами и алтарем расставлена была цепь часовых, которые, разумеется, беспрестанно говорили между собою, смеялись и нарушали божественную службу.

На другое утро московские жители принесли монахам съестных припасов, и тут произошли, разумеется, ссоры и неудовольствия. Только через руки часовых могли перейти эти припасы, и большею частью оставались у них. Когда же москвичи, видя этот грабеж, хотели унести назад свои припасы, французы отняли у них все.

Пустынник пошел к полковнику и, объясняя ему все происшедшее, спросил у него, нет ли, может быть, приказания императора, чтоб уморить всю обитель с голода.

Насмешливо взглянул на него полковник и сказал, что хотя император и не давал подобных приказаний, но что ему очень мало нужды до продовольствия русских монахов. А как главная забота каждого начальника состоит в продовольствии своих солдат, то очень естественно с его стороны, что он будет брать припасы везде, где ему попадутся.

Пустынник, не отвечав ни слова, пошел к настоятелю. Тот собрал свою братию и объявил им о замысле врагов.

— Теперь, друзья мои, делать больше нечего, — сказал он им. — Вы должны все оставить монастырь. Я каждому из вас дам свидетельство, что только голодная смерть принудила вас покинуть свою обитель, и вы везде будете приняты... до тех пор, пока Господь освободит от врагов и святую Русь, и нашу обитель.

Все приступили к нему, чтобы и он с ними удалился.

— Нет, дети мои! — с печальною твердостью отвечал он. — Чувствую, что мне и без того недолго жить... Что же значит несколько дней раньше? Нет! Я остаюсь! Но вы должны в последний раз повиноваться моей воле. Вы должны удалиться. Завтра священный день коронования нашего августейшего монарха. Совершив соборно последнюю литургию, проведем весь день в молитве о спасении царя и святой Руси, а ночью вы уйдете через подземный ход.

Все принуждены были повиноваться. Один пустынник, а за ним вместе и Саша решительно объявили, что не оставят настоятеля. Никто из них и не воображал, что неожиданное событие разрушит все их распоряжения.

Поутру большой колокол созвал всех прихожан к обедне.

Они пришли многочисленною толпою. Зная, что в тот день нет никакого праздника, они догадались, что звон большого колокола означает что-нибудь особенное. Вскоре в церкви сделалась большая теснота, и французские часовые только ударами сабель могли удержать народ. Они потребовали себе под-

крепление, но как полковник в это самое время уехал по делам службы к дивизионному генералу, то старший по нем и велел занять всю ширину церкви плотною шеренгою солдат.

Началась обедня, и больной настоятель, поддерживаемый братиею, громогласно объявил народу, что это последняя служба, потому что неприятели решились их уморить голодною смертью, если братия останется в монастыре, и в эту же ночь все удалятся отсюда. От этих слов произошел в народе сильный ропот и волнение. Часовые догадались, что настоятель говорил не молитвы, и тоже зашумели, требуя, чтоб он не смел обращаться к народу. А чтоб понимать речи его, солдаты потребовали себе молодого офицера из варшавского легиона, недавно прикомандированного и исправлявшего везде должность переводчика. Тот явился и, будучи очень недоволен своим назначением, сел спиною к алтарю. Между тем обедня продолжалась, но шум и беспорядок ежеминутно возрастали. Солдаты, зная, что строгого их полковника нет дома, нагло смеялись над пением и обрядами и заставляли поминутно варшавского офицера переводить возгласы настоятеля. Народ же, видя это кощунство и наглость, волновался и шумел с своей стороны.

Наступала священная минута выноса. Настоятель возгласил августейшее имя государя императора, и этою минутою враги воспользовались, чтоб оскорбить святыню и народ. Услыша наименование Александра Павловича, они вдруг громогласно потребовали, чтоб настоятель возгласил имена Наполеона и супруги его с сыном. Настоятель, не обращая внимания на дерзкие их вопли, продолжал свои возгласы и, окончив, хотел удалиться в царские двери, но несколько солдат выскочили из рядов и остановили его. Приставя сабли к груди и повернув его опять к народу, они потребовали, чтоб он непременно возгласил Наполеона. Народ взволновался, и шеренга французов принуждена была повернуться к нему, выставя острия сабель. Произошел ужаснейший крик и смятение. Над головою настоятеля блеснуло уже несколько сабель, офицер объявил ему, чтоб он для спасения жизни своей поспешил возгласить Наполеона. Тогда настоятель Гавриил поднял священный сосуд над головою, а другую руку простер вперед, требуя всеобщего молчания.

Все мгновенно повиновалось.

— Друзья и дети мои! — воскликнул тогда к народу больной архипастырь. — Помолитесь Господу о мне грешном. Я же

под остриями вражеских сабель возглашаю вместе с вами и со всею Россиею: *Здравие и долгоденствие благоверному и великому государю нашему императору Александру Павловичу и всему его августейшему дому. Спасение и победу православному нашему воинству и святой вере над дерзким пришельцем! Смерть и проклятие врагам святой Руси!..*

Это было последним его словом. Несколько сабель блеснули и вонзились в великодушного старца. С судорожным стоном опустил он святую чашу, крепко прижал ее к устам своим и к груди и тихо опустился на землю. Удары продолжались на него сыпаться и вскоре прекратили жизнь его и страдания. При последнем своем вздохе открыл он глаза, умирающею рукою благословил беснующуюся толпу убийц своих и тихо прошептал:

— Господи! Прости им! Не ведают бо, что творят¹.

Убийство настоятеля было сигналом всеобщей ярости. Безоружная толпа народа с криком устремилась на убийц, и началась рукопашная схватка. Несколько солдат бросились было из церкви, чтоб позвать своих товарищей, но народ успел уже запереть все двери, и тогда злодеям оставалось только дорого продать свою жизнь. Саша, забыв свою рану, был предводителем всей толпы, и пустынный бросился, чтоб спасти его и отомстить за настоятеля. Но — увы! — из первых жертв отчаяния врагов пал и этот великодушный старик. Удар вражеской сабли висел над головой Саши, пустынный как молния бросился на злодея. Удар обрушился на него, и несчастный пал, обливаясь кровию. С воплем отчаяния бросился к нему Саша, но великодушный дядя, обняв его в последний раз, шепнул: «Беги! Беги в подземелье. Именем матери приказываю тебе! Прости и вспоминай обо мне». Разорвав шеренгу французов напором всей толпы народа, легко уже было справиться с отдельными солдатами, которым теснота мешала действовать. Сперва каждый был обезоруживаем, а потом собственным же его оружием предаваем смерти; тела убитых народ клал в виде очистительной жертвы подле настоятеля и пустынного. Вместе с Сашею отличался деятельностью и ожесточенностью староста из гостиного двора. Через четверть часа все французы пали, и староста предложил отворить двери и силою пробиваться сквозь неприятелей, потому что снаружи уже слышен

¹ Рассказ об этом поступке был напечатан в журнале «Сын Отечества», 1813 года.

был барабанный бой, созывавший солдат, которые по крикам и запертым дверям догадались, что с их товарищами что-нибудь случилось. Но Саша вспомнил про подземелье и велел всем спешить к опускной двери. Все бросились туда с зажженными свечами. Саша и староста были последними, но когда Саша начал звать старосту, то тот очень спокойно отвечал ему, чтоб он один удалился.

— Я остаюсь здесь,— сказал мужественный купец.— Я построю над телом праведника могилу, которая будет достойна его и нас. Ступайте скорее и не оставайтесь вблизи монастыря. Бегите по Владимирской дороге. У Гончаровой найдете вы некоторых моих товарищей. Скажите там, что я уже не ворочусь, но что я свое дело сделал.

В эту минуту грянул выстрел из орудия и влетел в церковь. Не успев отворить двери, французы подвезли одно орудие и решились несколькими выстрелами уничтожить это препятствие. Саша спешил скрыться в подземелье, захватив под лестницею и свиток, а староста, сойдя вместе с ним в первый подвал, в котором несколько окон выходили на двор, вылез в одно из них, около которого не видно было французов.

Уходя из церкви, староста взял с собою кадильницу с горящими угольями и с этим странным оружием пробежал незаметно небольшое пространство, отделявшее зимнюю церковь от главной соборной. Тут с удивительною ловкостью взлез он на одно из деревьев, осеняющих храм и распространяющих свои густые ветви над крышею его. Достигнув крыши, он расположился у одного из окон, которые окружали свод. Сильным ударом руки разбил стекла этого окна и просунул свою голову, чтоб посмотреть во внутренность церкви.

Внизу стояло более ста пороховых ящиков, и около них с беспечною ходил часовой. Услышав звук разбитых стекол, часовой взглянул наверх и увидел бородатую голову старосты, с любопытством осматривавшего внутренность.

— Э, э! Приятель! Что это значит? — закричал он ему.— Уж не ворваться ли хочешь? Высококонько забрался. Оттуда ничего не возьмешь.

— Бормочи, проклятая нехристь! — сказал про себя староста.— Вот я те заставлю сделать прыжок.

Тут он уселся на крыше у самого окна и начал раздувать уголья в кадильнице; когда от них показалось маленькое пламя, он начал поддерживать его сухими веточками с дерева, близ коего сидел, и таким образом развел небольшой огонек;

стоящий внизу часовой не мог видеть его занятий, но ему видно было, что бородатая голова все еще тут сидит. Он уже хотел выйти, чтоб крикнуть кого-нибудь, как вдруг сверху из окна полетели вниз пылающие сучья на пороховые ящики, и в то же мгновение показалась опять голова старосты, который с любопытством смотрел на действие своей выдумки. Часовой обомлел от страха и бросился бежать, крича со всех сил: «Помогите! Помогите!» На крик его сбежалось несколько солдат, которые, разломав наконец двери зимней церкви, были поражены изумлением и яростию, не найдя в ней никого, кроме убитых своих товарищей. Почти знаками объяснил им часовой причину своего ужаса. Все прибежали к дверям своего порохового магазина и со страхом увидели, что бородатая голова продолжает бросать сверху горящие сучья на пороховые ящики, посматривая, скоро ли они загорятся. Все солдаты с криками ужаса разбежались — один часовой мужественно бросился между ящиками, не успевшими прогореть, и начал разбрасывать пылающие ветви.

— Проклятый басурман,— сказал староста,— постой же... я тебя погрею.— Тут он снял с себя кафтан, потом рубашку и, зажегши ее, бросил пылающую сверху. Часовой не мог разглядеть, что именно было орошено, но он видел в воздухе целую массу огня, летящего вниз, и, с воплем отчаяния ухватясь за близстоящий ящик, решился тут умереть. Действительно, горящая рубашка обхватила один ящик... прошла ужасная полминута, которая казалась и старосте и часовому целою вечностию, и вдруг струя дыма взвилась кверху, церковь зашаталась, раздался оглушающий треск, стены раздались и с грохотом опрокинулись на воздух, производя жалобный неясственный звон, весь монастырь превратился в развалины, посреди которых стонали раздавленные французы.

Саша и монахи успели в это время выбраться из подземелья и бежали к ближайшей роще. Некоторые бродящие французы, увидя их, бросились было за ними в погоню, но земля заколебалась, раздался оглушающий взрыв, и вся окрестность покрылась летящими камнями и пылью. Саша первый догадался тогда, зачем староста остался, и продолжал бежать по направлению Владимирской дороги. Вскоре, однако, рана его и утомление принудили остановиться. Он просил всех, чтоб они оставили его и продолжали путь, но большая часть осталась для охранения его.

Впрочем, все вскоре увидели, что в эту минуту опасно было идти далее,— ужасный взрыв встревожил все французские корпуса. Отовсюду были видны скачущие отряды; все спешили к развалинам монастыря; все бросились отыскивать несчастных своих соотечественников и ужаснулись зрелища, которое им представилось. Не только люди и члены их были на куски разорваны, но даже самые кости были раздавлены силою удара и тяжести, на них упавшею. Только немногие кончали еще жизнь в жесточайших мучениях, но их напрасно расспрашивали... Бессвязные ответы их ничего не сказали. Русские... подожгли порох...

Вот все, что можно было узнать. Нашли наконец и труп старосты, ужаснейшим образом изуродованный и держащий еще в одной руке кольцо кадила, а в другой — медный крест, висевший на шее. Тем и кончились все розыски.

Уже в сумерки пустились опять в путь Саша с своими товарищами и, идя вдоль опушки леса, наткнулись к утру на казачий пикет. Их опросили и пропустили далее. Чем далее теперь они шли, тем чаще попадались им русские отряды, и беглецы должны были всем рассказывать свое положение. Это утомило Сашу. Он кое-как достал себе телегу, купил офицерскую шинель и фуражку и, простясь с своими товарищами, отправился во Владимир.

Там хотел он отдохнуть и докончить лечение своей раны, но весь город был завален московскими выходцами. Не было ни квартиры, ни даже продовольствия. Только успел он купить себе полную офицерскую одежду и в этом виде, надев свой драгоценный крест, поехал далее, расспрашивая везде о местопребывании русской армии.

Через два дня езды он почувствовал, что рана его разболелась и лихорадка снова вступает в прежние свои права. Это его испугало. Остановясь в одном селе, прилегающем к богатой усадьбе, он послал спросить помещика, не может ли он принять к себе на одни сутки раненого офицера. Вместо ответа сам помещик прискакал верхом и самым радушным образом звал к себе Сашу. После нескольких фраз благодарности Саша поехал с ним и был принят с отверстыми объятиями.

Помещик этот был капитан Иван Васильевич Воинов. Молодость свою провел он, по тогдашнему московскому обычаю, по гостям. Когда он дожил до законного тридцатипятилетнего возраста, то ему сосватали московскую барышню, имевшую тысячу душ, что и составило с его имением более

двух тысяч. После этого каждый догадается, что они жили весело и пользовались всеобщим уважением. Главная усадьба их была между Владимиром и Калугою. В Москве же был каменный дом на Мясницкой.

Уже пять лет прошло, как Иван Васильевич был отцом семейства. У него было четверо ребят; жена его была молода и прекрасна, мужики ее были зажиточны; поля давали всегда благословенный урожай; в лесах было много дичи и зайцев, на сворах у него была целая стая отличнейших гончих и борзых... Одним словом, он был самый счастливый человек! В начале лета, быв приглашен предводителем дворянства во Владимир, он очень удивился, когда услышал там манифест об ополчении и узнал о мерах, принятых Москвою для отражения неприятеля. До этой минуты он даже и не знал, что Наполеон вступил в Россию. Принимая к себе почти ежедневно деревенских своих соседей, он однажды навсегда объявил им, что терпеть не может газетных разговоров, а потому он только вскользь слышал о войне с французами. Впрочем, и воротясь из Владимира, он недолго занимался политическими новостями. Крестьяне были сданы в ополчение, и все пошло по-прежнему. Каково же было его изумление, когда он вдруг узнал, что Москва взята! Это известие решительно ошеломило его. Сперва он не верил тому, но беспрестанные беглецы из Москвы уверили его наконец в печальной истине, потом дошел до него слух, что Москва горит, и он с прискорбием почесал затылок. Ведь у него был дом на Мясницкой! С тех пор он прилежно занялся политикой и каждый день выезжал на большую дорогу, чтоб узнать от проезжих, далеко ли французы. Он уже начинал побаиваться и за свою усадьбу.

Приезд Саши был для него истинною находкою. Офицер, раненый, бежавший из Москвы!.. Он был в восторге и почти на руках принес его к своей Софье Ивановне, прямо в спальню. Та сперва испугалась, потом смутилась, потом удивилась и, наконец, успокоилась. Саша начал извиняться по-французски за себя и за Ивана Васильевича, а против французского языка нельзя было устоять... Софья Ивановна редко его слышала. Благоверный супруг ее учился, правда, смолodu у какого-то мусье, но это было так давно, что он позабыл все, что знал. А знал ли он что-нибудь и тогда, осталось тайною между ним и мусье. Кое-как выжила Софья Ивановна нежданных гостей из спальни и отправила в гостиную. Тут начались расспросы, и такие, что Саша часто и не знал, что отвечать. Иван

Васильевич был просто дитя природы, дюжий, высокий, здоровый, веселый, но, по общественным познаниям, принадлежавший к веку допотопных людей.

— Кто этот Наполеон? Правда ли, что он антихрист? Правда ли, что скоро будет преставление света? Правда ли, что Москва загорелась от дыхания Наполеона? Правда ли, что с ним пришли какие-то чудовища, у которых по семь голов и по сто рук,— и тому подобное.

Саша кое-как отделался от него общими фразами, на которые Иван Васильевич всякий раз восклицал: скажите пожалуйста! Наконец пришла Софья Ивановна, успевшая надеть шелковое платье розового цвета, в котором она пять лет тому назад делала визиты. Тут Саша отдохнул и снова обратился к ней с французскими фразами. Это было несколько досадно Ивану Васильевичу, но делать было нечего. Надобно же было и жене доставить наслаждение, которого она так давно была лишена. Притом же он чувствовал, что русские его вопросы будут худо клеиться к французскому разговору, а как он всегда уверял, что понимает по-французски, только-де сам не может говорить, то и вслушивался рассеянno в быстрый разговор жены своей с Сашею. Наконец, однако же, немая роль ему наскучила: он придумал очень умную штуку. Покуда жена его тут, так надо притворяться знающим французский язык и потому надобно было удалить ее.

— Послушай, Сонечка,— сказал он ей очень ласково,— куда же мы поместим нашего милого, дорогого гостя?

— Да, я думаю, всего лучше в диванную, друг мой,— отвечала жена.

— Ну, так ты бы похлопотала, похозяйничала... Вели девкам приготовить все как следует.

— Помилуйте, Иван Васильевич! — вскричал Саша.— Разве можно беспокоить Софью Ивановну? Я никак не соглашусь... Я еду... Вы и так приняли меня самым дружеским образом. Я не знаю, как благодарить вас... Отведите мне где-нибудь темный уголок... Я солдат — мне ничего не надобно. Я спал и на биваках — на сырой земле, а под головою — бревно...

— Ah, mon Dieu!¹ — вскричала Софья Ивановна, и разговор между ними опять продолжался по-прежнему на французском диалекте.

¹ О, господи! (фр.)

Видя, что невинная его хитрость не удалась, он придумал другое. «Пусть же теперь болтает с ним жена, а я заберусь к офицеру, когда он пойдет в свою спальню. Там уж он от меня не увернется. Да и жена туда не придет». Так он подумал и, не сказав ни слова, сам пошел хлопотать о помещении Саши.

Когда Софья Ивановна осталась одна с гостем, разговор сделался живее и откровеннее. Софье было двадцать четыре года; перед нею был прекрасный молодой офицер, раненый и с крестом. Сколько причин, чтоб смотреть на него самыми нежными глазами. И Саша, с своей стороны, был не застенчив на взгляды и нежности. Он даже решился спросить ее: каким образом судьба могла соединить такую прелестную и образованную женщину с человеком, который так далек от нее во всем! Она покраснела и пожала плечами. Тут он рассказал ей о вопросах, которые Иван Васильевич ему сделал, и Софья чувствовала, что Саша прав.

Не более четверти часа был Иван Васильевич в отсутствии, и в это время какая-то симпатия уже очень близко соединила сердца Софьи и Саши. Они еще ничего не говорили друг другу о внезапных своих чувствах, но оба догадывались, что чувства эти взаимно разделяются... Отчего бы, кажется, так скоро? Ведь это почти неестественно!.. Извините!

С одной стороны, уединенная деревенская жизнь, молодость и врожденное кокетство, а с другой — французский язык непременно должны были произвести это действие.

По возвращении мужа Софья Ивановна, как бы из жалости к нему, заговорила по-русски, и словоохотливый Саша с живостию и быстротою рассказал все свои подвиги от Бородина до взорвания монастыря. Мужу более всего понравился крест Саши. Он с уважением подошел к нему и поцеловал.

— Счастливый молодой человек! — сказал он с чувством. — Рука Кутузова дала вам этот крест, и это дело великое.

— О! Я получу гораздо более! — с легкомысленностию отвечал Саша. — Дайте мне только вылечить и приехать в армию...

— Кушать пожалуйста! — возгласил в это время дворецкий, и хвастливость Саши окончилась.

Разумеется, он сел подле Софьи Ивановны. Тут начался опять французский язык, который Иван Васильевич со скуки запивал вином, потому что был философ, тогда как Саша был в глазах его плохой офицер, потому что мало ел и еще меньше пил.

После обеда Иван Васильевич имел прекрасное русское обыкновение отдыхать часика два, и сколько мы ни уважаем нашей доброй старины, сколько ни готовы следовать ее правилам во многих отношениях, но решительно должны объявить, что нет на свете ничего вреднее, как спать после обеда такому человеку, у которого жена молода и хороша собой и у которого в гостях молодой, интересный офицер. Конечно, есть люди, которым само небо покровительствует, и на этот раз Иван Васильевич был в этой категории, но на это нельзя всегда полагаться.

Позевав в конце обеда самым чувствительным образом, Иван Васильевич отправился из-за стола спать, а Саша, несмотря на свою усталость и болезнь, пошел с Софьей Ивановной гулять по саду.

Очень жаль, что мы не можем следовать за разговором этой гуляющей четы. Читатели и читательницы, верно бы, не утомились им; но как же в русскую книгу ввести французский разговор! Это несообразно! А перевести — еще хуже. Вся тонкость фраз, вся нежность выражений, вся соль острот пропадут в переводе. Даже иные обороты показались бы дерзкими, наглыми по-русски, тогда как под покровом французской любезности они проходят неприметно. Скажем только, что Саша говорил очень много и очень мило, а Софья Ивановна много вздыхала и часто краснела; что сперва они ходили и говорили, а потом сидели и молчали; что сначала они гуляли по саду, а наконец расположились в отдаленной беседке.

В это время Иван Васильевич спал сном невинности. Дюжая дворовая девка отмахивала от барского лица мух, следовательно, он очень мало заботился о разговоре жены с Сашею.

Когда же он проснулся и оделся, то пошел искать их по саду.

Софья Ивановна, как умная жена, услышала массивные шаги своего мужа за полверсты и спешила к нему с милым своим гостем навстречу. Иван Васильевич рассказал им сон, который только что видел, и просил Сашу, как ученого человека, растолковать ему тайный смысл сновидения. Когда же тот, смеясь, объявил, что не учился этой науке, то тот с некоторым неудовольствием сказал: «Так чему же вы обучались другому?»

Вскоре стали съезжаться к Ивану Васильевичу соседи. Они уж узнали о счастливом его приобретении, и Саша должен был со всеми знакомиться и повторять рассказы о своих подвигах,

пожаре Москвы и своем бегстве. Все дивились, ахали и были в восторге от молодого героя.

В этих приятных занятиях прошел вечер, и Саша шепнул наконец Софье Ивановне, что он намерен уйти в свою комнату, чувствуя чрезвычайное утомление и некоторую лихорадку. Тотчас же все было улажено, и все общество, уважая покой бородинского победителя, простилось с ним самым трогательным образом и проводило его в назначенную ему комнату. Иван Васильевич не мог и на этот раз остаться с Сашею, чтоб хорошенько его обо всем расспросить, и ушел опять в залу к гостям, с которыми возобновил всегдашнее прение о домашнем хозяйстве и псовой охоте. Тут Иван Васильевич был в своей сфере, и приговоры его принимались со всем уважением, приличным помещику, имеющему с лишком две тысячи душ.

Саше смертельно хотелось спать, но любопытство его было еще сильнее всех телесных страданий и утомления. В котомке его, с которою он ушел из подземелья и сухого колодца, захватя сверток и деньги, лежала тайна неоцененного его дяди, и ему поскорее хотелось прочесть эту рукопись. Еще не раздеваясь, вынул он ее, сел к столу и спешил распечатать... Но при первом взгляде, брошенном на черты, писанные почтенною и благодетельною рукою страдальца, глаза Саши наполнились невольными слезами. Ему живо представилась вдруг картина внезапной и ужасной его смерти, вся сцена кровопролития и мести над телом его... Невольный страх пробежал по жилам его; голова его закружилась, он готов был лишиться чувств. Поток слез облегчил его. Он взглянул на образ, висевший в переднем углу, встал, набожно помолился, с почтением поцеловал рукопись и положил ее опять в свой чемодан. Сам же начал раздеваться.

Тут только заметил он живое существо, стоявшее в углу. Это была горничная, откомандированная для услуг Саше. Она с любопытством смотрела на немую сцену, происходившую перед нею, и ничего не понимала.

— Что ты, душенька? Что тебе надобно? — спросил ее Саша.

— Ничего-с! — отвечала она. — Прикажете помочь?

По этому Саша догадался, в чем дело. Ему еще в первый раз случилось иметь женского камердинера, но он видел, что надобно сообразоваться с обычаями места. Он позволил спокойно раздеть себя и улегся в мягкий пуховик.

Давно не пользовался он хорошою постелью. Эта роскошь казалась ему теперь истинным наслаждением, и он спешил вполне им насытиться. Прежде чем горничная успела все прибрать и расставить, он уже спал самым глубоким сном. С любопытством взглянув на него, она спросила тихо, в котором часу поутру прийти. Ответа не было.

ГЛАВА VI

Долго ждал Иван Васильевич на другой день пробуждения Саши, но тот, вероятно, не заботился об этом, он спал богатырским сном. И горничная несколько раз уже заглядывала к нему в спальню, а Саша все спал; даже сама Софья Ивановна начала беспокоиться о нем и как будто нечаянно подходила к полурастворенной двери, она видела только прелестного юношу, погруженного в самый сладкий сон, и, сколько могла судить по лицу его, прекрасному и цветущему, он был совершенно здоров. Впрочем, простояв несколько минут в этом созерцании, она почувствовала необыкновенное биение сердца и принуждена была уйти. Наконец он проснулся и долго смутными глазами осматривал свою спальню и сельский ландшафт, видный из окна. Сон его был так глубок, что он долго не мог собрать мыслей и вспомнить, где он. Горничная прежде всех услышала его движение и явилась с вопросом: угодно ли ему вставать или прикажет подать кофе, не вставая.

— А что,— спросил Саша,— разве все в доме встали?

— Помилуйте,— отвечала горничная,— обедать собираются...

Саша вскочил и посмотрел на часы. Действительно, был уже двенадцатый час, а это в деревне значит очень поздно.

— Что ж ты меня раньше не разбудила?

— Как же я смею!.. И барин и барыня приходили сюда уж несколько раз, да не будили вас.

— И Софья Ивановна?..

— А! Любезнейший Александр Иванович! — вскричал громко Иван Васильевич, войдя в эту самую минуту.— Пора вставать! Вы уж спите по-московски... Ну что, здоровы ли? Хорошо спали, почивали?.. Что вы тут Дуньку спрашивали о жене? Не нужно ли вам чего?

— Покорно вас благодарю, любезный Иван Васильевич... Я спрашивал... Я думал, что еще не все встали.

— Э, дорогой гость! Мы с женою встаем в семь часов, а я так и раньше... Я уж пропасть дела переделал... Был даже на большой дороге, расспрашивал проезжих... Вот до чего довел меня проклятый француз... Политикою, батюшка, занимаюсь...

— Ну, что ж вы нового узнали?

— Да, слава богу, ничего! Все по-прежнему. Москва горит, неприятель грабит, а Наполеон стоит на месте... Видно, Бог не допускает его идти дальше... А уж куда бы горько было расставаться со здешнею усадьбою... Все, батюшка, сам устроил, сам сад развел, сам пруды выкопал, сам мельницу построил... И вдруг все бы это пришлось самому зажечь и уйти...

— Кто же принудил бы вас зажечь?.. Это делали иные помещики и крестьяне по Московской дороге, но никто этого не приказывал...

— Уж такая русская натура... Да что ж вы, батюшка, Александр Иванович, не встаете? Дунька! Подай барину халат, туфли...

— Да мне при вас совестно... Позвольте мне одеться... Я сейчас к вам явлюсь...

Иван Васильевич расхохотался:

— Уж какие же вы церемонные, господа москвичи! Да кабы меня положили спать на кремлевской площади, я бы преспокойно стал при всех раздеваться... Полноте, Александр Иванович! Хотите, я вам помогу?..

— Нет, уж сделайте одолжение... Вы знаете, я человек раненый и боюсь малейшего прикосновения к ране...

— И то правда! Виноват!.. Смотри же ты, Дунька! Не задень как-нибудь... Не то, боже сохрани... Ну, так одевайтесь же, бог с вами... Мы с женою будем вас ждать в гостиной.

После этих слов он ушел, а Саша спешил заняться своим туалетом и чрез четверть часа явился к хозяевам. Софья Ивановна ожидала его за чайным столиком; он подошел к ручке и сказал ей французское приветствие, сравнивавшее ее с солнцем. Хорошо, что она не вспомнила в эту минуту, что был сентябрь, а то сравнение было бы не совсем лестно.

Через миг поступил он еще легкомысленнее, поблагодаря ее за милое беспокойство о нем и за посещение его во время сна. Софья Ивановна вспыхнула и обратила на него умоляющие взоры. Он понял свою глупость и замолчал.

Впрочем, и она, в свою очередь, привела его в затруднение. Горничная рассказывала ей о ночной сцене Саши со свертком бумаги, над которым он плакал, и спросила его, что это значит. Саша вспыхнул и отвечал, что это завещание погибшего его дяди, которое он еще не имел силы прочесть, потому что слишком живо чувствовал понесенную им потерю.

— А нельзя ли, батюшка, нам прочесть? — простодушно спросил Иван Васильевич. — Я ужасно люблю этого рода сочинения... Печатного я ничего не читаю, но завещания и тяжбы — страсть моя...

— Извините, Иван Васильевич!.. В этом завещании заключается семейная тайна, которую я не вправе открыть...

— А! Дело другое! Секреты не мое дело... Разве вот жена будет любопытствовать, так уж вы с нею ведайтесь.

— Все, что *мне* принадлежит, я готов положить к ногам Софьи Ивановны, но эта тайна не моя, и я не имею права.

Софья Ивановна спешила уверить Сашу, что вовсе не любопытна, и для убеждения в этом тотчас же дала другое направление разговору.

Но теперь надобно было употребить всю свою любезность, чтоб заставить Сашу разговориться. Воспоминание о дяде повергло его в такую печаль и уныние, что он на все отвечал сквозь слезы.

Когда отпили чай, Иван Васильевич решительно овладел Сашею и повел его по хозяйственным заведениям своей усадьбы. Тот принужден был повиноваться, и тут-то вопросы сыпались на него как град. Долго Саша довольствовался односложными ответами, но мало-помалу разговорился и любезностию своею очаровал Ивана Васильевича... Саша так мало знал что-либо по части домоводства и сельского хозяйства, что, в свою очередь, удивлялся глубоким познаниям своего хозяина и видел, что, кроме светской образованности, есть еще предметы, которых знание приятно и полезно.

Деревенский обед обыкновенно бывал в первом часу, но, в угождение Саше, приказано было на все время его пребывания обедать в два часа, и когда они воротились, то съехавшиеся гости давно уже истребили со злости несколько закусок, внутренно сокрушаясь, что их заставляют так поздно обедать. Саша должен был снова рекомендоваться всем, и на этот раз дело было гораздо затруднительнее, потому что съехалось множество дам, дев и девиц. Вся окрестность уже узнала о появлении *раненого красавца* — так его прозвал Иван Василь-

евич,— и любопытство дам было возбуждено в сильнейшей степени. Все взоры были устремлены на Сашу и перебирали его по частям. Экзамен был строгий, но зато и торжество было редкое. Все единодушно признались, что он просто *прелесть*.

Софья Ивановна видела торжество Саши и сама более всех торжествовала. Конечно, во весь день, при зорких гостях своих, она была очень осторожна с Сашею, но иногда взгляды их встречались и говорили больше, чем самые длинные фразы.

И в этот день Саша не успел заняться чтением рокового завещания дяди. Когда гости разъехались, то Саша был опять так утомлен, что вынул, посмотрел драгоценный сверток и вновь положил его, заплакав. Дунька все это опять видела и пересказала барыне, а та, как дочь Евы, сгорала от любопытства.

На следующее утро Саша встал уже раньше. День был воскресный, и все собрались к обедне. Саша отправился с Софьей Ивановной; но едва он вошел в церковь, едва услышал первые звуки божественной службы, как ужасная картина смерти дяди живо представилась его воображению. Он зарыдал и вышел из церкви. Софья Ивановна последовала за ним и старалась успокоить его; все было напрасно. Саша плакал неутешно и ушел домой, чувствуя, что он не в состоянии выстоять обедни.

Придя в свою комнату, он невольно вынул таинственный сверток и, глядя на него, опять зарыдал. Несколько минут продолжалось это печальное состояние, наконец он успокоился и, желая воспользоваться своим уединением, принялся читать.

ГЛАВА VII

МОЙ ЖУРНАЛ

17.. года, 6 апреля.

Я сегодня читал очень интересную французскую книгу. В ней герой повести ведет журнал всей своей жизни. И это не простой перечень событий, нет! это рассуждения, впечатления, чувствования. Все так естественно и верно. Кажется, на каждом шагу узнаешь сам себя и окружающих людей. Я решил непременно вести такой же журнал. Под старость он будет

очень для меня занимателен... Если ж у меня будет потомство, то для него может быть и поучителен... Я это говорю не потому, чтоб воображал себя образцом нравственности... Нет! Ошибки и заблуждения других всего вернее действуют на нравственность людей, тогда как сухая мораль очень скоро наскучит. Живи свято, говори поучительно, тебе никто не поверит. Но сделай несколько проступков, все пожалеют о тебе и скажут: вот чего надо избегать!

А что же? Забавная вещь описывать самого себя. Может ли быть человек искренним? Не будет ли он облагораживать всех своих чувств и поступков, которых источник иногда и двусмысленный? Прещекотливая задача!.. А все-таки буду писать. Попробую быть совершенно искренним к самому себе. Что за беда, что мои потомки (если они будут!) сомнительно покачают иногда головою, читая мой журнал... Ведь это случится не раньше, как после моей смерти! При жизни же рассказ мой будет *моею* тайною.

Правда, что и после смерти не хотелось бы, чтоб меня осуждали, но ведь я человек и должен ошибаться на каждом шагу так же, как и другой.

Что же за беда, что ошибки мои будут известны после моей смерти?

Злых же и подлых дел я, верно, не делаю. Я иногда опрометчив, вспыльчив, но в этом состоянии духа можно только наделать глупостей. Низость и злость всегда действуют обдуманно. До этого я не дойду. Даже самые мои дневные записки будут меня охранять от двусмысленных поступков. Я буду знать, что в тот же день принужден записать мои мысли, ощущения и дела, и это часто остановит меня. Итак решено! Я *сегодня* начинаю свой журнал.

Я! Кто же этот я? Молодой повеса, живой, веселый, говорят, довольно умный между мужчинами и любезный между женщинами. Мне двадцать два года, я офицер гвардии, богат, везде принят, всеми любим! Следственно, по-видимому, самый счастливый человек... Но как никто еще в свете не был вполне доволен своею участию, то, кажется, и мне *чего-то* недостает. Чего-то!.. Странное слово! Всякому недостает чего-то, а *чего* именно, этого и сам никто не знает. В мои годы, разумеется, всякий скажет: а! ему недостает любви! Извините! Ошиблись! Я раз пятнадцать был влюблен... И теперь волочусь за двумя... Обе прелесть, совершенство! И, кажется, обе меня любят... А все-таки мне *чего-то* недостает.

Моралисты все-таки повторяют: любви, любви семейной! То есть, по-вашему, господа — *жены*! Фи! При этом слове всякая мысль о любви пропадет. Я столько видел дурных браков вокруг себя, что слово *жена* заставляет в одну минуту термометр моего воображения опуститься на точку замерзания. Я всякий раз был до тех пор только влюблен, покуда мне не сватали предмет моей страсти. Женитьба должно быть ужасное дело... Я любезничаю со всеми женщинами, и все они милые создания, но только не с мужьями; попробуйте поговорить с которою-нибудь из них об ее муже и взгляните на нее... Тотчас же вся физиономия переменяется... Из любезной и милой женщины выйдет сейчас прекисное лицо, прежалкое создание, вялое, скучное, *maussade*¹! Одним словом, это уже будет *жена*! То же самое бывает с мужчинами, которые вступили под знамена Гименея². Все они до тех пор в обществе милы и умны, покуда не заговорили с ними о *жене*. Тут сделается вмиг самое неприятное превращение, и чем мужчина искреннее, откровеннее, тем перемена ужаснее. Эпитет *муж* — самая злая насмешка во всех отношениях... Нет! Я, верно, никогда не женюсь. Да и к чему? Наш знаменитый род имеет представителем старшего моего брата Ивана. Пусть он заботится о продолжении нашего родословного древа. В нем, кажется, есть все качества, нужные для этого. Он, кажется, родился на то, чтоб быть *мужем*... Вечно серьезен, хладнокровен, угрюм, всем недоволен, кроме самого себя!.. Настоящий муж! Впрочем, что-то и ему не хочется протягивать шеи под брачное иго. И ему сватали много хорошеньких — не хочет. «Я хочу жениться по страсти!» — отвечает он. Чудак! *Страсть к жене*! Это два слова, взаимно противоречащие друг другу! Ну, да, впрочем, какое мне дело! Ведь это он только все хочет быть моим ментором, а я, верно, не возьму на себя этой роли... Добрые наши родители! Вас уж нет! Вы слишком рано оставили нас! Вы одни могли быть нашими менторами... О! Как я вас любил! Зачем тогда мне не пришло в голову писать моего журнала! Он был бы наполнен искреннею любовью к вам... С каким удовольствием прочитывал бы я теперь собственные свои рассказы о счастливых днях молодости!.. *Молодости*!.. Как будто я уж сделался стариком... Ах, нет! не стариком, а сиротою. И вот, кажется, чего-то мне недостает! Любви! Но любви ро-

¹ Неприятное (*фр.*).

² Г и м е н е й — в мифологии древних греков и римлян бог брака.

дательской! Теперь я один в мире... У меня есть брат, есть родственники, друзья, знакомые, любовницы, но что все это противу одного ласкового слова, взгляда доброй моей матери и нежного отца? Итак, мой журнал начат. Что ж я сегодня сделал?

Да то же, что всякий день, то есть ровно ничего. Был на ученье, обедал в гостях, видел одни и те же лица, говорил одни и те же фразы. Ел, пил, танцевал и вот в полночь воротился, чтоб лечь спать. Кажется, что я затеял вздор... Что я буду писать в своем журнале? Если те же происшествия и мысли, какие были сегодня, то можно заранее написать целый год. А ведь в самом деле странная жизнь! Неужто мы *ничего* не делаем! Неужели журналы всех людей были бы пустые страницы? А кажется, что так. Увидим! Теперь первый мой день кончен, записан, спокойная ночь!

7 апреля.

Опять полночь! Опять сижу за журналом, и опять писать нечего. Ну что ж? Разве я виноват? Не создавать же мне происшествий?.. Постой! Записать разве разговор мой с Лизой Вельской... Вот больше двух недель, как я волочусь за нею, что ж? Это существо такое милое, воздушное, розовое, веселое, душистое, остроумное... Кто бы вообразил себе!..

Лиза Вельская кокетничает по расчету, и по какому же варварскому? Ей хочется сделаться скучною, тяжелою, темно-коричневою — одним словом, *женою*! Просто ужас!.. Я с нею танцевал сегодня и утопал в прекрасном, голубом, сладком ее взоре! Что за глаза! Что за выражение! Никакая поэзия не придумает сравнения! Вечность и блаженство!.. Она устала, локоны ее немножко развились — и она пошла в гостиную, чтоб посмотреться в зеркало... А кто знает, может быть, она пошла и затем только, чтоб я за нею шел. Признаюсь, сердце у меня немножко билось сильнее обыкновенного, когда я подкрался к ней и поцеловал руку, поднятую над головою, чтоб приколоть цветок.

— Как вы меня испугали,— сказала она, а взгляд ее выражал вовсе не испуг, но одну любовь.— Зачем вы пришли?

— Зачем вы ушли? — отвечал я.— Без вас разве можно прожить хоть одну минуту.

— И, полноте! К чему мадригал? Сколько раз вы его сегодня повторяли?

— Кажется, я сегодня от вас не отходил ни на шаг.

— Ну, так вчера, третьего дня... Признайтесь... Ведь вы всем говорите одни и те же нежности... А все-таки многие вам верят...

— Поверьте только *вы* — и я счастлив.

— Вот тут-то и ошиблись... Я никогда не поверю такому ветренику. Пойдемте в залу.

Тут она мне подала руку, которую я осыпал поцелуями, и не пошел, а удвоил свое красноречие и страстные объяснения. Она слушала, краснела, рука ее дрожала, глаза выражали любовь... Вдруг послышался шум, и она вмиг превратилась в настоящую официальность.

Мы воротились в залу, опять начали танцевать, глаза наши опять начали прежний разговор. Я посадил ее потом в кресла, стал позади и продолжал свое объяснение. Она все слушала и долго не отвечала. Я настаивал. Наконец она обернулась ко мне и сказала почти сквозь слезы:

— Если все, что вы говорите, не простая шутка, не обыкновенный бальный разговор, то обратитесь к маме... Я от нее завишу... Впрочем, она не будет противиться нашему счастью.

Меня обдало страхом, морозом. Видно, я уже в самом деле слишком много наговорил любезностей или уже женский инстинкт везде ищет брачных истолкований... Вероятно, я сделал преглупую фигуру, только слова замерли у меня на губах, и я стал похож на школьника, которого учитель поймал в какой-нибудь шалости... Оба мы замолчали... Но я вскоре почувствовал, что молчание мое — и глупость и обида. Я несколько ободрился и сказал самым дипломатическим образом, что непременно воспользуюсь прелестным ее позволением, как скоро дела мои позволят приступить к этому. Лиза не отвечала ни слова, подозвала какую-то знакомую девицу и, сказав с нею слова два, схватила ее под руку и ушла. А я... я, разумеется, не подходил уже к ней во весь вечер. Ведь придет же в голову такой хорошенькой сделаться матроной! Чепчик, дети!.. Вот перспектива! Нет! Слуга покорный! Обращусь теперь к Аннете Сицкой. Она вечно смеется над чепчиками.

10 апреля.

Вот три дня, как я не писал, да и нельзя было... Столько дел по службе! Сделали адъютантом. Добрый Громин вспомнил дружбу отца моего и выпросил меня к себе в адъютанты. Ге-

неральс-адъютант — да это очень мило! В мои лета очень завидный чин! Все стали ко мне еще ласковее. Это невольно рождает во мне мысль, что и прежде меня любили не за то, что я добрый малый, а что богат. Очень неприятная мысль для моего самолюбия! Ну, да так быть! Если уж люди таковы, так мне их не переделать.

Как-то теперь я справлюсь с своим журналом! Вечера я обязан проводить у своего генерала и вставать гораздо раньше его. Тут, право, иногда не до журнала. А все не брошу. Буду писать хоть через день, через... Одним словом, когда свободно и когда что-нибудь особенное случится... теперь смерть спать хочется.

12 апреля.

Какая скука! Брат Иван целых два часа читал мне проповедь. Делать нечего! Он старший, и надо было молчать... А презабавно было смотреть на его недовольную физиономию, которая от нравственных разговоров сделалась еще длиннее. Мои товарищи по службе уверяют меня, что будто бы ему страх досадно мое внезапное повышение. В самом деле, с чего взял Громин взять *меня* к себе в адъютанты, а не брата? Он лучше меня и службу знает, и письменные дела. Впрочем, *мне* брат Иван ничего не говорил о своем неудовольствии, напротив, первый меня поздравил и прочел маленькую нотацию, как вести себя в новом моем звании. Сегодня же бранил меня во все за другое, и хоть это прескучная была история, а он прав. Дело было из-за глупого моего объяснения с Лизою Вельской. Та рассказала своей маменьке, а маменька отпела брату. Тот принялся за меня! Хорошо еще, что я не слишком струсил, а то брат так вот с ножом к горлу и пристаёт: женись да женись на Лизе! Ты ей объяснился в любви, следственно, как благородный человек, не мог иметь другой цели, кроме женитьбы... Вот мило! У меня тут никакой цели не было. Я всегда видел, как это делают другие, и вот уж года три, как сам повторяю эти уроки... Может быть, это и нехорошо, но разве я виноват, что наш век так испорчен... Да мне кажется, если б я подошел к какой-нибудь даме с таким серьезным лицом, какое всегда бывает у брата, так она бы захохотала прямо... Я уже раз пятьдесят объяснялся в любви, и никто не принимал моих слов за сватовство. Все они говорили, что я шалун, и больше ничего. Вольно же Лизе Вельской принимать так серьезно. Ей вдруг вздумалось искать производства из дев в дамы, а я виноват.

Нет! Впредь буду осторожнее! На этот раз отделался голово-
мытьем, в другой раз... пожалуй, и в самом деле заставят же-
ниться.

15 апреля.

Мой журнал делает скачки, и что ж за беда! Вчера и треть-
его дня я бы и мог записывать, да нечего было. Ел, пил, был
на службе и лег спать — это вовсе не интересные статьи. Вот
сегодня дело другое. Есть о чем порассказывать, и не столько
моим современникам, как потомкам (ведь какие-нибудь да
будут же!). Я был во дворце, в большом собрании у императ-
рицы! Я еще весь в чаду, в восторге! Я сам себя не помню от
радости и удивления. Я часто бывал на выходах и видал нашу
матушку царицу, всегда восхищался, всегда радовался при
виде этой великой монархини, но я все еще не видал ее... А се-
годня... Добрый мой Громин!.. Это он выпросил мне такую
милость! Расхвалил меня и заслуги моего отца. Государыня
позволила ему представить меня во время большого вечерне-
го собрания. Нет! Я не в силах рассказать! Мысли не слуша-
ются, не одеваются в форму слов... Как беден человек с своим
вседневым лексиконом! Что он может выразить? То, о чем
голове не стоит и думать. А сильные порывы чувств, а высо-
кие ощущения, а восторг?.. На это он не придумал выражений
и никогда не придумает. Что ж я расскажу?.. Я видел Екате-
рину!.. Разве ее не видят миллионы народа... Нет! Досадно!
Больно! Не умею, не могу рассказать. Вечер у царицы! Кто б
не думал, что тут в вытяжку и натяжку, что все должны ходить
по струнке, на цыпочках?.. Боже мой! Да тут мне показалось
гораздо меньше церемоний, нежели у последнего вельможи...
А впрочем, очень естественно. Вельможа хохлитесь и надувает-
ся, потому что гордится мнимым или действительным своим
значением, а императрице для кого и для чего быть гордою,
неприступною? У кого есть равные и высшие, тому прости-
тельно надуваться, чтоб сравниться... Но Екатерина!.. Где ей
равные?.. Добрая, несравненная царица! Она принимала сво-
их подданных, как радушный деревенский помещик своих
соседей... Она о каждом заботилась, со всяким говорила, а уж
кому слово скажет, тот, разумеется, на целый год счастлив.
И я!.. Мне она сказала: «Очень рада вас видеть! Ваш отец был
очень достойный человек! Мне приятно будет найти его опять
в сыне. Навещайте меня иногда! Я всегда вам рада!..» Вот сло-
ва ее! Но я написал только мертвые буквы, одни только фра-

зы! А тот вид, тот взгляд, тот голос, та улыбка, с которой она это говорила... разве возможно это передать? А это-то именно и составляло всю неизобразимую прелесть, все величие!.. Нет! Я просто без ума! Я расцеловал руки у своего генерала, когда мы возвращались из дворца, и мой детский восторг казался ему естественным. Добрый старик сам был до слез тронут. И ему что-то сказала императрица, так милостиво, так ласково, что он был еще в чадуге... Нет! Полно писать! Я не в силах. Лягу и буду мечтать...

Язык беден, перо глупо... Одно воображение может еще помирить меня с моими ощущениями.

18 апреля.

Со дня моего представления ко двору все сделались еще ко мне ласковее. Иной бы принял это на свой счет, но я не так самолюбив... Один брат Иван все недоволен мною. На этот раз я верю, что ему должно быть досадно. Младший брат принят ко двору, а старший должен принимать всеобщие поздравления по этому случаю. Конечно, Иван слишком благороден, чтоб завидовать, но нельзя же не иметь ему никаких идей. Я сам чувствую, что это несправедливо. Чем я его лучше? Ничем. Он во всем меня превосходит... Неужто за то, что я весел, говорлив, остер и повеса, меня все любят больше, нежели его? Да это, право, странно! Конечно, в обществе нельзя быть с вечно серьезным и недовольным лицом, не должно быть молчаливым и угрюмым, неловко быть нравоучительным и важным; но если человек так рожден, нельзя же его за это ненавидеть. Мне грустно, когда общие наши приятели подсмеиваются над нами. Бедный брат! Мне жаль тебя! Свет к тебе несправедлив. Ты гораздо лучше меня.

20 апреля.

Большой обед у Громина. Сколько было народу! Сколько было мне хлопот! Странная обязанность! Я адъютант — так должен всех угощать и обо всех хлопотать! А особливо около женщин эта обязанность претрудная... Впрочем, я сделал много приятных знакомств... Меня все приглашали к себе... Варя Зорова взглядывала на меня раза два самым значительным образом... Чудо-девушка! Я беспрестанно около нее вертелся... Прощай, Вельская! Я буду волочиться за Варенькой. Верно, она не такая привязчивая.

28 апреля.

Каково! Целую неделю не писал! Хорош журналист! Если б я издавал свои записки, то мой читатель успел бы состариться в ожидании следующего номера. Я ужасно был занят всю эту неделю. Обед, вечер, обед, бал, завтрак, собрание... Голова кружится... Время летит так, что и не видишь... Особливо Варя Зорова заставит всякого забыть, что на свете есть время. Какая миленькая!.. Все на нас лукаво посматривают и улыбаются... Впрочем, я стал гораздо осторожнее... Больше говорю глазами и руками, нежели языком... однако полно писать, пора спать.

30 апреля.

Я сегодня целый день провел у брата. Вчера я с ним встретился, и мне совестно стало, когда он мне напомнил, что мы с ним две недели не видались. Самому на себя досадно, как это я мог забыть брата! А все Варя Зорова... Брат меня опять очень серьезно допрашивал: не хочу ль я жениться на Лизе Вельской, выхвалял мне ее качества, связи, богатство, но я ему признался, что влюблен в другую. Это его удивило, даже рассердило. Он мне что-то много говорил о ветренности, неосторожности, испорченности нравов, и я дал ему все высказать, мечтая все это время о Варе... кажется, он заметил мою рассеянность, потому что сказал что-то о проповедовании в пустыне.

— Намерен ли ты искать руки этой Зоровой, своей новой страсти? — спросил он у меня наконец, и я очень сконфузился от этого вопроса. Я ему откровенно отвечал, что мне и в голову еще не приходила мысль о женитьбе.

— Однако надо же этим кончить,— сказал он.

Тут я вывернулся очень остроумным образом, сказав ему, что не намерен жениться прежде старшего брата, что он должен мне прежде дать пример и что я буду руководствоваться тогда его советами и примером.

— Хорошо же,— отвечал он.— Помни свои слова.— Тут он отошел от меня.

Что ж значат эти слова брата? Мне уж что-то страшно становится; неужели он в самом деле хочет жениться? Я бы очень рад был за него... Он и теперь строг и серьезен и недоволен, как муж. Ну а я! Если он и меня захочет принудить... Ей-богу, страшно!.. А вот узнаю, выведаю. Нет ли у него в самом деле

какого-нибудь волокитства. Прелюбопытная вещь! Брат Иван влюблен! Да я расхохочусь, глядя на это. Такой Катон¹, цензор, ментор... Он, я думаю, будет читать все нравоучительные речи своей любезной... Постой же, любезный мой наставник! Подкараулю! Ты меня так напугал. А что, если несчастье доведет меня до того, что я... Ведь Варя Зорова, право, мила... Почти можно бы решиться... Нет, нет! Лучше лягу спать.

3 мая.

Что я узнал!.. Я думал, что мне будет смешно, а, право, становится страшно... Брат Иван нечаянно познакомился с каким-то семейством, приехавшим из Москвы... граф Туров... который что-то отыскивает, о чем-то просит... Ну, я и не расспрашивал... но главное-то в том дело, что у него есть дочка... зовут ее Верочка... и вот эта дочка привлекает, говорят, моего Катона. Признаюсь, я вовсе не любопытен, а хотелось бы посмотреть на эту московскую красавицу, тронувшую железное сердце моего брата. Или уж она так пламенна, что подле нее мог оживиться и серьезный мой ментор, или она такая же холодная и серьезная, как он,— и последнее вернее. Французская пословица говорит: «Qui se ressemblent, s'assemblent»².

4 мая.

Как это глупо! Я любопытен, как женщина. Меня в самом деле мучит мысль: как бы посмотреть на предмет страсти моего брата. А на что мне это? Неужто я буду смеяться, глядя на их церемонную любовь? Какой вздор. Если они довольны и счастливы друг другом, то мне какое дело? Меня, конечно, беспокоят слова брата и упрямая его охота женить меня. Но ведь в самом деле, не принудит же он меня насильно стать под венец. Советов его я могу слушаться во всем, но из простого угождения к его матримониальной идее не навяжу же я себе обузы на шею. Пусть он женится. Он старший в роде, и генеалогическое древо Зембиных процветет его заботливостью. А я — пусть я останусь весь век мальтийским рыцарем³, чтоб сражаться с *неверными*. Любопытство же мое увидеть Веру Турову, вероятно, происходит от участия, которое я принимаю в

¹ Катон Старший (234—149 до н. э.) — римский писатель, консул, поборник строгих нравов.

² Похожие сходятся (фр.).

³ В переносном смысле — даст обет безбрачия.

судьбе брата. Притом надобно же мне и познакомиться с будущей моею *belle soeur* (как, бишь, это по-русски?).

5 мая.

Я виделся опять с братом и просил его познакомить меня с графом Туровым. Он отказал мне.

— Я вижу, что ты, повеса, все узнал,— сказал он мне.— За это я и не познакомлю тебя с этим домом, покуда между нами не будет все кончено, а то ты мне, пожалуй, все дело испортишь. Семейство такое почтенное, девушка такая тихая, скромная... Если они увидят тебя да послушают, решат, что и я такой же ветреник... Нет, мой милый! Покуда ты не будешь солиднее, я тебя не введу в дом.

— Вот мило! — отвечал я.— Да если ты скоро женишься, так я не успею и остепениться. Как же мне после того быть у тебя шафером, не видав ни разу твоей невесты.

— Ну, это дело еще не так скоро сделается. Мы только что успели познакомиться... Дела же графа еще не устроены... Я взялся хлопотать о них, и, покуда все это не кончится, я не могу свататься.

Таким образом, моя попытка не удалась... Я не увижу этой провинциалки. Впрочем, я угадал, что это за существо. Уж если брат мой называет ее тихою и скромною, то это должен быть автомат — или притворщица в высшей степени. Оба качества очень нелестны. Мое любопытство начинает простывать... Да и дело не так опасно, как я воображал себе. Процессы не так скоро кончаются, так и речь о свадьбе, верно, протянется год-другой. А в это время мало ли что может перемениться? Может быть, оба они догадаются, что женитьба — дело самое глупое...

ГЛАВА VIII

На этом месте помешали Саше. Хозяева воротились от обедни и явились прямо к нему в комнату. Начались расспросы, соболезнования, советы, похвалы чувствительному его сердцу... При этом любопытные взоры Софьи Ивановны уже давно открыли таинственную рукопись, над которою Саша плакал по вечерам,— и она под видом искреннего участия, скрывая свое любопытство, сказала ему, что непременно укра-

дет у него сверток, потому что чтение это слишком его расстраивает. Саша испугался этих слов и поспешно спрятал свою рукопись, уверяя, что, напротив, это чтение совершенно успокоит его. После этого все оставили комнату Саши и присоединились к прочим гостям, которые уже собрались.

Рассказывать ли о ежедневном житье-бытье Саши у Ивана Васильевича? Один день походил на другой, как две монеты разного чекана, но одного достоинства. Или гости у Ивана Васильевича, или он в гостях и, разумеется, вместе с Сашею, который сделался любимым героем всей окрестности. Его почти на руках носили. Женщины были от него без ума, а особенно Софья Ивановна. Она как тень за ним повсюду следовала и употребляла все женское искусство, чтоб овладеть его сердцем. С тех пор как она открыла, что у него есть таинственный сверток, нежность ее еще более усилилась, так что бедному Саше решительно нельзя было приняться за чтение. Только по ночам успевал он иногда прочесть несколько страниц — но такова слабость человеческой природы! — как ни интересен был для него журнал дяди, а сон всякий раз заставлял его на третьей странице. Еще страницу он крепился, преодолевал, но далее природа брала свое, и манускрипт укладывался под подушку.

Чтоб не наскучить читателям беспрестанными остановками, какие встречал ежедневно Саша, мы поместим лучше сряду весь журнал. Эпизодические же происшествия, случившиеся с Сашею у Ивана Васильевича, мы расскажем после.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖУРНАЛА

10 мая.

Удивительное дело! Я очень влюблен в эту Варю Зорову — а мне страшно говорить ей нежности. Хотя я по всему вижу, что она их ждет, требует, но после происшествия с Лизой Вельской я сделался гораздо осторожнее. Того и смотрю, что мне скажут — женись! Нет! Я подожду брата. Посмотрю, как-то он выпутается из этой бездны премудрости.

Пять дней я не принимался за журнал. Уж не надоедает ли он мне, неужели я такой непостоянный человек, что не могу ничем серьезно заняться? Я очень доволен собою. Только, разбирая строго это самодовольное чувство, иногда приходит в голову, что все это одна молодость и легкомыслие... У меня пропасть друзей — но в самом-то деле нет ни одного друга, нет

существа, на которое я мог бы положиться, которое решилось бы для меня на все жертвы. Потом есть у меня множество премилых девушек, за которыми я волочусь, которым твержу заученные фразы, перед которыми готов стоять целые часы на коленях, чтоб получить один поцелуй,— но если б хоть одной из них вздумалось, как Лизе Вельской, предложить мне себя в жены, я убежал бы. Что ж все это значит? Дружба! Любовь! Ведь это не пустые слова... Нет! Я чувствую, что мне все-таки недостает и друга и любви... Но где ж их взять? Как отыскать? Чем приобрести? Когда подумаешь серьезно, так поневоле придет в голову мысль, что едва ли не сам я виноват, что у меня нет ни того, ни другого. Кто всех равно любит, тот почти никого не любит! Кто сам ни к кому не привязан на жизнь и смерть, тот и не стоит ничьей привязанности. Значит, это я! Очень печальная мысль. Надобно об этом подумать серьезно.

14 мая.

Вот новость! Вот презабавный случай. Вчера звали меня на вечер к князю А. Он часто бывает у Громина, но никогда не обращал на меня внимания, хоть я и очень усердно услуживал ему. Только с тех пор, как я был в собрании у императрицы, он изредка говорил мне: «Здравствуйте, господин Зембин». А вчера наконец даже удостоил сказать: «*Bonjour Mr. Zem-bine!*¹ — и потом, обратясь к Громину, прибавил: — Что вы его никогда не привезете ко мне? Вот хоть завтра пожалуйста! Нам нужны танцоры, а такой ловкий человек...» Громин дал за меня слово, а я, разумеется, раскланялся, расшаркался и несколько раз повторял: «*В vos ordres, mon Prince!*»² Таким образом, я сегодня и отправился с моим генералом. Народу бездна! Огонь и золото ослепляли глаза, шарканье оглушало, от комплиментов вяли уши, от красавиц разбегались глаза, от тесноты трещали ребра, от танцев не слышно было ног под собою... И прелесть и ужас! Я уже привык к этим праздникам, но у князя все было в огромном размере... и все церемонно донельзя. Неужто здесь думают веселиться, в этой толпе, важно расхаживающей на ходулях этикета и самолюбия? К чему весь этот вечер? Зачем собрались все эти люди?.. Если мне будет время, я когда-нибудь напишу об этом длинную статью, в которой поумничаю вдоволь, а теперь некогда.

¹ Здравствуйте, господин Зембин! (фр.)

² В вашем распоряжении, князь! (фр.)

Хозяин меня заметил и, взяв за руку, подвел даже к княгине и рекомендовал. Она кивнула мне очень важно, однако же осмотрела очень ласково с головы до ног. Когда же я уходил, то явственно слышал, что она сказала мужу: «Il n'est pas mal»¹.

Потом заставили меня танцевать. Я знал, что в подобных собраниях танцуют не для удовольствия, а напоказ. Это просто работа; я очень чинно выделял все па и очень ловко соблюдал все правила танцевального этикета. Около меня собрался кружок зрителей, и все расхваливали меня очень хладнокровно, как хорошего английского бегуна. Мое искусство имело очень выгодные последствия. Сама хозяйка ангажировала меня на следующий танец, и я с честью выдержал это вторичное испытание. Только все гости осыпали похвалами, разумеется, не меня, а княгиню, а я подтвердил всеобщее мнение, осмелев сказать его ее сиятельству. Мой комплимент был принят очень милостиво, и с той минуты меня замучили. Хорошо еще, что у меня очень усердные ноги и неизменные силы. Я перетанцевал со всеми и от всех получил приглашения. Наконец произошел интервал, и мне позволили отдохнуть. Пошли смотреть фейерверк, а я пошел по залам смотреть на прочие фигуры гостей. В других комнатах гости занимались картами. Это одно из тех наслаждений человеческой жизни, которое, как любовь, сравнивает все состояние и которое заставляет забыть все человечество и природу. Может быть, придя в известные лета, я тоже люблю это занятие, но, признаюсь, я питаю какое-то отвращение от карт... Я с любопытством смотрел на эти зеленые столы, около которых сидели люди с глубокомысленными физиономиями. Каждый углублен был в созерцание бумажных четырехугольничков, как будто в рассматривании заветных тайн природы. В это время в саду, перед самыми окнами игорной залы, горел, блистал, трещал, кружился чудесный фейерверк, а они, эти картежные алгебраисты, не удостоили ни разу и взглянуть на него. Кажется, если б случилось и землетрясение, они попросили бы окончить сперва свою пульку, чтоб заняться потом своею безопасностью... Я, однако, зафилософствовался о картах, а мне еще много остается написать и рассказать. Обходя все эти столы, я нашел своего доброго генерала. Ему кто-то рассказал о моих бальных успехах, и он, взяв меня за руку, сказал, что я дале-

¹ Это неплохо (фр.).

ко пойду в свете! (Как будто, кроме танцев, ничего в нем и не надобно!) Я поблагодарил его и пошел было далее... Вдруг вопрос одного из лиц, игравших с Громиным, остановил меня.

— Как вы называли этого молодого человека? — спросил он у Громина.

— Зембин, мой адъютант и славный малый, — отвечал мой генерал.

— Я очень хорошо знаком с одним Зембиным; тоже молодой человек... Иван Григорьевич.

— Это мой брат, — отвечал я, подходя к говорившему.

— А! В самом деле! Очень рад! Что ж это он меня не познакомил с вами?.. Сидя здесь за картами, я о вас так много хорошего наслышался... к вашему генералу поминутно приходили и расхваливали вас... Называли, правда, Зембина... но я знал, что моего знакомого здесь нет, так и не расспрашивал... Теперь только, взглянув на вас, заметил какое-то родственное сходство и решился узнать... Пожалуйста, прошу познакомиться... Я человек заезжий, москвич, провинциал... Мы люди простые, но радушные... Вы, верно, нас полюбите...

— Помилуйте! Я поставлю себе за честь заслужить, — и *прочее*, что в этих случаях говорится... Дело кончилось тем, что я обязался к нему явиться завтра... Кто же это? Это был граф Туров! Вот удивится завтра мой брат, увидя меня у своего будущего тестя!

Я отошел от них и долго думал о странном стечении обстоятельств... Почему именно меня пригласил к себе князь? Почему случился тут и этот граф Туров? Почему он именно сидел за одним столом с Громиным, к которому я должен был подойти? Сиди он с другими, я целый год ходил бы мимо и не узнал об его существовании... Впрочем, мне физиономия его понравилась. Что-то доброе, патриархальное... Я непременно поеду к нему... Но мои похождения еще не все. Важнейшее остается.

Все возвратились с фейерверка и решились еще протанцевать до ужина. Я было ускользнул и ушел опять в игорную залу, но меня отыскали и потащили; княгиня велела мне опять танцевать и назначила даму. Я повиновался. Во время этих танцев я заметил молодую девушку, не очень блистательно одетую, но довольно недурную собою, которая очень пристально на меня посматривала. Это всегда очень лестно для самолюбия молодого мужчины. Я, с моей стороны, раза два тоже отпустил ей пламенные взгляды и с некоторою досадою видел,

что она не только на них не отвечает, но, кажется, и не замечает. Когда же я не смотрел на нее, то она украдкой опять на меня поглядывала. Это подстрекнуло мое любопытство. По окончании танца я следил за нею глазами и увидел, что она идет в игорную залу. Я за нею. И что же? Она подошла к тому столу, где был Громин и Туров, поцеловала графа и жаловалась, что очень жарко. Я подошел к Громину и рассказал о последних танцах. Это его, конечно, не интересовало. Но у меня была другая цель, и я тотчас же достиг ее. Граф Туров, увидя меня, вскричал:

— А! Вы опять здесь! Очень кстати! Вот прошу познакомиться и с моею дочерью.— Тут он меня отрекомендовал ей, как нового знакомого и брата ежедневного их гостя.

— Я уж узнала об этом, папа,— сказала она.— Я слышала фамилию Григория Григорьевича, увидела фамильное его сходство и спросила... Мне все рассказали...

— Сейчас видна девушка... Любопытство — ваша первая добродетель... Ну, да я рад... Вот тебе кавалер для танцев... Брат его такой степенный человек, что не любит ни балов, ни танцев. Это имеет свою хорошую сторону, но не всегда...

После этого мы отправились вместе с нею в танцевальную залу; я ангажировал ее, и все бросились смотреть на нас. Конечно, знатные дамы, которые до этой минуты удостаивали танцевать со мною, с сомнительным видом осматривали мою графиню с ног до головы, но по окончании танца сделали нам, однако, несколько комплиментов. Вскоре пошли ужинать, и я предложил графине мою руку. Она равнодушно приняла ее и, когда я ей откланивался, сказала мне: *до завтра!*

После ужина еще были танцы, но Туров уж уехал с дочерью. Вот наконец я воротился с бала и едва слышу под собою ноги; кажется, целые сутки буду спать... А все-таки хотелось записать все, что случилось... Однако же сон не на шутку клонит... Что-то будет завтра?

19 мая.

Я опять целых пять дней не писал своего журнала... Отчего это? И сам не знаю... Прошлый раз я остановился на визите, который мне надобно было сделать графу Турову. Ну что ж? Я был, и, кроме самого старика, все прочее показалось мне очень скучным. Брат мой как с облаков упал, увидя меня, но когда я ему вместе с графом рассказал о бале, бывшем накануне, то он успокоился. Молодая графиня вышла только к

обеду, и брат тотчас же завладел ею. Меня приняла она очень холодно и церемонно... тем лучше. Я занялся разговором со стариком и почти не смотрел на нее. Она сидела подле брата и так равнодушно с ним разговаривала, что можно было бы подумать, что они давно женаты. Презабавная будет пара! Мне даже жаль брата. Он холоден, важен, серьезен, но это одна наружность, одни принятые правила, а внутри, я знаю, что он сильно и глубоко чувствует. Если он ее действительно полюбит, то я ему предсказываю очень жалкую участь. Он не растопит этой льдины, а разве себя вконец заморозит... Ну, да это не мое дело. Я полюбил старика и буду часто к нему ездить.

Вот я уж с тех пор еще два раза был и, кажется, тоже понравился старику... Он, правда, слишком много мне рассказывает о своем процессе, но как быть, надобно всегда с терпением слушать рассказы стариков.

Все эти дни я делал тоже визиты тем знатым дамам, которые со мною танцевали на последнем бале. Все они очень милы, ласковы, и взгляды их много обещают... Но я боюсь потерять Варю Зорову... Она, кажется, меня ревнует. Она слышала о моих бальных успехах и с тех пор немножко на меня дуется. Она даже иронически сказала мне, что я уже, вероятно, не захочу теперь опустить взоры свои до нее... Неужели она в самом деле в меня влюблена! Чтоб мне и тут не попасть, как с Вельской.

21 мая.

Опять я был во дворце. Был бал по случаю тезоименитства внука императрицы, и я был в числе приглашенных. Это редкая милость. Я опять обязан ею Громину... Он же мне сказал, будто дамы, с которыми я танцевал у князя, расславили меня у двора. Как бы то ни было, но я был самым счастливым человеком. Со мною опять говорила императрица; чувства мои слишком полны... Я не в силах описать их.

24 мая.

Сегодня был опять у Турова. Он уж слышал о моем счастье на придворном бале и дружески был рад. Я ожидал, что хладнокровная моя *belle soeur*¹ будет у меня расспрашивать о танцах при дворе. Не тут-то было! Она даже не спросила меня,

¹ Невестка (фр.).

весело ли мне было. Конечно, брат Иван беспрестанно с нею... но она и с ним не говорливее. Что за автомат!

Родятся же подобные существа.

24 мая.

По просьбе Турова должен был я провести у него целый день. У него были гости, и он мне откровенно признался, что хочет меня им показать. Хоть и не очень лестно быть, как французы называют, *une bête curieuse*¹, но для доброго старика я рад все сделать. Собрание было не блистательное. Все деловые люди... Все толковали о процессе Турова, и, сколько я мог понять запутанные фразы этих господ, дело его идет плохо. Жаль старика! А милая дочка? Она сегодня была понаряднее обыкновенного и для гостей, кажется, развернулась... Со всеми разговаривает, шутит, любезничает... Я ее не узнал. Впрочем, догадываюсь, в чем дело. Меня почитала она не гостем, а будущим родственником, перед которым не нужно принимать на себя маску. Тем лучше! Так при мне она была в настоящем своем виде... Признаюсь, самая бедная натура... Искусство гораздо лучше. На месте брата я попросил бы ее всю жизнь притворяться.

Вечер кончился очень скучно. Все дельцы сели за карты и даже усадили моего брата. Я остался один с любезным автоматом и наперед знал свою участь... Впрочем, она и для меня решилась сделать маленькое усилие... Занялась со мною музыкой, и мы кое-как протянули часа два... Я и сам был не очень любезен. Рад, рад, как пришел брат, окончив свою игру. Сдав ему с рук на руки графиню, я откланялся и уехал. Что за чудеса со мною делаются! Я сделался стряпчим. Даже самому смешно. А делать нечего — все для милого старика. Посмотрим, что-то я сделаю.

25 мая.

Я уже был у княгини А. Она очень ласково меня приняла и обо всем расспрашивала. Кое-как высказал ей, что имею до нее важную просьбу, — и подал записку. Жаль, что я в эту минуту не мог видеть в зеркале лица своего... Верно, у меня была преглупая фигура. Я думал, что княгиня отделает меня всею своею важностию; я уже посматривал на дверь, в которую мне надобно было ретироваться. Каково же было мое

¹ Забавная бестия (фр.).

удивление, когда она очень ласково отвечала: «Хорошо! Оставьте у меня записку и заезжайте послезавтра; я вам скажу, могу ли я вам в чем помочь». Я от радости бросился целовать руки ее, и она этим не оскорбилась, а сказала:

— У этого графа очень миленькая дочь...

Тогда я ей откровенно объяснил тайные планы моего брата.

— Вот что! — сказала княгиня, внимательно выслушав мой рассказ. — А я думала, что вы за себя хлопчете. Вы ведь с нею танцевали у меня на бале?

Я рассказал ей нечаянность моего знакомства. Она была очень довольна моею откровенностью, позволила еще раз поцеловать свою руку и отпустила меня, сказав: *до послезавтра*. Туров был обрадован, когда я ему рассказал все (разумеется, кроме планов брата). Он со слезами на глазах благодарил меня. А за что? Увидим! На третий день я опять отправился к княгине. Она меня приняла в своем будуаре и была очень мила. Приехав за делом, я чуть было не забыл о нем, глядя на прелестный ее неглиже.

— Поговоримте сперва о делах, — сказала она, улыбаясь самым прелестным образом. — Вот ваша записка. Она переделана и переписана. Вы взялись за очень мудреное дело... Но, кажется, есть еще средство поправить его. Вот вам записка от меня к графине Д.; поезжайте от меня прямо к ней и велите сказать, что я вас прислала. Она у вас возьмет вашу записку и назначит, когда явиться за ответом. Будьте с нею смелее. Застенчивость — всегда худая рекомендация просьбе. Она очень любезная женщина и имеет много веса. Если найдете в ней какие-нибудь причуды, то повинуйтесь им. Это будет верный выигрыш.

Тут она протянула мне ручку, и я, поцеловав ее, хотел откланяться; но она меня удержала, сказав, что теперь рано и что не прежде как через час я могу ехать к графине, а до тех пор чтоб я остался у нее.

Этот час пролетел как миг... Княгиня была такая милая и снисходительная женщина.

Я просто влюблен в нее...

Через час я уже был у графини Д. Меня не скоро допустили. Я должен был отдать сперва письмо, и тогда уж меня позвали. Я уже видел эту графиню оба раза на бале, но, разумеется, издали... Впрочем, она меня узнала и, потребовав мою записку, начала читать ее про себя, поглядывая на меня изредка самым инквизиторским образом. Я, разумеется, тоже ее

рассматривал со вниманием, помня совет княгини А. Через несколько минут графиня вступила со мною в разговор. Я старался отвечать как можно смелее и не раз заставлял ее улыбаться.

— Очень рада... Теперь мне некогда. Я поговорю о вашем деле с кем следует... Приезжайте ко мне послезавтра... Я буду свободнее, и мы поговорим. Adieu!¹

Туров еще больше обрадовался, узнавши о моей поездке. Он беспрестанно обнимал меня. Даже брат благодарил меня. Одна ледяная Вера Николаевна не сказала мне ни слова. Ну, да я и не занимаюсь ею.

29 мая.

Дело Турова принимает прекрасный оборот. Я являлся опять к княгине и получил много надежд... Душевно рад за доброго Турова, а вместе с тем и за себя.

На следующий день я был опять у графини. На этот раз меня тотчас приняли.

— Виделись ли вы с княгинею А.?..— спросила она рассеянно.

— Я вчера был у нее.

— Нравится ли вам она?..

Я чуть было не сконфузился при этом неожиданном вопросе, однако вспомнил данные мне советы и смело отвечал, что когда шел к графине, то почитал княгиню А. самою прелестною женщиною. Графиня улыбнулась несколько насмешливо и посмотрела на меня с ног до головы.

— Говорила она о вашем деле?

— Она мне подала много надежд, но, чтоб превратить их в уверенность, послала к вашему сиятельству...

Взгляд, брошенный на меня графинею при этом слове, чуть было не сбил меня с толку... Мне кажется, я не сказал никакой глупости.

— Не ее ли слова вы повторяете? — спросила она, несколько покраснев.

— Наверное, не помню,— отвечал я, оробев.— Могу только уверить вас, что говорю всегда по внушению своего сердца...

После этого начался между нами разговор, который я не слишком помню, да в котором и не было особенной важности. Я только нашел, что графиня самая странная, причудливая и,

¹ До свиданья! (фр.)

однако ж, любезная женщина... Она меня часто конфузила своими вопросами, но я не ходил в карман за ответами.

6 июня.

Говорят, что все на свете *суета сует*! Нет! Я так думаю, напротив, что *удивление удивления*! Дело Турова тянулось восемь лет. Почти два года прожил он в Петербурге и в ту минуту, как, употребляя всевозможные усилия, чтоб довести его до окончания, проиграть свой процесс и половину имения, вдруг в две недели успел выиграть это дело. Да, выиграть! Дело Турова выиграно! И не по суду, а по мировой, которую ему прислал его противник. Туров с ума сходит от радости... Он не знает, как меня... Я его избавитель, благодетель... Брат мой тоже в восторге... и сам милый автомат сказал мне несколько трогательных слов... как это все сделалось, право, не знаю. Всего меньше, разумеется, участвовал я в этом подвиге, а меня всех более благодарят. Моя милая княгиня и причудница графиня не хотят и слышать о благодарности Турова, который хотел было им сделать визиты.

Теперь свадьба брата, верно, подвинется. Я думаю, что в его нерешительности очень много участвовала тяжба Турова. Теперь Верочка сделалась развязнее и говорливее. Княгиня А. и графиня Д. все подсмеиваются над моим бескорыстием и спрашивают, какую награду я получил от ледяной красавицы. Право, они смешат меня. Уж не потребовать ли мне поцелуя? Боже сохрани! Она, пожалуй, согласится из благодарности и официально подставит мне свою щечку. Очень лестно! Нет! Я ничего не хочу.

8 июня.

Боже мой, какой неожиданный случай... Вот чем кончаются все наши расчеты, планы, надежды! Эти турки не могут сидеть смирно в своих гаремах. Очень нужно им объявлять войну России! Ведь прибьют их, да и только. И я и брат должны отправиться в поход. В поход! Брат уж собирается, а я еще проживу недели две с моим генералом. Как быть! Хоть это время погулять.





Часть третья

ГЛАВА I

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖУРНАЛА

13 июня.

Бедный брат уехал... а я!.. Стыдно сказать... Похож ли я на русского дворянина? Что я буду теперь делать?.. Самому странно, досадно и непонятно. Какая будет теперь цель моей жизни или моих занятий!.. Все люди жалуются, что жизнь коротка, а не знают, что от скуки делать, и изобретают тысячи средств, чтоб убивать время, и рады-рады, если им это удастся... Я это по себе знаю... Смертельная скука!.. Я, кажется, провожу время самым веселым образом. Все мне завидуют... «Экой счастливец!» — говорят мне... А, кажется, я со всяким поменялся бы.

Впрочем, может быть, это — общее свойство человеческой натуры. Что бы мы ни делали, чем бы мы ни наслаждались, все нам наскучит, мы всем недовольны. Станные мы существа!

Визиты, балы, карты, театры, все наши занятия не для того ли придуманы, чтоб только *провести время*... Провести время... Какое выражение! Обмануть время! И после этого мы жалуемся, что жизнь коротка! И после этого ищем чего-то, добиваемся...

18 июня.

Я всякий день теперь у Турова. Это осталось мне единственным утешением. Добрый старик понимает мои чувства и сожалеет обо мне, но и он советует мне покориться. Впрочем, я довольно весело провожу время... Я очень хорошо принят в самом высшем кругу и даже был на днях в Царском Селе. Об этом надобно бы было написать несколько страниц... Но на

меня напала какая-то лень. Да и где ж мне описать это волшебное жилище величайшей из цариц!.. Чудо, да и только! А она сама. О! Она выше всяких слов! Мне велено ездить туда каждую неделю, по субботам, когда бывает большое собрание и танцы. Графиня живет в Царском Селе и велела мне три раза в неделю быть у себя. У нее в эти дни вечера. Княгиня осталась в городе, и у нее я бываю всякий день. Это добрейшая и любезнейшая женщина!

24 июня.

Я писал к брату... рассказал ему, по какому случаю должен был остаться, пусть он побранит меня.

Всякую свободную минуту провожу я у Турова. Он меня любит, как сына... да и хладнокровная его Верочка видит во мне брата. Она привыкла меня видеть, как домашнюю мебель. Я думал, что она будет очень грустить об отъезде брата... Ничуть! Бедный Иван прощался с нею со слезами на глазах, а она... пожелала ему счастливого пути. Теперь я всякий день напоминаю ей о нем, но она не вздумала ни разу и покраснеть от моих намеков, очень равнодушно говорит о нем и просит написать ему поклон. Насилу уж отец принудил ее приписать к нему два слова. Она это исполнила очень спокойно и только сказала, что боится сделать орфографическую ошибку.

1 июля.

Целую неделю провел я в Царском Селе. Все праздники. Особливо 29 числа в тезоименитство наследника — обед, бал, фейерверк, катанье... Голова кружится... И княгиня была в то время там. Насилу вырвался в Петербург и, разумеется, прямо полетел к своему доброму старику Турову. Он меня встретил с отверстыми объятиями, а Верочка с какою-то ужимкою. Отец на нее жалуется, что она все скучна и молчалива. Неужели в сердце ее таится какое-нибудь чувство? Это было бы удивительно. Постараюсь добиться и тотчас же напишу к брату, обрадую его...

3 июля.

Туров уговорил меня в загородной поездке в Ораниенбаум *en petite société*¹... Мы два дня гуляли... Я постоянно следовал за нашим милым автоматом и старался расшевелить ее серд-

¹ В небольшой компании (фр.).

це... Были минуты, в которые мне казалось, что глаза ее одушевлялись каким-то таинственным огнем... Я тотчас же заговаривал о брате, но она становилась по-прежнему грустна и холодна. Что за странная девушка!.. На закате солнца, великолепно спускающегося в волны Финского залива, мы сидели с нею на горе, с которой видна была прелестнейшая картина. У ног наших шум моря, которое огромным прибоем ударялось в печальный берег, вдали белокрылые корабли, которые с вечерним попутным ветром несли в столицу севера роскошные произведения юга, а там, на краю пылающего запада, диск царя светил, омываемый волнами Балтики, которые как будто бы хотели прохладить его после утомительного дневного пути; за ними тихо выплывала луна и, подобно завистнику, с досадою вззирающему на доблести своего предместника, казалось, ускоряла минуту погребения солнца. Все это составляло такое чудесное зрелище, от которого, кажется, пришли бы в восторг и шпицбергенские белые медведи. Я пустился в поэзию, одушевился, рассыпался... а она! Устремя на минуту голубые глаза свои на меня, она внимательно ловила слова мои, но потом опустила голову и замолчала. Я наконец увидел, что проповедую в пустыне.

— Что с вами? — спросил я, взяв ее за руку.

Она вздрогнула, вырвала свою руку, вскочила и быстро спустилась к отцу и прочей компании. Странная девушка! Кажется, я ничего не узнаю и мне нечем будет порадовать брата.

3 июля.

Княгиня очень смеялась над моею романическою прогулкою. Она меня предостерегает от Верочки...

— Тихие воды глубоки,— говорит она по немецкой пословице.— Не верьте этому мнимому равнодушию. Оно опасно. Кто знает, может быть, она и влюблена.

— Помилуйте, княгиня! Я, верно бы, подкараулил хоть малейшую приметку ее чувств... Я ей сто раз заговаривал о брате...

— Да кто вам сказал, что она его любит... Я уверяю, что она о нем и не думает.

— Ну, как у них никого больше не бывает...

Княгиня задумалась и потом переменила разговор.

Я видел, что у нее какие-то мысли в голове.

— Что с вами? — спросил я.

Она покачала головою и не отвечала. Я стал настаивать, просить, умолять.

— Послушайте,— сказала она наконец.— Вы просто ребенок, ребенок избалованный и совершенно беспечный. Я гораздо лучше вас знаю сердце человеческое. Знаете ли, что вы до сих пор не любили? Да, не любили. Не возражайте мне. Вы не поймете, не убедите меня в противном. Но скоро пробьет и ваш час. К лучшему ли это будет для вас, не знаю, но какое-то предчувствие говорит мне, что первая ваша страсть будет и последнею. Вы будете несчастны.

— Боже мой! Вы меня пугаете,— отвечал я с притворным смехом, чувствуя, что какой-то холод пробежал по жилам моим.

— Вы смеетесь,— сказала она и устремила на меня пронзительные свои взоры.— О! Вы меня очень хорошо понимаете. Все это еще неясно, сбивчиво в вашем воображении. Это еще тлеющая искра. Но скоро из нее вспыхнет огонь, который охватит все ваше существо, всю жизнь, всю будущность. Бедный молодой человек, теперь вы побледнели...

— Что значат слова ваши? Растолкуйте мне, ради бога!..

— Нет, оставим этот разговор!.. Указать вам эту бездну — значит ускорить ваше падение... А может быть, я и ошибаюсь...

Что было отвечать? Я расцеловал руки этой несравненной женщины, а она, глядя на меня, улыбалась. Долго я думал о значении слов ее и предсказания. Она говорит, что я еще не любил... Но если я в самом деле так неопытен! Это, правда, не очень лестно для моего самолюбия, однако же я принужден сознаться, что все эти люди беспрестанно угадывают мои самые сокровенные мысли, а я никогда не мог узнать. Я не любил! Эта мысль волнует меня и беспокоит... Что, если они правы! А я уж однажды думал об этом... У меня нет друга. Меня никто не любит.

10 июля.

Со мною делается что-то странное, а все это княгиня! Все ее слова, ее предсказания! Я с тех пор часто задумываюсь, а сам не знаю о чем... Я начинаю сам себя испытывать и ежеминутно сам собою недоволен. Я вспомнил о Варе Зоровой. Она мне так нравилась. Я ее больше месяца не видал. И что ж? Отыскавши ее нарочно и проведя вместе с нею больше двух часов, мне показалось очень скучно... Я не мог ни любезничать

с нею, ни быть по-прежнему веселым и говорливым. Она даже заметила это и сказала мне:

— Вот видите ли, Mr. Zembine,— как мои предсказания сбываются. Я ведь говорила, что, вступая в большой свет, вы о нас забудете. Теперь вы стали так важны, степенны; бывало, все шутите и смеетесь.

— Поверьте, что я ничуть не переменился. Я нахожу, что вы так же прелестны. Мои чувства тоже не изменились.

Однако же, сколько я ни пускался в высокие фразы, я чувствовал некоторую неловкость. Мне как будто было совестно говорить вздор... Отчего это? Ведь прежде я по целым часам говорил без умолку. Или я стал глупее, а все прочие умнее, или в самом деле во мне произошла какая-нибудь перемена. Перемена? Какая?

11 июля.

Только у Турова я и доволен сам собою... Не глуп ли я? Жалуюсь, что у меня нет друга, а Туров разве не искренно меня любит... Правда, он стар, а мне кажется, для дружбы нужно равенство лет... Но все-таки он лучший мой друг... Ему могу я все рассказать, все доверить... Вот его Верочка, так совсем другое дело. О ней я не знаю, что и подумать. Ни от нее слова не добьешься, ни ей, разумеется, ничего не скажешь. Все молчит, все прячется... Что с ней делается?.. Право, жаль!.. В ней много доброго... Только эта странность, эта дикость... непостижимо!

12 июля.

Прекрасное открытие! Да неужто в самом деле я просто глуп. Что ни вздумаю, все выйдет вздор.

Сегодня придумал я самый дипломатический разговор с Туровым, чтобы узнать, отчего тоскует Верочка. Самым тонким образом завел я разговор на нее; потом на брата и как будто нечаянно рассказал ему, что на городе говорили тогда о тайных его намерениях свататься... о какой-то склонности... словом, объяснил ему все, что знал. Каково же было мое изумление, когда старик покачал головою и отвечал мне, что действительно у него была эта идея, но что он уже давно ее оставил, потому что Верочка не согласна.

— Не согласна! — вскричал я. — Как! Она не любит моего брата?

— Нет! И хотя вы часто намекаете ей о нем, но это несколько не переменяет ее чувств. Она уж решительно объявила мне, что не выйдет за него, и даже не раз просила меня сказать об этом *вам*.

Я смотрел на старика во все глаза и не знал, что отвечать.

— Но если брат мой ее любит?..

— Вот это-то мне и больно. Это редкий молодой человек, и хоть он мне не делал никаких предложений, но я давно угадал его сердечную тайну... А когда он отправился в поход и мы с ним прощались, то он мне все открыл...

— Что ж он вам сказал?

— Он сказал, что долг чести и родины отрывает его от дружбы и любви; что он так полюбил мое семейство, что хотел бы в нем на всю жизнь остаться, что собирался даже сделать мне об этом предложение, но что до возвращения своего не хочет связывать ни меня, ни дочери. Быть может, я буду убит, сказал он... Зачем же нарушать семейное спокойствие... Не говорите ничего Вере Николаевне... Поддерживайте только доброе ее ко мне расположение и сами не забывайте меня. Вот как мы расстались!.. Я долго молчал, но вы сами принудили мою Верочку со мною объясниться. Вы ей беспрестанно говорили, намекали о брате, и она просила, чтоб я не оставлял в заблуждении ни вас, ни вашего брата.

Бедный брат! Что я наделал! Если б я молчал, может быть, Верочке и не вздумалось бы сделать такое решительное объявление. Он бы воротился и мало-помалу опять бы приучил ее к себе. А теперь!.. Мне так на себя досадно... Можно ли надевать столько глупостей? Да и теперь, не объясняйся я с отцом, он бы еще надолго молчал, и все могло бы еще перемениться, а теперь!.. Княгиня права! Я совершенный ребенок. Что ни вздумаю, все выйдет глупость. Что мне теперь делать! Я ни за что в свете не напишу этого брату. Я прошу Турова, чтоб он молчал до его возвращения. Авось как-нибудь и уладится.

13 июля.

Я теперь боюсь разговаривать с этою Верочкой... Прежде я шутил с нею, болтал, смеялся, говорил о брате, а теперь не знаю, что и говорить... Да и она, Бог с нею, престранная! Может быть, я не обращал прежде на нее внимания, но мне казалось, что она очень равнодушно слушала мои вздорные рассказы, теперь от всего краснеет, бледнеет, смущается... Непости-

жимое создание!.. Впрочем, самое доброе, самое чувствительное сердце.

Вчера мы с Туровыми собрались проехаться по Неве. Знакомый член Адмиралтейства прислал мне катер, и мы пошли пешком на набережную. Когда стали садиться в катер, то надобно было переходить с берега по доске. Я пробежал вперед, чтобы принять ее и старика. А так как без глупостей я никогда не могу обойтись, то мне вздумалось, стоя на доске, дурачиться... Верочка, разумеется, просила перестать, я продолжал, и кончилось тем, что я оборвался и полетел в воду. Опасности никакой не могло быть. Вода была по пояс, и я, упавши, соскочил довольно ловко и, стоя в воде, хотел уже отпустить какую-то остроту... Каков же был мой ужас, когда я вдруг увидел, что Верочка, вскрикнув, вслед за мной полетела. И для нее, конечно, не было тут никакой опасности, но смешно было ей окунуться из-за моих глупостей. Я так удачно успел подскочить, что принял ее на лету в мои объятия и передал без чувств матросам, которые подбежали. Ее положили в катер, и как праздный народ начинал уже собираться на берегу, то я и велел отвалить. Через минуту она пришла в себя и смутно посмотрела на окружающие предметы. Мы уже быстро плыли по Неве, матросы затянули: *Как по матушке по Волге*, — ничто не напоминало смешной моей катастрофы. Я с нежностью, однако, поцеловал ее ручку и просил ее послушать, как матросы поют. Она с сомнением посмотрела на меня и заплакала. Отец начал успокаивать ее, я старался шутками развеселить ее...

— Так с вами ничего не случилось? — спросила она меня.

— Как ничего! — вскричал я. — Напротив, я в отчаянии. Вообразите! Я промочил ноги... А вы были так милы, добры, что за меня испугались... Так как мы на Неве, то вам легко за это вымыть мне голову.. Я самый негодный повеса...

— А я виновата перед папа... Он, верно, за меня напугался. Мне сделалось дурно, и мне показалось, что я тоже падаю в воду.

— Помилуйте! Да разве вы можете куда-нибудь упасть... Вы так легки, так воздушны, что подобно пуху будете держаться на воздухе.

Тут старик сделал тоже маленькую глупость, рассказав ей, как я ее подхватил. Она вспыхнула и замолчала.

Наше гулянье не было продолжительным. По островам нельзя было ехать в моем мокром виде, и мы воротились.

Я простился с ними и уехал домой, переоделся и отправился к княгине... Я думал ее насмешить моим рассказом об этом приключении, но она сделалась очень серьезною.

20 июля.

Что сделалось со всеми этими женщинами! Или я вовсе ничего не понимаю, или они с ума сходят. Верочка скучает и худеет, княгиня сделалась серьезна, а графиня просто сердится. Скрепя сердце я принимаю все это в шутку и кое-как отделываюсь... Чувствую, однако, что скоро потеряю терпение.

21 июля.

Княгиня предлагает мне отправиться в армию. Что это значит? Я сам хотел, это правда, но теперь... Мне было досадно... Я отвечал, что подумаю.

22 июля.

Мне кажется, что я в сумасшедшем доме... А всего вернее то, что я прежде всех с ума сойду. Что такое наговорила мне княгиня!.. Я два дня сижу теперь дома и не могу еще опомниться. Боюсь показаться куда-нибудь. Того и смотрю, что меня схватят и отправят в желтый дом... Боже мой! Неужели княгиня права! Я являлся к ней третьего дня.

— Вам не хочется отправляться в армию?..

Вместо ответа я что-то пробормотал, как школьник, пойманный на шалости.

— А для чего вы хотите остаться? — продолжала она. — Ужели вы так хорошо научились уже лицемерить? Или вы еще сами себе не умеете дать отчета в тайной причине вашего упорства? Берегитесь, я никогда не прощу вам притворства...

— Послушайте, княгиня! Вы меня когда-нибудь заставите невольно обмануть вас. Вы мне все твердите о каких-то тайнах, о моей скрытности и опасностях. Растолкуйте мне, объясните ваши мысли, и я вам ручаюсь, что ни за что в свете не обману вас.

— Графиня думает, что мы дурно сделаем, если откроем вам глаза... Я привыкла ей верить во всем. Она гораздо лучше меня знает сердце человеческое.

— Но за что же меня почитать таким ребенком, который ничего не понимает. Это почти обидно... Я охотно вверяю вам, княгиня, судьбу мою и знаю, что она в добрых руках; но за

мою преданность будьте и вы со мною откровенны... по крайней мере в том, что меня касается... Если я по неопытности моей в делах большого света и кажусь вам ребенком — то, могу уверить вас, что по чувствам моим я совершенный муж... Скажите мне, что вас беспокоит.

Долго молчала она, опустив голову, наконец устремила на меня испытующие взоры.

— Так и быть,— сказала она наконец.— Так и быть! Я вам все скажу... *вы любите, вы влюблены* и сами этого не знаете... Вас тоже любят с жаром первой любви и со всею искренностью невинности...

— Кто? Кого? Каким образом?

— Одним словом, вы соперник своего брата, вы любите Веру Турову, и она тоже без памяти в вас влюблена.

— Что за мысль? Вы ошибаетесь, княгиня... Быть не может...

Тут княгиня меня взяла за руку, быстро подвела к зеркалу и, указывая мне самому на лицо мое, сказала: «Смотрите!»

Я затрепетал и не смел отвечать. Мы опять сели, и, когда первое волнение утихло в груди, я стал рассуждать с нею хладнокровно об этом. Я ей твердил о невозможности этой страсти, о любви моей к брату, о чувствах приличия... Но она на все мои доводы качала головою и повторяла: вы все-таки любите друг друга. Наконец она мне хладнокровно перечла неоспоримые признаки любви ко мне Верочки, я согласился, что с ее стороны, может быть, что-нибудь и есть, но с моей...

— И с вашей то же самое,— сказала княгиня.— Только по вашему беспечному характеру вы еще не чувствуете всей силы этой страсти. Скоро и это будет. Змея уже заползла в вашу грудь и будет медленно и мучительно терзать ее. И чем более вы будете противиться своей страсти, тем вернее падете.

Мы замолчали. Потом я опомнился, простился с нею, дал слово испытать себя и уехал.

Вот я уж третий день дома... думаю, думаю и не смею решительно опровергнуть идеи княгини. Это вздор, сумасбродство, клевета, а все-таки есть что-то такое... Нет! Я никогда не допущу себя до этого...

30 июля.

Целую неделю испытывал я себя и Верочку, всякий день был у них и убедился, что она решительно меня любит. И я,

глупец, почитал все это холодностью, бесчувственностью! Она вся любовь! Каждая жилка ее трепещет пламенным чувством! Каждый взгляд пылает губительным пожаром. А я упрекал ее в холодности! Что мне теперь делать? Любить ее я не могу; не буду! Что скажет брат мой? Что заговорит свет? Что будет всякий день твердить собственная совесть? Такой поступок был бы низок, постыден. Я бы не пережил его! Остается бежать, уехать! Но тогда что будет с нею? Отъезд мой убьет ее. Боже! Спаси, вразуми меня! Я слишком слаб. Человеческих сил тут недостает!

Теперь мне ясно все прошедшее! Теперь я понимаю каждый взгляд, каждое слово, каждое движение! Чтоб испытать ее, я начал при ней говорить отцу, что намерен отправиться в армию. Она вздрогнула, но молчала и не подняла глаз.

— Неужели это может случиться? — спросил отец.

— Вы знаете службу, — отвечал я и взглянул на Веру. Она, не поднимая глаз, тихо встала и медленными шагами пошла к двери.

— Куда ты, Верочка? — спросил старик.

Она не слыхала или не имела сил отвечать и, не сказав ни слова, вышла.

— Понимаю, — сказал старик с горькою улыбкою.

— Что такое? — спросил я.

Он покачал головою и не отвечал.

Зато я слишком хорошо понял все. Она ушла в свою комнату, чтоб на свободе наплакаться, а отец знал все. Буря закипела в груди моей... Я хотел говорить, хотел броситься к ногам старика... но Бог спас! Одна минута — и я опомнился.

— Что ж мне делать? Посоветуйте мне, граф, — сказал я.

— Что мне вам сказать? Собственное сердце должно лучше всех дать совет... Все прочие судьи пристрастны.

— Напротив, граф! Собственному-то сердцу и не надобно верить. Оно может довести до таких поступков...

Я замолчал, а старик внимательно посмотрел на меня, как бы выжидая конца моей фразы.

— Во всяком случае, — сказал граф после тщетного ожидания, — я надеюсь, что вы уведомите заранее, если на что-нибудь решитесь.

— Кого же больше, как не вас? — вскричал я. — Разве у меня, кроме вас, есть кто-нибудь на свете?

Старик был тронут до слез.

— Вы еще не уедете домой,— сказал он после некоторого молчания.— Посидите здесь, а я пойду и постараюсь успокоить Верочку.

Он ушел, а я, как преступник, прислушивался к разговору его с дочерью в ближайшей комнате. Он говорил один, а она все рыдала. Сердце мое разрывалось на части. Вот слова княгини! Вот ужасное ее пророчество! Вот тот змей, который грызет мою грудь. О! Это ужасное, мучительное чувство!

Вскоре они воротились. Она старалась не смотреть на меня, чтоб скрыть свои слезы, и я с удовольствием помогал ей в этой невинной хитрости. Мы возобновили разговор о незначащих предметах. Но он не клеился. Видно было, что у всякого на сердце есть совсем другое. Я не мог долго выдержать этой борьбы и уехал.

Княгине я все рассказал... Она мне опять советует уехать.

ГЛАВА II

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖУРНАЛА

9 августа.

Что будет со мною! Я погиб! Судьба моя решена — и я люблю, и как бы ни хотел скрыть мыслей своих от самого себя, но чувствую, что давно уже любил ее... любил, любил с первого взгляда.

Бедное человечество! Мы ищем средства, как бы вернее обмануть самих себя, и удивляемся, что это не удастся.

Решась последовать голосу чести и долга, я отправился сегодня к Турову, чтоб объявить ему об отъезде моем в армию. К несчастью, я не застал его дома. Одна она сидела в задумчивости и пристально посмотрела на меня, когда я вошел, как бы стараясь прочесть на лице моем, с какою вестью я пришел. Верно, она прочла на нем свою участь, потому что побледнела.

Я хотел начать обыкновенный разговор и не имел духа. В самом деле, это была бы самая горькая насмешка. Я молча сел подле нее и взял ее руку. Она опустила голову и не отнимала руки, которой трепет заставил и меня трепетать. Она первая нарушила красноречивое наше молчание.

— Вы, кажется, приехали не с добрыми вестями,— сказала она едва внятным голосом.

— Если б судьба исполняла все наши желания, то, может быть, мы были бы самые несчастные создания на свете...

— Вы говорите загадками... Скажите лучше прямо и откровенно: какую весть принесли вы?

Я колебался, я видел все ее страдание.

— Вы молчите,— продолжала она с горькою улыбкою.— О! Это еще ужаснее! Послушайте. Я вам дам дружеский совет... Если вы поедете в армию, то, сражаясь с неприятелями, старайтесь убивать их с одного удара, но никогда не заставляйте страдать продолжительными мучениями. Это бесчеловечно.

Я не в силах был отвечать. Сердце мое разрывалось. Я принужден был схватиться за грудь свою, чтоб вздохнуть свободнее. Что-то тяжелое душило меня.

— Знаете ли, Вера Николаевна,— сказал я наконец,— что ваш совет похож на то самое, о чем вы говорили. Он не убивает, но я бы не желал и злейшим врагам моим того мучения, которое он заставляет испытывать...

— Это почему? — спросила она таким тоном, в котором слышна была насмешка и слезы.— Разве мужчины страдают когда-нибудь? Они — цари создания — сотворены с такою твердою душою и железною волею...

— Вы правы... состав их крепче, но зато если в грудь их заползла однажды змея, то никакие усилия не вырвут ее оттуда... А женщины пострадают и забудут.

— Вы разве испытали это? — с гордостью и насмешкою спросила она.

— Так говорят о них... О мужчинах же я испытал то, что говорю.

Печально посмотрела она на меня и покачала головою.

— Так вы едете? — спросила она после некоторого молчания.

— А если б я предоставил это на *ваше* решение, если б я потребовал от *вас* рокового совета, что бы вы сказали?

— Ответ не затруднителен... Если вас ничто не удерживает... с Богом!

Она махнула рукой и отвернувшись, чтоб скрыть свои слезы.

— Это жестоко! Вы очень хорошо знаете, что я... отдал бы жизнь свою, чтоб остаться... Но есть другие чувства, которые не согласны с волею сердца... Это чувство долга и чести...

— То есть славолюбие... Но разве вы не ощущали этой потребности, когда брат ваш уезжал в армию? Разве честолюбие не звало вас тогда на поле битвы?..

— Я не о том говорю, Вера Николаевна, и вы меня понимаете. Что мне слава и честолюбие?.. Не эти чувства гонят меня отсюда... Другие!.. И если я уеду, то не переживу своего мучения, но если останусь... то сделаюсь самым низким и презренным человеком... Вот ужасный выбор, который предстоит мне... Возьметесь ли вы решить его?

— Для этого мне надо бы было понять вас... А так как я не имею права на ваши тайны...

Она хотела уйти.

— Пойдите,— вскричал я.— Положите руку на сердце, посмотрите мне в глаза и повторите, что вы не знаете моей тайны.

— Ради бога, пустите! Чего вы от меня хотите?

— Решения судьбы моей! Теперь не время притворяться. Мы оба стоим у бездны... Если я останусь, то мы оба упадем в нее... Если ж уеду, то, может быть, я один погибну.

— Один? — вскричала она, судорожно схватя мою руку.— Послушайте, если вы смеетесь надо мною, то это слишком жестоко... Если я не умела скрыть от вас своей несчастной тайны... то умертвите меня одним ударом, но не терзайте так бесчеловечно... Что я вам сделала, бедная девушка!..

Она зарыдала и бросилась ко мне на грудь. Крепко обхватил я ее, прижал к сердцу и осмелился запечатлеть поцелуй на щеке ее, орошенной слезами. Она не сопротивилась и рыдала.

— Милый ангел мой! Возьми, возьми меня и спаси,— сказал я в беспамятстве.— Пусть я погибну, но любовь твоя заменит мне все.

— Смерть... жизнь — все с тобою! — прошептала она и обвила свои руки около моей шеи.

— Теперь к ногам отца твоего!..

— Я здесь, я плачу от радости!

Мы вскрикнули и упали в объятия графа. Он давно уже вошел и безмолвно глядел на нас.

— Теперь я умру счастлив,— сказал он.— Все мои желания исполнились.

Он опять обнял нас и заплакал.

— Я ведь говорил тебе, Верочка, что он полюбит тебя,— продолжал отец.

Молча склонила она голову на грудь мою, схватила мою руку, и, прежде чем я мог опомниться, она тихо поцеловала ее. Это выражение страсти лишило меня почти рассудка. Я бросился к ногам ее, обнял ее колени и залился слезами.

Мало-помалу мы успокоились. Весь наш восторг, все очарование были только сновидением. Пора было проснуться.

— Злой человек! Вы теперь не уедете,— сказала Верочка. Эти слова пробудили меня.

— Нет! Я должен ехать,— вскричал я.— Но не беспокойся, милый ангел мой, я не уеду, не соединив нашу участь неразрывною цепью... Я теперь принадлежу тебе, и все силы мира не разлучат нас... Но я должен ехать, чтоб увидеть брата... Против него я сделал проступок самый низкий и ужасный... Если он так же любит, как я... а иначе и нельзя тебя любить... О! Как он будет страдать, как будет проклинять меня! Я все вынесу, потому что заслужил его гнев.

И отец одобрил мое намерение видеться с братом. «Лучше перенести его упреки лично,— сказал он,— нежели допустить, чтоб известие о вашей свадьбе дошло до него по городским слухам».

После долгого совещания согласились мы, чтоб граф тотчас же уехал в Москву, чтоб я вслед за ним отправился в армию и чтоб заехал к нему в подмосковную, обвенчался там самым скромным образом и, пробыв не более трех дней, ехал в армию.

Вот до чего довела меня судьба... Что я сделал? Что будет со мною! Я не в состоянии ни о чем думать...

Я был у княгини и все ей открыл... Она взялась тотчас же выхлопотать отправление мое в армию. Приказала, однако, съездить к графине.

Я явился, и с первого взгляда на лицо мое она угадала мою тайну.

— Вы объяснились с вашей ледяной красавицей... Вы ее любите... Поздравляю! Когда же свадьба?

Я рассказал ей, что решился ехать в армию, чтоб уведомить брата о моем поступке.

— Какая глупая идея,— сказала она.— Что вы этим хотите сделать и доказать! Ваше раскаяние! Кто ж ему поверит? Вы украли у брата своего невесту, любовницу и хотите словами убедить его в своей невинности и в своем раскаянии. Это просто насмешка! Похититель сожалеет о своем поступке, спрятав наперед то, что он украл, и будучи уверен, что никто не может у него отнять этого сокровища!.. Какая тут логика! Это просто шалость школьника.

Я совершенно растерялся от слов графини и в извинение свое пробормотал ей, что и княгиня одобрила мой план.

— Да! Потому что у ней такая же романическая голова, как у вас! Вы просто смешны. Пора вам выйти из ребят и при вся-

ком деле думать о последствиях. К чему вас поведет поездка в армию? К преждевременной ссоре с братом и больше ничего. Вы дурно против него поступили, но ведь вы не можете этого поправить. К чему же, следственно, терзаться? Напишите ему просто обо всем. Если у него есть искра здравого рассудка, то он увидит, что если б не вы, то кто-нибудь другой отбил бы у него девушку, которая его не любит. Вы ее не обольщали, не уговаривали... Скорее она сама навязалась к вам на шею... Вы увлеклись молодостию и порывом чувств, взяли ее, женились, вот и все.

Я стоял перед графинею, как школьник. Что мне было отвечать на ее слова! Я не находил в голове моей никаких идей, чтоб опровергнуть их, хотя и чувствовал в глубине сердца совсем противное.

— Впрочем, подумайте, посоветуйтесь,— сказала графиня после некоторого молчания.— Поезжайте в Москву, женитесь, поезжайте в армию... Заезжайте ко мне, я вам дам рекомендательные письма... Попробуйте своего счастья на поле битвы... Я думаю, что эта война скоро кончится... Все европейские дворы *хотят нас помирить* с Портою; следственно, вы скоро воротитесь. Кампания не мешает молодому человеку... Она даст вам еще лучший ход по службе. Я все это предвидела и говорила княгине... Она дурно сделала, что ускорила развязку. Без нее вы бы не скоро еще догадались, что влюблены в Турову и что она вас без памяти любит...

Я поблагодарил графиню за ее ко мне милости и откланялся.

Через несколько дней.

Несчастья мои начинаются... Люди начинают вооружаться против меня. Это иначе и быть не может! Я до сих пор слишком был счастлив.

Вчера получил я приказание явиться к главнокомандующему в столице. Он объявил, что имеет приказание отправить меня в армию. Я удивился и сказал, что третьего дня подал об этом просьбу и не думал, чтоб резолюция так скоро вышла.

Возражать было нечего. Я отвечал, что через три дня явлюсь, и уехал. Тотчас же бросился к княгине, но ее не было дома. Прибежал потом к Турову и рассказал ему потихоньку, прося передать это Верочке со всевозможною осторожностью. Потом поехал опять к княгине. Опять сказали: нет.

Я поехал тотчас же к графине и ожидал там того же. Вышло напротив... Она приняла меня необыкновенно ласково.

— Я все знаю,— сказала она.— Вы должны повиноваться и ехать... Досадно только, что свадьба ваша отложится до вашего возвращения... А мне бы ужасно хотелось посердить княгиню... Она билась со мною об заклад, что свадьба эта не состоится... что она употребит все возможные средства, чтоб не допустить вас до этого союза... Мы побрались немножко... Я приняла ее пари... (Боже мой! Эти женщины, которым я верил судьбу мою, бились об заклад: удастся ли одной из них погубить меня!) Нельзя ли вам в эти три дня жениться как-нибудь тайно?..

— И я и Верочка готовы на все... в такое короткое время... Я военный... мне нужно дозволение начальства... Генерала моего здесь нет... а роковые три дня срока пролетят, как одна минута.

Прежде всего я воротился к Турову. Верочка уже все знала и, рыдая, упала без чувств на мои руки. Я старался успокоить, но она ничего не слушала, ничему не верила. Она только твердила, что едет со мною вместе в армию. Ужаснейшее отчаяние овладело Верочкою. Она ни за что не хотела расстаться и требовала, чтоб я ее взял с собою. Я же сам с отцом должен был успокаивать ее и уговаривать. Мы уже были обручены. Перед Богом и в сердцах наших мы уже были соединены. Отсутствие мое не могло быть продолжительно. Мы тысячу раз клялись друг другу, что никакие препятствия не разлучат нас и что первая минута нашего свидания все-таки будет посвящена на совершение свадебного обряда... Да и на что нам были клятвы? Любовь наша была выше всего. Человеческая жизнь была для нее слишком коротка, мы клялись сохранить ее по смерти. Вечность и любовь!..

Бедная Верочка в обмороке — и я уехал; по письмам, которые мне дала графиня, я надеюсь, что главнокомандующий армиею отправит меня обратно в Петербург с какими-нибудь депешами. Я увижусь с братом, вымолю его прощение, ворочусь и буду счастливейшим человеком.

21 августа.

Вот и я в армии! Главнокомандующий прочел сперва мои депеши; потом я подал ему мои рекомендательные письма, он их прочел и покачал головою.

Я рассказал ему, что хотел ехать в армию вместе с братом при начале кампании, но что обстоятельства меня остановили, что теперь я опять подал об этом просьбу.

— Что же бы вы желали теперь? — спросил главнокомандующий.

— Позвольте мне участвовать в первом сражении, которое ваше сиятельство дадите. Пошлите меня в самое опасное место и позвольте заслужить ваше внимание. Когда я ворочусь живой с поля битвы, то удостойте меня отправить обратно в Петербург с донесением о победе.

— Если я еще одержу ее, — с улыбкою прибавил он. — Хорошо, я согласен... Куда же вы хотите, чтоб я прикомандировал вас? Хотите ли при мне остаться?

— Я бы почел это особенною милостью и счастьем, но... у меня есть брат... я бы хотел с ним видеться... У меня здесь мой генерал, при котором я состою генеральс-адъютантом.

— Ах да! Вы ведь при генерале Громине... Хорошо же! Отправьтесь к нему... Я вам дам записку к нему, а ввечеру отдам и в приказе о вашем назначении... Вы очень кстати приехали... У нас скоро будет сражение... и если мы разобьем турок, то явитесь ко мне на другой день... Я вас отправлю с донесением в Петербург.

Я откланялся и уехал.

23 августа.

Я был у Громина. Он мне очень обрадовался... Но когда я ему рассказал все, что со мною случилось, он немного нахмурился.

— Напрасно я согласился оставить вас в Петербурге, — сказал он. — Здесь бы вы шли прямо по стезе долга и чести... а там женщины как раз собьют с нее хоть кого... Брат ваш теперь при мне. Ступайте, повидайтесь с ним... К обеду будьте у меня. Я постараюсь помирить вас.

От Громина я пошел к брату. Когда преступника ведут к допросу, то у него непременно должны быть те же самые ощущения, какие у меня были в эту минуту. А когда я его увидел, то воображал себя Каином¹, у которого гремющий голос Бога спросит: «Где твой брат Авель?»

Увидя меня, он изумился, но не обрадовался.

— Зачем ты приехал? — спросил он.

¹ Каин — старший сын Адама и Евы, земледелец, убил из зависти брата Авеля — «пастыря овец»; проклят Богом, отмечен «Каиновой печатью».

— Хотел с тобою видеться...

— Со мною? Что это значит? Не случилось ли чего?

Быстрый и недоверчивый взор его старался прочесть в чертах моих гибельную тайну.

— Можешь ли ты меня выслушать спокойно? — спросил я.

Он молчал несколько мгновений, потом, как бы сделав усилие над собою, сказал:

— Говори!

— Любил ли ты Турову? Любишь ли ты ее еще теперь?

— К чему этот вопрос?.. Ты хочешь мне сказать что-то ужасное... Дай мне собраться с силами... Впрочем, говори! Я на все готов. Она умерла?

— Нет, жива, но...

— Боже мой! Так, верно, еще хуже!..

— Для тебя хуже... Она жена другого!

Он пристально посмотрел на меня, побледнел и отвернулся... Мы оба молчали, и это было безмолвие смерти. Оба чувствовали весь ужас своего положения, и слова не могли его выразить. Я наконец решился прервать молчание. Оставалось нанести еще удар, и самый чувствительный.

— Этого еще мало, брат, — сказал я, — ты не знаешь, кто ее муж.

Мрачно посмотрел он на меня и почти шепотом спросил:

— Кто?

— Я!..

Сказав это, я чувствовал, что силы меня оставляют, и почти без чувств опустился на деревянную скамью.

Что еще рассказывать об этом ужасном дне, об этом печальном свидании? Мы мало говорили, но много сказали друг другу. Я отдал брату письмо от моего тестя, и оно привело его почти в изумление. Я старался представить все в самом простом и естественном виде — брат видел в этом всю утонченность обмана. Наконец мы расстались, и навсегда. По крайней мере, брат объявил мне, что если я когда-нибудь назову его *братом*, то он обесчестит меня перед всеми.

— Чтоб никогда я тебя не видел, не знал, чтоб никогда о тебе ни слова не слыхал.

Это были последние его слова, которые будут греметь в ушах моих во всю жизнь, которые будут провожать меня на суд Всевышнего. С растерзанным сердцем я ушел и не стыдился плакать целый час.

К обеду я пришел к Громину, но брат не являлся. Он послал за ним, но тот сказался больным и прислал рапорт, чтоб

его отправили в госпиталь. Громин велел ему сказать, что мы с часу на час ожидаем сражения и что к этому времени в русском войске не бывает больных. Я должен был пересказать Громину все наше свидание, и добрый старик, видя мое терзание, меня же старался извинить и успокоить.

Что со мною будет?

28 августа.

Завтра сражение! Слава Богу. Может быть, все мои страдания кончатся.

Я не буду искать смерти. Нет, чувствую, что жизнь мне дорога, потому что с нею сопряжена жизнь моей Веры, которая не переживет меня... Но если меня убьют... тогда... не все ли несчастья прекратятся? Я не буду знать, что после меня случится...

Журнал мой оставляю я моему брату. Он увидит из него весь ход моих несчастий и, может быть, простит меня.

Мне бы надобно было написать завещание на случай смерти... Но к чему это? Брат и без того мой наследник. Пусть он возьмет все. Вера ничего не захочет взять. Помнить же и любить меня она и без того будет во всю свою жизнь. Впрочем, я не связываю ее воли. Она еще молода. Если я погибну, то пусть она сделает чье-либо счастье... Может быть, даже сам брат мой... О! Если б это случилось, то я заранее прощаю обоих. Там, в лучшем мире, нет ненависти и земной любви. Там я буду их обоих любить равно. Прощай, моя Вера, мой единственный, бесценный друг. Я люблю тебя выше всего на свете! Ты мое единственное счастье, моя радость, мое утешение! Ты, ты мое все! Прощай. Завтра или я полечу к тебе на радостное свидание, или с высот буду взирать на тебя и в сновидениях утешать твою печаль. Еще раз прости до завтра!

ГЛАВА III

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖУРНАЛА

3 марта 1781.

Мог ли я думать, что журнал мой, который я начал таким легкомысленным образом, будет прерван такою грустною катастрофою и потом возобновлен в таком несчастном положе-

нии? Где я? Что со мною будет?.. Я в Константинополе, в плену, в неволе, и несчастная жизнь моя протечет далеко от святой родины, от милой моей Веры...

Я едва сам себе верю, читая написанные слова... А все-таки я чувствую сердечную радость, глядя на эти буквы... Я так давно не видал ничего родного, так давно не писал... Мой господин (да! У меня есть господин, который по своей воле и охоте может меня умертвить!)... мой господин долго не позволял мне иметь бумаги и чернил. Наконец, видя мою покорность судьбе, мое безропотное терпение, мой кроткий и печальный нрав, согласился на мою просьбу и позволил мне писать с тем, чтоб я своего писанья никому не передавал...

А кому? Куда? О чем?.. Добрый ага! Я благодарен ему и за это позволение... После шестимесячного страдания это — первая утешительная для меня минута... Я пишу... я расскажу самому себе свой бедственный жребий, я буду верить самому себе свои печали и чувства и самого себя буду утешать. Кто знает таинственные пути Провидения? Может быть, оно назначило мне эту годину испытания за мой поступок с братом, и, может быть, мои страдания смягчат правосудие неба... Может быть, судьба дозволит мне когда-нибудь увидеть мою родину, мою Веру... О! Только бы на одну минуту взглянуть на них, обнять их и умереть.

Памятный, ужасный день 29 августа! Мы выступили до рассвета. Корпус Громина должен был сделать обход, чтоб к полудню очутиться в тылу неприятельском... Мы должны были решить битву и довершить поражение... Случилось совсем иначе... Мы не знали, что к великому визирю, стоявшему перед нами, сераскир анатолийский¹ ведет на помощь новую армию и что она уже в двадцати верстах. Впрочем, мы совершили свой обход очень удачно... Турки, по беспечности своей, не рассылали патрулей на флангах, и мы прежде полудня пришли на назначенное место. Мы были в тылу неприятельском, верстах в пяти от поля сражения. Гром орудий давно уже возвестил нам, что сражение началось, и мало-помалу, к величайшей нашей радости, этот звук приближался к нам. Значит, наши одерживали верх, и скоро должна была начаться и наша работа... Вдруг патрули нашего арьергарда донесли нам, что несметная сила турок идет на нас с тыла... Никто не

¹ Сераскир анатолийский — командующий турецкими войсками в Анатолии, восточной части Турции.

хотел верить... Армию их мы обошли, какая же еще армия могла идти на нас с другой стороны... Мы, однако же, приготовились к бою, выслали вперед кавалерию и через несколько времени увидели всю опасность своего положения... Мы были между двумя армиями, не зная вовсе о существовании той, которая шла против нас... Впрочем, и сераскир изумился не менее нас. Он шел, чтоб соединиться с визирем, слышав, что уже битва началась, и спешил принять в ней участие, а перед ним вдруг очутились русские!..

Храбрый наш Громин недолго колебался. Он чувствовал всю важность своего поста и всю драгоценность времени. Он видел, что ему надобно пожертвовать собою, чтоб не допустить сераскира на поле битвы. Приказания тотчас же были отданы, и мы ринулись на сераскира. Он не был приготовлен к такой сильной и неожиданной атаке, и первая его линия обратилась в бегство. Вдруг земля задрожала под нами. Более двадцати восьми тысяч спагов¹ летели на нас... Это была ужасная минута! Только русской стойкости и хладнокровию можно было выдержать такую атаку... Мы наскоро составили каре и встретили их сильным батальным огнем... Они смешались, остановились и обратились назад, но, тотчас же устроясь опять за нашими выстрелами, вторично понеслись в атаку. Их приняли так же. Они сделали третью атаку и имели тот же успех. Тут и мы, в свою очередь, двинулись вперед, слыша между тем, что армия визиря сбита и отступает... Нас встретила янычарская пехота, и на этот раз мы нашли соперников, достойных себя; началась рукопашная резня, и русское мужество долго боролось с восточным бешенством. Наконец мы их сломили и погнали... Но в ту самую минуту ринулась на нас с тыла бегущая армия визиря, и ряды наши были разорваны... Последний наш кавалерийский резерв стоял с Громиным, и он решился пробиться сквозь эту нестройную толпу... Мы ударили на них — и с первого натиска опрокинули их... В эту самую минуту перескакивали мы через узенькую канавку, которая не могла бы затруднить и десятилетнего мальчика... Но моя лошадь, которая, верно, получила рану во время сражения, оступилась, оборвалась и полетела в канаву. Удар был силен и оглушил меня... Я не скоро мог опомниться, но когда пришел

¹ Спаги — легкая кавалерия, состоящая из жителей французских колоний в Западной и Северной Африке. Уподобление здесь этой французской кавалерии — турецкой... можно понять лишь как обозначение рода войск.

в себя, то через канаву неслись уже турецкие всадники в противоположном направлении... Не знаю, что мне вздумалось привстать в то мгновение, как последний ряд их перескочил... Но только ага, ехавший позади своего отряда, тотчас увидел меня и, указав на меня, приказал что-то двум своим спагам. Они бросились на меня, и мне ничего не оставалось, как дорого продать свою жизнь... Я начал самый отчаянный бой, и вскоре первые два спага лежали у ног моих; но ага послал еще троих, потом еще четырех и сам любовался нашим боем; я чувствовал, что силы мои истощались, что кровь моя текла уж из многих ран, но продолжал драться. Вдруг подъехал ага... и я уж ничего не помню... Только смутно, как в сновидении, казалось мне, что кто-то нанес мне удар в голову, что я упал и меня подняли, перебросили на лошадь и поскакали...

Когда я опомнился, то мы уже были в какой-то деревушке... Я лежал на полу в какой-то грязной хижине, и первый предмет, встретившийся мне, был тот самый ага, который так забавлялся моим боем с его спагами. Он тоже лежал на коврах и был сильно ранен. Верно, в ту самую минуту, как он подъезжал ко мне и как уже меня везли без чувств, русская картечь нечаянно отомстила за меня... Увидя, что я пришел в чувство, он сказал мне что-то ласковым голосом, но, видя, что я его не понимаю, кликнул врача, который на другом каком-то языке старался передать слова эти. Я покачал головою, показывая, что не понимаю их. Тогда врач подошел ко мне и начал заботиться о моих ранах. Я видел, что он мало в этом смыслит, но какое-то равнодушие к жизни и страданиям сделало меня ко всему бесчувственным... Я дал над собою делать все, что ему вздумалось. Он меня терзал, а я не испустил ни одного стона, и, когда он кончил, я отвернулся, закрыл глаза и уснул.

Проведя тут двое суток, мы поехали далее. Нас разбудили ночью, и всеобщие крики *москов* дали мне понять, что мы бежим от русских. Слава богу! Мы побеждаем!

После самого мучительного двухнедельного путешествия мы приехали наконец в Стамбул, и раненый мой ага поместил меня в какой-то конурке своего дома. С этой минуты, разумеется, исчезла вся заботливость о мне, а иногда мне даже не приносили и пищи. Я сам себе перевязывал раны, вымывая старую корпию и просушивая ее на солнышке. Молодость и покорство судьбе были моими лучшими врачами. Я выздоровел.

Не знаю, кто вылечил агу, но, верно, уж не врач его. Он позвал меня во время своего выздоровления, и на этот раз какой-то грек служил нам переводчиком. Во всякое другое время русские его фразы могли бы насмешить меня. Он объявил мне волю господина моего, что он уважает мою храбрость и будет обращаться со мною самым человеколюбивым образом, что он не будет заставлять меня работать, а прикажет только смотреть за своим садом, и если я соглашусь принять исламизм, то он даже обещает мне передать свое место аги.

Я поблагодарил его за все... Что мне было рассуждать с ним?

Вскоре мы оба выздоровели, и он повел меня по своему саду... Грек переводил мне его приказания, но я забавлялся над его бессмыслицею. В два месяца с половиною я больше выучился по-турецки, нежели он знал по-русски. Ага удивился моим успехам, велел мне нанять учителя.

С тех пор это послужило мне развлечением в моем несчастном состоянии. О нашей армии, о войне, о России, о моей милой Вере я никогда ничего не узнаю.

Так прошло полгода. Ага действительно добрый человек... Он не виноват в моей судьбе; по их законам, всякий военнопленный делается невольником, и он еще очень благосклонно со мною поступает.

4 марта.

Теперь уже я не буду писать чисел... Я и теперь не знаю, верно ли я счел. Здешнего календаря я еще не понимаю, а с нашим легко сбиться... Со дня сражения и во все время мучительного путешествия я часто забывал, какие тогда были дни. После я счел, но мог и сбиться. Да и на что мне это теперь! Все время плена, неволи, страданий не будет ли одною длинною мучительною ночью моей жизни! Все мною претерпенное не будет ли тяжким, грустным сновидением, от которого я едва ли проснусь прежде смертной минуты!.. О! Тогда Творец, верно, будет ко мне столько милосерд, что позволит душе моей хоть на одну минуту промедлить еще на земле... Я тогда полечу на мою родину, обниму Веру, подам руку примирения брату и понесусь за мириады звезд.

Я столько уже успел в турецком языке, что мне позволили читать Коран. Кажется, и это было бы запрещено, но ага думает, что я для того учусь по-турецки, чтоб принять исламизм.

Я как-то сказал ему о моем желании прочесть Коран, и он еще более убедился в своей мысли. Тотчас же принесли мне все книги Магомета, для меня это будет совершенно новое чтение.

Мне позволено выходить и гулять по улицам. Только, кажется, я не буду пользоваться этою неприятною свободою. Платье христианского невольника привлекает всех мальчишек... Меня забросали грязью и камнями... Я принужден был бежать. Когда я рассказал аге о своем несчастье, он равнодушно отвечал, что это вообще обыкновение, которое очень справедливо.

— Ведь надо же сделать различие между правоверным и джиауром¹,— прибавил он.— Прими исламизм, и все с почтением будут тебе кланяться.— Я не отвечал, поклонился и ушел.

Мне надоел ага с своими предложениями. Наконец я отделался от них. Он долго ходил сегодня со мною по саду и уговаривал меня принять исламизм.

— Послушай, добрый ага,— отвечал я ему.— Если б ты был в плену у нас и тебе предлагали принять нашу веру, согласился ли бы ты?

— Нет.

— Как же ты можешь думать, чтоб я теперь на это согласился?

— Это большая разница,— сказал он после некоторого молчания.— Я убежден, что исламизм истинная вера...

— А я еще больше убежден в справедливости моей веры...

Он посмотрел на меня, протянул руку и сказал:

— Ты прав. С этой минуты я тебе не буду больше делать предложений.

Грек, который был нашим переводчиком, сообщил мне сегодня по секрету важную новость. Он говорил, что с Россией заключен мир. Боже мой! Правда ли это?!

Я решился сегодня спросить об этом агу.

— Да! Это правда,— отвечал он.— Ну, так что ж из этого следует?

— По законам всех народов в свете пленные возвращаются при заключении мира.

¹ Д ж и а у р (гяур) — неверный: так магометане называли всех, кто не исповедовал их религию.

— Мы не знаем ваших законов, а вы не знаете наших. Кто раз сделался невольником, тот должен и остаться невольником.

— Но невольников везде покупают, а ты не купил меня.

— Неправда, купил! И заплатил дорого! Одна капля крови правоверного стоит тысячу джиауров, а я из-за тебя был ранен и полгода пролежал на одре болезни.

— Послушай же, ага. В моем отечестве я богат... Назначь за мою свободу выкуп, и я отдам все свое имение...

— Джиаур! — с яростью вскричал ага и схватился за свой кинжал. — Ты стоишь, чтоб я поразил тебя тысячью ударов, чтобы вырвал твой наглый язык!.. Как смеешь ты предлагать мне деньги за мою кровь?

— Ты меня не понял, ага; если я твой невольник, то ты можешь продать меня, когда захочешь... Ты можешь продать свой дом, свой сад, своих невольниц...

— Молчи! И никогда не смей мне говорить об этом... Я не продам тебя, и ты не получишь своей свободы.

Тут он меня оставил в величайшем гневе, с тех пор я его редко вижу.

Не знаю, что делать и кому верить. Грек больше не показывается... Верно, ага подозревает и его. Мне запрещено выходить, а домашние аги давно уже смотрят на меня с завистью... Если мир заключен, то в городе должен быть русский посланник... Только бы найти средство доставить ему письмо... Я заготовил его и всегда ношу с собою. Авось когда-нибудь и удастся... О мое отечество!.. Жена моя!..

Не смешно ли это! В моем положении, с моею вечною грустью, у меня начинается роман... Кажется, во всем моем существе нет ни одной частички, похожей на любовный эпизод... Но я столько читал приключений, в которых пленные посредством женщин и любви успевали получить свободу, что не смею отвергать никаких средств... Лишь бы увидеть мое отечество и мою милую Веру... Что-то она делает? Жива ли?..

Как смотритель сада, я по целым дням брожу по извилистым аллеям или с высоты киоска¹ смотрю на морские волны... Сколько раз при южных ветрах я каждой волне поручаю мой привет отчизне, мой поцелуй Вере... На восточной стороне

¹ Киоск — здесь: беседка.

сада стоит отдельное строение, мимо которого ага запретил мне ходить. Это гарем его. Разумеется, что мне ни разу не приходило в голову нарушить его приказание. Только недавно, сидя в киоске и свесившись с него в воду, я нечаянно обратил взоры в ту сторону, где был гарем. В первый раз заметил я, что из него выдался в море такой же киоск, как и садовый, и что в нем сидят женщины... Расстояние было довольно далеко, и я не мог разглядеть хорошенько ни одной... Видел, однако же, что они заметили мое присутствие и делали мне какие-то знаки. Я внимательно посмотрел на них несколько времени и ушел.

Вскоре черный евнух объявил мне, что женщины пойдут гулять по саду. Это значило, чтоб я удалился. Я привык к этому ежедневно и повиновался. Когда же прогулка их кончилась, то я опять пошел в киоск на прежнее место. Почти невольно взглянул я опять на киоск гарема и увидел только одну женщину, которая мне знаками показала на перила киоска. Я взглянул на то место, где стоял, и каково было мое удивление! На белом мраморе написаны были карандашом по-турецки слова: «Кто ты, прекрасный юноша? Напиши тут же и скажи: умеешь ли ты любить и молчать?»

Сердце мое взволновалось... Тысяча идей обхватили мою голову... Любовь женщины!.. О, как мало я об ней думаю!.. Но свобода, но отечество, моя Вера!.. Для них я на все готов... Что, если эта женщина имеет власть над агою!.. Если каким-нибудь средством успеет склонить его... если далее через нее можно доставить письмо русскому или австрийскому посланнику... и если далее, наконец, хоть бегство... Море, лодка, челнок, попутный ветер. Утопающий не имеет ли права ухватиться хоть за соломинку? Я спешил написать следующий ответ:

«Я русский пленный и за свободу мою готов отдать жизнь. Кто мне поможет, того я буду любить во всю жизнь. Сердце мое пламенно и благодарно, а язык умеет молчать».

Свесься с киоска, я знаками показал женщине, что ответ написан. Часа через два евнух опять сказал мне, что женщины хотят гулять по саду. Я вышел и потом опять явился на прежнее место. Там все прежнее было стерто и написан был новый ответ: «Останься на ночь в саду и жди меня в киоске. Сотри написанное сейчас».

Голос совести твердил мне, чтоб я не ходил. Разве сердце мое будет участвовать в этой ничтожной интриге? Разве я ищу

связи, разврата, преступления? Нет! Я покупаю мою свободу... Свобода! Отечество! Пред этими словами все исчезает.

И она невольница! Родина ее в горах Грузии. Братья продали ее купцу, торгующему невольницами... Ее привезли в Константинополь, выставили на рынке, осматривали, торговались, расходились... наконец ага купил ее... Больше она ничего не знает, ни о чем не понимает. Отечество, свобода! Эти слова не имеют для нее никакого смысла. Ага стар, и она его терпеть не может. Я молод, и она хочет меня любить. Здесь ли, в другом месте... ей все равно... Она никак не может понять, зачем я хочу бежать?.. Впрочем, она дала мне клятву сделать все, что я придумаю и прикажу... Писем она теперь переслать не может, потому что никогда об этом не думала... А чтоб я мог действовать, то она отдала мне все свои брильянты и жемчуга... Я обещал ей закупить вдвое, если только успеем уйти.

Нет! Ничто не удастся! И глупая моя интрига ни к чему не ведет. Я просил у аги позволения сходить на базар, но он отказал мне. «Скажи мне, что тебе нужно,— отвечал он,— и я все тебе доставлю».

Я сегодня отдал девушке все ее вещи и мои письма к посланникам. Пусть она попытается. К ним часто ходят торговки, которые берутся и не за такие дела.

Добрая девушка делает все возможное, чтоб доказать мне любовь свою... Она уже отыскала торговку, которая взялась за передачу ее писем (она не сказала, что это от меня) посланникам... Она уверена, что если я успею получить свободу, то увезу ее с собою... Не понимаю, как она может так искусно обмануть бдительность гаремных сторожей, чтоб всякую ночь приходить в садовый киоск. Я ее спросил, но она смеется и велит мне молчать.

Я получил ответ. Секретарь нашего посольства отвечал мне, что у этих варваров нет размена пленных и что если мой ага отказывает от выкупа, то официальным путем нельзя мне получить свободу. Сам падишах, который может из каприза отрубить голову моему аге, не согласится лишиться его невольника, добытого на войне. Притом же всякая попытка со стороны правительства ожесточит моего агу и подвергнет меня дурному обращению. Остается, следовательно, одна хитрость, одно бегство. Посольство радо будет тайным образом содействовать

моим планам и требует, чтоб я сообщил тою же дорогою все, что для этого придумаю. Ужасное положение! Что я придумаю!.. Конечно, море — единственная дорога... Из киоска в лодку, на корабль... попутный ветер... туда, на север!.. О блаженство!.. Увидеть отечество, обнять Веру и умереть.

Я написал все, что мог придумать... Кто возьмется за исполнение плана и удастся ли он?.. Это вопрос, который решит одно Провидение. Зюлема взяла письмо и передала своей торговке. Что-то будет! Боже! Тебе вверяю свой жребий!

Милосердый Творец! Какая ужасная развязка! Бедная, несчастная Зюлема! Я погубил тебя! Не знаю, кто изменил нам, но вчера я увидел весь дом аги в сильном волнении. Два черных евнуха прибежали ко мне, схватили и повели... Я хотел сопротивляться — мне сказали, что ага приказал меня привести... Я спрашивал: куда? зачем? Мне не отвечали. С удивлением увидел я, что меня ведут в гарем, и понял, в чем дело. Я уверен был, что мучительная смерть меня ожидает, и мысленно возносил последние молитвы к Богу и последние прощания отечеству и моей Вере.

Меня привели в киоск гарема... Там собрана была толпа женщин и среди них был сам ага. Увидя меня, он с яростью посмотрел на меня и, указывая на трепещущую Зюлему, спросил, люблю ли я ее? Я принужден был отвечать, что благодарен этой девушке за утешение, которое она мне доставляла в моем одиночестве.

— Знал ли ты, что, нарушая законы гарема, вы оба подвергаетесь смерти?

— Законов ваших я не знал, а смерти, ты знаешь, я не боюсь.

— Хочешь ли спасти себя и эту девушку?

— О своей жизни я тебя не умоляю... Неволья и смерть для меня одно и то же... Но чтоб спасти эту несчастную, я готов на все...

— Прими исламизм, и она твоя!

— Ага! Ты нарушаешь собственное свое обещание; ты дал мне слово никогда не повторять этого предложения. Избавь же меня от повторения моих прежних ответов. Я сожалею о несчастной и готов на смерть.

Он задрожал от ярости и осыпал меня ругательствами.

— Кто не может отвечать на ругательства, того оскорблять бесчеловечно,— сказал я и спокойно сложил руки на груди.

Я ожидал смертного удара, но он вдруг успокоился и мрачно отвечал мне: «Ты прав, джиаур! И я прощаю тебе. Гассан!..»

Тут он махнул рукою черному невольнику и указал на Зюлему. В одно мгновение на несчастную набросили мешок, завязали его, подняли на перила киоска и, сильно размахнувшись, бросили в море.

— Вы это видели, презренные твари,— сказал ага прочим женщинам.— Там довольно места для всех вас!.. А ты, джиаур, с глаз долой!..

Он махнул рукою, евнухи меня схватили, привели в сад и почти без чувств бросили на землю.

Вот чем кончилась моя попытка! Боже мой! Простишь ли Ты мне смерть этой несчастной! Теперь кончено! Жребий мой решен! Я должен умереть далеко от родины, далеко от моей жены.

Как долго я ничего не записывал в свой журнал! Не помню теперь ни месяцев, ни дней русского календаря.

Последние происшествия совершенно меня убили... Несколько недель я как бесчувственный бродил и желал одной смерти. Ага всякий день встречался со мною в саду и хладнокровно отдавал приказания, как будто ничего между нами не случилось. Я исполнял их, как автомат. И, однако же, все это дало мне уверенность, что ага ничего не знает о моей переписке с посольством и моих планах. Бедная Зюлема погибла за измену аге. Как он открыл о наших ночных свиданиях — не знаю; но ясно, что более он не узнал ничего. Эта мысль поддерживала до сих пор мое существование.

Новое обстоятельство бросило искру надежды на мою печальную будущность!.. Но как сметь воспользоваться им? Сам я готов пожертвовать своею жизнью, чтоб получить свободу... Но если другая жертва должна будет пасть за меня!..

Я всякий день сижу в киоске и смотрю на море... Тоска давит мое сердце... но все-таки это утешение... Иногда слезы невольно текут из глаз, а я все-таки люблюсь свободою волн, которых ничто оковать не может, которые от Босфора шумно катятся к берегам святой моей родины.

Недавно взглянул я нечаянно на то место, где бедная Зюлема начала со мною переписку; каково же было мое изумле-

ние, когда, по внимательном рассмотрении мрамора, я увидел что-то написанное! Я прочел следующее:

«Только малодушный боится смерти. Аллах назначил каждому день кончины, и никто не избежит этого часа. Любовь утешает неволю и услаждает в жизни. Тайна — лучший спутник счастья. Как ты об этом думаешь?»

Вероятно, это новое послание давно уже написано... Два дня я его оставил без ответа и думал, что мне делать!.. Если бы я только мог получить какое-нибудь известие из посольства... Если б женщины решились помогать моему бегству... Но я не смею предложить этого в письменном ответе. Мне изменят... А согласиться опять на свидание я не хочу...

Злая судьба опять влечет меня!.. Я сегодня сидел в киоске и смотрел на море. Нечаянно я свесился, чтоб посмотреть вдаль, и вдруг в гаремном киоске увидел женщину, которая как будто караулила меня тут целую неделю. Она мне тотчас же сделала знак, чтоб я прочел и написал ответ. Она не знает, что я давно уже читал.

Долго сидел я в размышлении и думал, что мне предпринять! Наконец решился и написал:

«Ты видела, что я смерти не боюсь, но не хочу вовлекать в погибель новой жертвы. Если я не могу получить свободы, то лучше умру один».

Возобновились прежние сцены, и через два часа нашел я уже ответ:

«Я видела, что ты мужествен и прекрасен, я тоже смерти не боюсь. Любовь отвратит все опасности. Погибель Зюлемы научила нас осторожности. Если ты согласен прийти на свидание, то я научу тебя самому безопасному средству. Отвечай».

Я отвечал тотчас же следующее:

«Я хочу тебя видеть, чтоб вверить тебе мой жребий».

Не прежде как на другой день получил я ответ:

«Останься на ночь в киоске».

И она пришла!.. Это была гречанка кандiotка¹, с малолетства проданная в гарем. Черты ее были прекрасны, чувства пламенны, а сердце благородно... Ее зовут Зофила...

Я ей рассказал мой жребий, и она пролиwała слезы... Я спросил, каким образом открыл ага мои свидания с Зюле-

¹ Город Кандия на острове Крит.

мою, но она не хотела отвечать, уверяла только, что *теперь* никто ей не изменит. Я решился наконец сказать о переписке моей с посольством, об участии Зюлемы, о торговке и о моем теперь неведении насчет принятых мер... Она удивилась.

— Так если бы Зюлема не погибла и если б предприятие твое удалось, ты бы увез ее с собою? — спросила она.

— Это от нее зависело, — отвечал я. — Она знала, что в отечестве моем у меня есть жена и что там я не могу уже любить ее...

— Не можешь? — сказала она задумавшись. — Жена! Ну так что ж? Ведь у тебя есть же невольницы?

— Нет, Зофила! Наш закон не позволяет иметь невольниц. Она опять задумалась.

— Послушай, — сказала она после некоторого молчания. — И у меня есть отечество и, может быть, родители и братья. Можешь ли ты отвезти меня на мой остров, если помогу тебе уехать и если уеду с тобою?

— Даю тебе клятву, что по прибытии в мое отечество я тотчас же найму корабль, который доставит тебя на твою родину.

— Хорошо же. Пиши письма к своему посланнику. Требуй скорейшего исполнения. Завтра я приду сюда за письмом.

Мы расстались.

На следующую ночь отдал я письмо... Что-то будет!

Ответ самый благоприятный! Судно давно готово к отплытию в Херсон... Но его нарочно для меня задержали. Торговка сказала о трагической кончине Зюлемы, и никто не хотел делать новых попыток, чтоб не испортить всего дела. Первая ночь, первый попутный ветер, и корабль поплывет мимо моего киоска... подъедет лодка, и, о боже! Грудь разрывается при одной мысли! Неужели я буду так счастлив, что увижу мое отечество... О моя милая, моя добрая Вера! Где ты? Что с тобою? Ждешь ли ты меня? Знаешь ли ты о моей участи и страданиях?..

ГЛАВА IV

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖУРНАЛА

12 февраля 1782.

Милосердый Творец! Заслужил ли я подобное счастье! Достоин ли я Твоей небесной милости? Где я? Что со мною

делается? Я на корабле! Я плыву в Россию! Я не невольник варвара! Я русский — и скоро обниму родимую свою землю... Скоро упаду на колени у подножия алтаря русской церкви! Услышу православные молитвы! Всякий нищий будет там мой брат, мой соотечественник, единоведец. Он будет говорить со мною по-русски. А моя жена, моя Вера... Нет! Я не доживу до этого! Я умру от одного восторга, ожидая!.. А мой брат!.. О! Он, верно, простит меня. Если уже судьба надо мною сжалилась, если сам Бог простил меня и позволил мне опять увидеть отечество и семейство, то неужели он будет строже рока. Я довольно пострадал!..

Как ветер тих! Как медленно корабль подвигается!..

Великодушная девушка! Чем я буду в состоянии наградить тебя за твою великодушную помощь? Простые, непросвещенные дети природы! Ваши понятия ограничены, но ваше благородство чувств не испорчено эгоизмом. Ваши желания не далее чувственных наслаждений, но вы готовы делать добро по одному побуждению сердца, а не из видов благодарности.

Она была тут, в киоске, когда в темную ночь я с трепетом ждал появления корабля и лодки. Ветер был попутный. Вдруг я услышал тихий шум весел и, рыдая, бросился перед нею на колени, целовал ее руки, обнимал... Я был вне себя.

— Ступай, русский! — сказала она, прильнув на минуту к моей трепещущей груди.— Ступай! Будь счастлив и вспоминай о бедной Зофиле! Я остаюсь здесь! Чего мне искать в моем отечестве! Турки и там властвуют. Первый янычар, который меня увидит на берегу, схватит и увлечет в свой гарем... Лучше покориться своей участи... Ступай... Я тебя буду любить до гроба...

Я еще раз обнял ее и как сумасшедший бросился в лодку... Она полетела, а я в это радостное мгновение смотрел на белое покрывало Зофилы, покуда мрак ночи позволял мне различить его. Я слышал ее рыдания и сам плакал...

Теперь я сижу в каюте... Все спят, а я не могу. Кровь волнуется, как в горячке... Я слышу биение собственного сердца! В Россию! В Россию!

Как долго! Третий день, а русского берега еще не видать. Ветер отошел к востоку, и шкипер сердится на меня. Он целый месяц простоял для меня в Константинополе, и хотя посольство заплатило ему за эту отсрочку все, что он запросил, но он все-таки сердится.



Ветер крепчает... Говорят, что это буря... Все боятся, а я один тихонько радуюсь... Каждый порыв бури приближает меня к России...

Шум, треск, беготня... Мы сели на мель... а берег в виду... Волны почти заливают корабль... Положено пассажиров по жеребью отвозить на берег... Какое несчастье! Всеобщие проклятия сыплются на меня. Во всем виноват я. Чтоб смягчить всеобщий гнев, я отказался от своего билета... Мне вышло ехать на берег в первую поездку. Я объявил, что остаюсь последним. Это удивило, но не успокоило всех... Все думают, что я остался охранять свои сокровища! А у меня, кроме этого журнала, ничего нет. Зофила дала мне свой перстень... А денег у меня нет, чтоб нанять и телегу до первого города. Но все равно; я скоро буду в России... А там с голода не умирают!

Я в России, в Херсоне, в карантине... Какая смертельная скука! Три недели пробыть взаперти!.. Впрочем, я писал к жене, к брату, к Громину, к графине! Мне было нечем заплатить за письма, и я принужден был продать перстень Зофилы... Жид клялся мне, однако, что сбережет его, потому что я обещал ему прислать двойную плату...

У меня требуют вида, паспорта и не хотят верить моему плену и побегу.

Когда я вышел из карантина, то какой-то чиновник градской полиции объявил мне, что я должен с ним идти к полицмейстеру; я отправился. Это было уже вечером. Меня привели и оставили в передней. Прождав тут около получаса, я вышел из терпения и требовал, чтоб полицмейстер вышел ко мне. Лакеи мне смеялись в лицо, говоря, что он занят; я настаивал и закричал на них... На этот шум пришел мой провожатый и с величайшею грубостью сказал мне, что он свяжет мне руки и ноги, если я не замолчу... Я не выдержал и отвечал грубо. Поднялся ужасный шум, на который явился сам хозяин. Он закричал на меня. При всем моем бешенстве я изумился и спросил его, знает ли он, с кем говорит.

— С бродягою, беспаспортным, с беглым, с самозванцем!..

Я не знал, что и отвечать на это обвинение, и он принял это, верно, за смущение и сознание.

— А ты думал, что тебя и не узнают! — вскричал он. — Нет, голубчик... Ты смел себя выдать за генеральс-адъютанта Григо-

рия Зембина? И ты осмелился говорить это начальнику здешней полиции... Вот я тебя проучу...

— Послушайте, господин полицмейстер,— сказал я с возможным хладнокровием.— Повторяю вам, что я тот самый, за кого себя выдаю, и вы можете отвечать за столь несправедливое обвинение... Я из плена... Корабль наш разбился; со мною нет никаких бумаг... Но я уже писал к жене, и брату, к своему генералу, к графине Б. Я получу от них ответы, и вы тогда убедитесь... а теперь прошу вас быть учтивыми.

— Так ты генеральс-адъютант Зембин?.. Ну-ка, умеешь ли ты читать? Прочти-ка вот это.

Тут он подал мне какой-то печатный лист. Я с удивлением посмотрел на него.

— Что, небось струсил! Читай же, читай вслух... Я посмотрю, хорошо ли ты знаешь русскую грамоту.

Я невольно начал читать. Это была реляция того самого сражения, в котором я был взят в плен... Тут после описания подвигов русской армии исчислены были наши потери и сказано, что, *к общему сожалению, генеральс-адъютант Григорий Зембин был убит и что неприятели, вероятно, изуродовали труп его, потому что даже тела не могли найти.*

— Что ты на это, приятель, скажешь? Ну-ка, признавайся скорее! Ты, верно, беглый солдат... Я тебя отправлю в твой полк...

— Господин полицмейстер, повторяю вам еще раз, что вы ошибаетесь. Я не был убит, а попался раненый в плен... Наше посольство отправило меня на корабле из Константинополя, и вы знаете, что корабль разбился.

— Так ты хочешь, чтоб я тебе больше верил, как печатному акту!.. Да и в газетах уже было, что Зембин исключен из списков, как убитый... Ты знаешь ли, как поступают с самозванцами?..

— Через несколько дней вы получите ясные доказательства, что я не самозванец и что вы обошлись со мною несправедливо.

Он требовал, чтоб я признался во всем, и он простит меня... Я имел довольно хладнокровия, чтоб повторить ему прежние доводы и требовать, чтоб он подождал ответа из Петербурга.

— Хорошо,— сказал он,— подождем. А до тех пор как беспаспортный бродяга, который наделал здесь дерзостей, ты останешься в рабочей роте...

Я не имел силы отвечать.

Как долго нет ни от кого писем! Смеются надо мною при всяком прибытии почты.

Боже! Поддержи меня! Не допусти до отчаяния...

Наконец судьба моя решена! Через полгода принимаюсь опять за несчастный свой журнал... Но где и как?.. Господи! Да исполнится во всем Твоя святая воля! Ты мне назначил страдать, и я безропотно понесу крест свой. Теперь все кончено! Я уже умер для всего света! Я потерял все земное... Благодарю Господа! Он предоставил мне лучшую участь. Молитва и надежда на Его милосердие! Теперь прошли минуты первой горести, и я с твердостью берусь за перо, чтоб набросать короткий рассказ всего, что со мною случилось... Бог спас меня от отчаяния, и я молю Его продлить мою жизнь для того только, чтоб смирением, молитвою и терпением доказать всю силу моей веры.

Я пробыл в Херсоне целых два месяца. Отчаяние уже готово было овладеть мною. Вдруг однажды прибегает за мною унтер-офицер и ведет к полицмейстеру... Кого же я там увидел! Моего брата!.. Я хотел броситься в его объятия, но суровый и холодный вид его остановил меня.

— Вот тот человек, который выдает себя за вашего брата, — сказал ему полицмейстер, указывая на меня.

— Кто б он ни был, — отвечал брат мой, — вы должны мне его сдать... Я привез вам предписание...

— Я и повинуюсь... но все-таки я должен изобличить этого человека, который с такой наглостью и упорством утверждал, что он ваш брат.

— Что это значит? — вскричал я. — Как, Иван! Ты допускаешь, чтобы мне говорили это при тебе.

— Вот видите ли!.. Он и при вас...

— Что вам за дело, сударь, — сказал брат мой полицмейстеру, — брат ли он мой или нет... Вы мне его сдаете, вот и все...

— Нет, не все! — вскричал я с негодованием. — Ты должен торжественно объявить, что я брат твой, — или я остаюсь здесь и буду уметь умереть...

— Остаться здесь ты не можешь, — отвечал брат с холодною суровостью. — Этот же человек принудит тебя насильно ехать туда, куда ему предписано тебя отправить. А брат ли ты мне, это мое дело, а не его... Если ты помнишь свой поступок против меня, то я удивляюсь, что тебе даже вздумалось хвалиться нашим родством. Поедем со мною. Дорогою мы объяснимся.

Гнев и изумление лишили меня слов. Наконец я обратился к полицмейстеру и сказал ему:

— Вы были правы. Он не брат мне, и если хотите сделать доброе дело в своей жизни, то оставьте меня здесь... Я не поеду с этим человеком.

— Если б я не получил предписания, — отвечал полицмейстер, — то прежде всего за дерзость наказал бы тебя, но теперь велю отправить, куда угодно будет господину Зембину. А вслед за тем пошлю по команде рапорт о новых твоих дерзостях, чтобы тебя наказали за них, когда ты приедешь на место.

— И ты молчишь, ты терпишь это, Иван? Да отвергнет же тебя Бог на Страшном суде своем, как ты меня отвергаешь. Поедем!

Мы поехали... Две недели ехали мы и во всю дорогу не ска-
зали друг другу ни слова.

Наконец приехали в Петербург, остановились в доме брата, и первым предметом, встретившимся при входе моем, был граф Туров. Рыдая, упали мы друг другу в объятия.

— Где моя Вера? — вскричал я.

Он потупил голову, продолжал плакать и молчал.

— Что это значит! Где Вера?

— О, пощадите ее! Не убивайте! Я один во всем виноват!

— В чем? Говорите ради Бога! Где жена моя...

— Добрый, несчастный мой Григорий! Ты много пострадал, но это было только началом твоих бедствий. Много тебе нужно твердости, чтоб перенести все удары, и еще больше великодушия, чтоб простить нас...

— В чем! Кого? Не мучьте! Скажите, что случилось? Где Вера? Где жена моя?

— Она теперь жена другого!

Я посмотрел на Турова, хотел что-то сказать, но вдруг густой туман разостлался перед глазами... Я хотел встать, но почувствовал, что лишился употребления ног... я хотел ухватиться за что-то, но вокруг меня была одна пустота и мрак. Более ничего я не помню... И однако же с той минуты помню я о какой-то другой фантастической жизни, которую проводил несколько времени, даже мне казалось, что несколько веков... Не знаю, что в это время было с моим телом, оно не принадлежало мне, или я не принадлежал ему; но мой дух, мое воображение и мучились, и насладились удивительным, чудовищным существованием... Земля, люди — все это исчезло для меня! Я видел, осязал какие-то непостижимые суще-

ства, то проскальзывающие у меня сквозь пальцы, то безмерностью своею обхватывающие горизонт, то иногда светлые, воздушные, прозрачные, то мрачные и тяжелые, давящие мне грудь... я их видел, говорил с ними, летал в их обществе между тысячами звезд, крутился в вихрях огненных, купался в океане, заливающим все мироздание... Иногда существа эти принимали знакомые земные образы: я напрягал свою память, чтоб вспомнить о них, силился, чтоб схватить их, но в ту же минуту они превращались в прежние фантастические существа и ускользали сквозь пальцы... Какая чудесная и непостижимая жизнь! Кто разгадает мне таинственную причину этих явлений, этого неземного существования?.. Да! Я уверен, что не был на земле в это время. Мне после сказали, что я несколько недель пролежал в горячке... Но я этого не знал, не помнил... это было самое восхитительное время моей жизни.

Когда я пришел в себя, то первым предметом, встретившимся мне, был Туров. Он радовался моему выздоровлению... Какое заблуждение! Мне прежде было гораздо лучше... Впрочем, земные мои отношения не скоро пришли мне на память. Долго я не понимал своего состояния и как будто собирал силы для страданий.

Наконец мало-помалу вспомнил я все и осыпал Турова вопросами. Он долго не хотел отвечать, говоря, что я слишком слаб... Но наконец уступил моим просьбам.

Ужасный рассказ! Я думаю, что болезнь тела отняла у меня в это время много способности, иначе я не постигаю, как я мог пережить этот рассказ.

Зачем приводить все подробности моих несчастий! Ведь это было только началом моих страданий. Дело в том, что после сражения, в котором я взят был в плен, все были уверены, что я убит. Громин, видевший мое падение с лошади, наверное полагал, что я падаю от смертельной раны. Притом же неприятельская кавалерия, несущаяся на меня, не оставила никакого сомнения в моей гибели. И он и брат написали об этом Турову. Вера сделалась опасно больна, узнав о своем несчастии... Но молодость спасла ее (как и меня теперь). Мир был заключен... Войско возвратилось, и брат явился к Турову.

Каждый день являлся он к нему, утешал Веру, и наконец отец начал говорить ей о всеобщих слухах, чтоб она вышла

замуж: за брата... Долго противилась она... но даже я *сам* должен был убедить ее к этому. Брат отдал ей мой журнал, который он нашел в моем чемодане. Там я мечтал о моей смерти в первой битве, изъяслял все раскаяние в поступке моем с братом и даже сказал, что в случае моей смерти Вера, может быть, соединится с ним... Одним словом... ее принудили согласиться, выпросили разрешение на эту свадьбу, потому что первая была не совершена, и они обвенчались.

Вдруг получили они мои письма... Все ужаснулись... Один брат сохранил свое хладнокровие... Он уговорил всех сохранить по возможности молчание до тех пор, покуда он ко мне съездит и меня привезет. Через Громина достал он предписание херсонскому полицмейстеру, чтоб тот ему сдал *того, кто называет себя Зембиным*, и уехал ко мне. Остальное известно.

— Что ж вы теперь намерены делать? — спросил я у Турова.

— Плакать, раскаиваться и умереть, — отвечал старик.

— Но Вера...

— Не спрашивайте меня... Брат ваш взял все это на себя... Он будет с вами говорить.

— В таком случае я ни за что не соглашусь, потому что не хочу видеть этого человека. Избавьте меня от этого свидания... Отберите от него все, что вы, Вера и он полагаете за нужное, и принесите... От вас я все могу услышать и принять... От него не ожидаю ничего, кроме злобы и ненависти.

После того прошло несколько дней... Все эти люди выжидали моего совершенного выздоровления, чтоб вторично убить меня. Я это видел, чувствовал и спокойно ждал.

Наконец наступила роковая минута. Туров просил меня еще раз со слезами на глазах, чтоб я принял и выслушал брата, но я отказался.

— Не все ли для вас равно, — сказал я. — Я буду знать, что вы мне говорите его слова, а не свои... Зато вы *избавите* меня от мучения видеть этого человека, который недавно не хотел признать меня братом и молчал, когда меня предавали унижению.

Несмотря на все мои убеждения, бедный Туров не решился высказать мне предложение брата, а принес мне его письменно.

Что я прочел! Мне предлагали отказаться от имени, от света и идти в монастырь!

Много тут было причин, доказательств, убеждений... но я горько улыбался, читая все эти утонченности. К чему все это? Я понял их всех, прежде нежели они сказали одно слово, написали одну букву. Мне больно, мне стыдно за них! К чему выставлять мне, что странность нашего положения повредит нам обоим безвозвратно в обществе! Я только что любил мою Верочку, но не был ее мужем; теперь она жена другого!.. Они и этого не забыли в своей мемории... Они даже сказали мне, что моя Вера носит под сердцем плод второго своего брака! Жалкие люди!

Я ни минуты не колебался, не раздумывал и написал на этой роковой бумаге, что согласен на все, но что в монастырь не пойду потому, что и там должен буду жить в сообществе людей. Я обязывался провести остальные дни жизни в какой-нибудь уединенной пустыне, где не буду видеть никого и где никто не будет знать, кто я. Подписав это отречение от всего, я требовал свидания с Верою.

Она пришла!.. В этом слове заключено все!.. Она упала к ногам моим и лишилась чувств. Я ее поднял и возвратил к жизни. Если б можно было обмануть сердце, то глазам своим я бы не поверил... Она так переменилась, что при взгляде на нее по жилам моим пробежал холод. Бедная страдальца!.. Я простил ее!.. Целых два часа сидели мы и, кажется, не сказали двух слов... Мы плакали и целовали друг у друга руки... Да и на что нам были слова! Мы глядели друг на друга и гораздо лучше понимали наши мысли, нежели посредством тысячи фраз.

Еще две недели провел я дома, виделся всякий день с Туровым и Верою, но объявил, что больше никого не хочу видеть. Графиня, получив мое письмо, равнодушно рассказала всем о моем возвращении. Она сама приезжала ко мне во время болезни, была и по выздоровлении, но я уже мысленно отказался от мира и не хотел никого видеть.

Брат мой... О, я и его прощаю!.. Он недавно нанес и мне и Вере гнусное оскорбление... Он смел сказать ей, что ежедневные ее со мною свидания неприличны и могут подать повод к злословию... Боже мой! Кому и о ком он это говорит!.. В ту минуту, как я все принес на жертву для него, когда обрекаю себя заживо погребению, когда отрекаюсь от всего мира... он смеет думать о преступлениях. Я не осуждаю его, я прощаю ему, но неужели милосердый Творец не обратит его к благо-

роднейшим чувствам!.. Мне неприлично видеться с Верою!.. Злословие будет говорить об этом!.. Жалок тот, чей язык дерзнул бы сказать о нас хотя одно нечистое слово, но гораздо более жалок тот, кто боится этого злословия и, по-видимому, готов заранее верить! Боже, прости им!

Через две недели я уехал. Со мною поехал верный мой Егор, которого я не мог убедить, чтоб он меня оставил,— вот одно существо, которого чувства искренни и благородны. И после этого мне жалеть о мире! О нет! Я узнал его, я испытал людей! Если б мне в минуту моего отречения предложили всевозможные блага, почести и даже безукоризненную любовь моей Веры, я бы с улыбкою равнодушия отвергнул и взялся за свой страннический посох. Он мне дает душевное спокойствие и тишину, а этот мир... О, я знаю его!

Первые месяцы провел я в одной деревне близ Петербурга. Никого не видел, ничего не знал. Но тут брату показалось, что я слишком близко от него живу... Туров приехал ко мне, сказал, что дочь его разрешилась от бремени сыном Александром... но что между супругами происходят беспрестанно сцены несогласия и раздоров... Он просил меня, как будто от себя, переехать в другой город, в другую отдаленную пустынь! Я понял его. Это мысль брата, и мой долг был ее выполнить.

Я отправился во Владимирскую губернию.

Я прекращаю свой журнал. Это была выдумка молодого человека, который искал каких-нибудь занятий своей праздности. Потом это был поверенный рождающейся страсти... Наконец, это было моим утешением в плену и несчастии... Но теперь я уж умер для мира сего... Помышления мои сосредоточились на одном предмете: это Бог и молитва! Занятия мои всегда будут одни и те же... Я уже не хочу вспоминать ни о чем, что со мною происходило... Я запечатаю этот манускрипт и надпишу, чтоб после смерти моей отдали его моему брату. Это будет единственное наследство после меня.

Думал ли я, что через пять лет я принужден буду опять раскрыть этот несчастный журнал, чтоб вписать еще несколько печальных строк. Я уже начинал забывать свое несчастье. Найдя убежище у благороднейшего и добрейшего из людей, Петра Александровича Сельмина, я посвятил свою жизнь молитве, чтению и помощи ближним. Вдруг ужаснейшая несправедливость брата заставляет меня описать его поступок.

Сегодня привели ко мне мальчика, оставленного неизвестно кем ночью у ворот Сельмина. При нем был пакет. Милосердый Боже! Что я прочел! Это было письмо от моего брата. Он умел отвергнуть собственного своего сына, и за что? Может ли человек дойти до таких низких чувств?

Он вообразил, что последние мои свидания с Верою имели целью преступление и что от этого дитя, родившееся у нее, было на меня похоже. И это смел думать брат, и о ком? — о брате, который отдал ему все на жертву.

Если б я мог плакать, то я бы пролил слезы над этим бесчеловечным письмом... Но я их давно уже выплакал... Я могу теперь только молиться за заблудшегося... Да простит Господь его жестокость и несправедливость! Бедная жена! Каковы должны быть *твои* страдания!

Я принял дитя и буду воспитывать его, как собственного сына. Со временем узнает он о своей судьбе, и я его приучу страдать и любить...

Теперь опять запечатаю эту рукопись. Теперь есть кому вверить ее после моей смерти.

ГЛАВА V

Когда Саша кончил журнал дяди, то первым его движением было броситься на колени и излить в теплой молитве свои чувства. Он и не заметил, что был не один. Софья Ивановна давно уже была в комнате и с любопытством наблюдала за ним, но он под конец так был углублен в чтение рукописи, что сквозь слезы не мог бы и разглядеть ее.

— Что с вами, Александр Иванович? — спросила она его.

Он оглянулся, но без малейшего смущения схватил ее за руку и сказал:

— Плачьте и молитесь вместе со мною... Добрый мой, несравненный дядя!..

Он зарыдал и не мог продолжать. Софья Ивановна старалась успокоить его и источала нежнейшие ласки. Мало-помалу он пришел в себя и, спрятав рукопись, отправился к гостям, которые в то время съехались.

Надобно заметить, что Саша читал свой журнал урывками, при беспрестанных нашествиях Софьи Ивановны, которую

мучило любопытство. Так прошло две недели, и Саша совершенно выздоровел. Из Москвы приходили ежедневно известия, по которым можно было знать, что ни русские, ни неприятели не трогаются с места. Даже начали носиться слухи о мире, и Саша решился отправиться в главную квартиру, к Тарутину.

Софья Ивановна залилась слезами, когда Саша объявил ей о своем отъезде. Она употребила всевозможные убеждения, чтоб удержать его,— все было напрасно. Он был непоколебим.

Все общество, с которым он успел в это время познакомиться, собралось, чтоб провожать его, и он отправился.

Через несколько дней он явился к главнокомандующему. Тот вспомнил о нем и спросил, хочет ли он при нем остаться. Саша отвечал, что это будет величайшим для него счастьем, и тотчас же вступил в исправление новой своей обязанности.

Вечеру, когда все дневные работы были окончены, он позвал Сашу и расспросил его о времени его лечения. Тот рассказал ему сперва вкратце, а потом, по приказанию его, подробно все, что случилось в монастыре. Этот рассказ чрезвычайно занимал Кутузова, а печальная кончина настоятеля и дяди растрогала его. Он обещал, что тела их непременно будут отысканы и преданы приличному погребению. Он велел притом Саше написать все это, и в особенности разговор Наполеона с пустынником, и представить себе. Саша спешил исполнить это приказание к совершенному удовольствию Кутузова, который при этом случае увидел и литературные его способности.

С тех пор его стали употреблять и по письменной части в главной квартире. Все его полюбили как за его достоинство и услужливость, так и потому, что главнокомандующий очень хорошо о нем отзывался.

Однажды поутру явился в главную квартиру один генерал и, подойдя к Саше, спросил у него, можно ли видеть главнокомандующего.

— Он всегда занят,— отвечал Саша,— но всегда и принимает. Нам приказано докладывать о всех являющихся к нему, в какое бы то время ни было. Как прикажете доложить о вас?

— Бригадный генерал Зембин...

Саша побледнел и обратил блуждающие свои взоры на генерала. Это движение изумило Зембина, который также, в свою очередь, окинул быстрым взглядом молодого ординарца.

Они оба узнали друг друга.

— Как, неужели это он! — вскричал Зембин. — Каким образом ты попал сюда?

Вместо ответа Саша закрыл глаза, печально покачал головою и сказал:

— Дяденька приказал вам сказать, что он вас прощает... Теперь ваша вражда кончилась... Он уже пред престолом Всевышнего...

— Умер?

— Смертью мученика и истинного сына отечества!..

Зембин побледнел... На глазах его навернулась слеза.

— Он приказал доставить вам свое завещание, — продолжал Саша. — Куда прикажете прислать его?

— Оставь его у себя... Мне оно не нужно, — с суровостью отвечал Зембин. Вдруг голос его смягчился, и он тихо продолжал: — Да! Я знаю! Это его журнал... Через час я пришлю за ним.

Он повернулся и хотел идти.

— Еще одно слово, — сказал Саша, остановя его. — Где моя добрая, несчастная мать?

— На что тебе? Ты никогда с нею не должен видаться...

— Я хочу и буду писать к ней, — с твердостью отвечал Саша.

Внимательно посмотрел на него Зембин. Он привык к безусловному повиновению, а ему отвечали так решительно.

— Хорошо, я пришлю адрес, — сказал он и отошел. В эту минуту Сашу позвали к главнокомандующему, и Зембин вступил в разговор с другим адъютантом.

— Как попал к вам этот молодой офицер? — спросил он и чрезвычайно удивился, когда ему тот рассказал, что Саша сделался любимцем главнокомандующего, что при Бородине он получил крест из рук Кутузова и что все его любят и уважают.

Зембин задумался и не продолжал более расспросов.

Через час Саша получил от Зембина адрес своей матери и вручил посланному журнал умершего дяди. Потом тотчас же написал к матери письмо, в котором рассказал ей все, что с ним случилось в это время, и в особенности встречу свою с отцом.

С этой минуты жизнь Саши заключалась в занятиях службы и не представляла ничего особенного.

События отечества поглощали всякие частные происшествия. Война приняла вдруг самый неожиданный переворот.

Наполеон, обольщая себя надеждою на мир, дождался русской зимы, и участь его *великой армии* была решена.

Отступление по той же самой безлюдной и разоренной дороге произвело первое расстройство в неприятельских войсках. Стужа и голод начали ежедневно поражать тысячи жертв, а превосходное преследование Кутузова проселочными дорогами довершило гибель этого полумиллиона двадцати племен, вторгшихся в Россию. Березина была последним актом великой драмы 1812 года. История всех веков не имела и, вероятно, не будет иметь подобных примеров. Кто бы мог в мае подумать, что через три месяца Наполеон будет в Москве? И кто бы вообразил в сентябре, что через три месяца все эти полчища завоевателей исчезнут с лица земли, что император их убежит один в свою столицу, бросив на жертву печальные остатки своих ветеранов, и что русские явятся за Неманом, чтоб пробудить Европу от сна неволи и унижения... Непостижимый переворот! Потомство с трудом поверит ему!

Но кто не знает всех этих событий? Мы должны ограничиться рассказом нашей повести, которая приближается к концу.

После Березины Саша сделался болен. Суровость зимы пересилила его молодость, и главнокомандующий приказал ему ехать в столицу для излечения. Он отправился.

Какое печальное зрелище представила ему теперь Москва! Он не находил не только знакомых ему домов, но и целые улицы исчезли. Везде еще видны были следы великого пожара, и направление прежних улиц можно было только находить по рядам труб, печально тянувшихся, как надгробные памятники погибших зданий. Правда, что теперь Москва уже кипела народом. Тысячи рук уже воздвигали новые жилища; половина народонаселения уже возвратилась, но никто почти не нашел своего дома.

Все радовались торжеству отечества, но напрасно отыскивали себе приюта: огонь пожрал все. Отовсюду привезли припасов и товаров, но покупать было не на что. Несмотря на жестокую стужу, многочисленные толпы черни жили почти на биваках, да и среднему классу было не лучше. Целые семейства помещались в одной комнате и были очень довольны. Немногие из знатных находили свои дома в целости. Там только, где стояли французские маршалы и значительные генералы, было все пощажено, в прочих же домах уцелели одни сте-

ны, мебель была перебита и истреблена; большая часть дорогих зеркал, фортепиан и книг употреблена была на костры французских биваков.

Остановясь в гостинице, Саша послал отыскивать, существует ли дом Леоновых и есть ли в нем кто-нибудь. Как он обрадовался, когда посланный объявил, что не только дом уцелел, но и сама барыня изволила воротиться. Он написал ей письмо и просил приюта на несколько времени. Добрая старуха тотчас же сама приехала и взяла его с собою. Там приготовили ему особую комнату, и через час явился даже доктор для пользования Саши. Болезнь его была одна слабость и изредка лихорадка. Спокойствие, теплая одежда и хорошая пища должны были в скором времени восстановить его здоровье, расстроенное походными трудами, бессонницею и дурною пищею.

В награду за свое гостеприимство Леонова имела полное право требовать рассказов Саши, и он после первого отдыха рассказал ей все, что с ним случилось, не открыв ей только тайны своего рождения. Печальная кончина дяди ужаснула ее, и она тотчас же послала узнать, возвратился ли кто в его разрушенную обитель. Через два часа привезли к ней одного из иноков, которые бежали вместе с Сашею и по очищении Москвы от французов тотчас же воротились в свое жилище. И он и Саша, как родные, обрадовались друг другу. Инок рассказал, что по возвращении своем все они с помощью народа отыскали тело своего настоятеля, и хотя оно пролежало целый месяц под развалинами, но сохранилось почти невредимо, потому что, будучи ограждено отовсюду кучами камней, не имело сообщения с воздухом. Все духовенство, какое было в ту минуту в Москве, совершало над ним погребение, и вместо памятника воздвигнут был над ним целый холм из развалин монастыря.

И тело пустытника было отыскано в то же самое время и вместе с настоятелем предано земле. Инок обещал Саше явиться к нему по выздоровлении, чтоб проводить на могилу дяди, а до тех пор Саша заказал ему приличный памятник.

Леонова снабдила иноков богатыми дарами и обещала собирать для них пожертвования по всей Москве.

Еще другая сердечная радость готовилась Саше. В комнату его вдруг вошел Николай Леонов. С криком восторга бросились они друг другу в объятия, и мать восхищалась этим

зрелищем. Леонов был ранен под Малоярославцем и отвезен в Калугу, где мать отыскала его и взяла к себе. Рана была легкая, и он уже выздоравливал.

Тут Саша вспомнил о Сельмине и спросил о нем. При этом вопросе и Леонова и Николай взглянулись между собою, и по отрицательному знаку головою матери можно было догадаться, что они намерены что-то скрывать от Саши. Между тем на вопрос Саши Леонова отвечала, что Сельмин все еще не выздоровел от бородинской своей раны и находится все еще у нее.

Саша решился спросить о Марии.

— Она не так здорова,— отвечала Леонова, потупя глаза, и тотчас переменяла разговор.

Саша заметил эту хитрость, но не хотел настаивать. Он был уверен, что Николай расскажет ему все, когда они останутся одни.

Это ожидание, однако же, не сбылось. Леонова, уходя от Саши, увела и сына, говоря, что ей нужно ему сказать о многом.

Вечеру пришли они опять оба и принесли ему разных книг. Впрочем, мать скоро ушла, и Николай, оставшись один с Сашею, говорил только о войне, политике, наградах и тому подобном, но о семейных отношениях ни слова. Саша опять спросил о Марии, но Леонов отвечал о ней как будто нехотя и продолжал свой военный разговор. Это подстрекнуло любопытство Саши, но он видел, что явные вопросы тут ничего не сделают, и решился действовать скрытно, противопоставляя хитрость хитрости.

Он уже несколько раз писал из армии к своей матери, но не мог требовать, чтоб она ему отвечала, потому что письма затерялись бы. Теперь только мог он уведомить ее о постоянном своем жилище и спешил написать ей об этом. Запечатав письмо, отдал он его на другой день Леоновой, когда она к нему пришла. Адрес и переписка Саши с Зембиной изумили Леонову. Она ему сделала об этом несколько вопросов, на которые тот уже заранее приготовил ответы самые неудовлетворительные. Этого довольно было, чтобы вполне возбудить любопытство Леоновой.

— Что это значит, любезный Александр Иванович,— сказала она,— что вы уж со мною секретничаете? Этого прежде не было... Разве вы разлюбили нас?

— О! Совсем нет!.. Я только стараюсь подражать вам... Прежде и вы любили меня, как домашнего, а теперь скрываете от меня то... что для меня было бы, может быть, всего важнее... Конечно, я, может быть, не заслуживаю вашей доверенности..

— Что вы! Что вы! Бог с вами! Я понимаю, о чем вы хотите сказать. Но это совсем не потому, чтоб скрывать от вас что-нибудь, а единственно для вашей же пользы... Теперь вы нездоровы... и наше известие может огорчить вас... Так чтоб поберечь ваше же здоровье, мы решились отложить всякое объяснение до вашего совершенного выздоровления...

— Я чрезвычайно благодарен за это снисхождение... и прошу вас позволить отложить и мне мои рассказы до тех пор... Вы совершенно правы, иные воспоминания могут иметь вредное следствие для здоровья!

Леонова замолчала и не хотела настойчивостью вынуждать доверенность. Она взяла письмо к Зембиной и сказала, что отправит его сейчас. После нее пришел Николай, но Саша не хотел у него ничего насильно выведать и разговаривал с ним о самых обыкновенных предметах.

Так прошли две недели. Саша выздоровел. Он уже получил ответ от матери и плакал от радости. Это были первые строки, в которых он видел материнскую нежность, а до тех пор он не знал ее, потому что годы младенчества давно уже изгладись из его памяти. Это письмо снова возбудило любопытство Леоновой, и она самым невинным образом спросила его, что к нему пишет госпожа Зембина.

— Я осведомлялся об ее здоровье,— сказал Саша,— и она отвечает, что, слава богу, здорова... Она такая добрая, милая... Я познакомился с ее мужем в армии.

— Где же это?

— В тарутинском лагере... Он зачем-то явился к главнокомандующему, и мы узнали друг друга... Тут мы с ним часто виделись, и он дал мне адрес генеральши.

— Ну, что же он теперь говорит о вашем с ним сходстве?

— Он находит, что это сущий вздор. Военное платье и труды похода так переменили мои черты, что он не нашел в них вовсе такого сходстве...

— Да, вы немножко возмужали, похудели... Но он ошибается. Черты те же самые... Конечно, тут один случай... Да где же вы познакомились с генеральшею? Помнится, вы ее видели только у церковного подъезда...

— О нет! Я встретился с нею при выезде моем из Москвы и провожал ее несколько станций...

— И были переодеты девушкою!

Саша догадался, что Сельмин все рассказал. Нельзя было отпереться.

— Да! — отвечал он. — Потому что отпуска я не мог взять в эту минуту... а дядюшка приказал проводить госпожу Зембину.

— И вы продолжали в это время играть свою комедию с Сельминым... Он за вас сватался...

— Я не мог ему открыться, не подвергаясь наказанию за переодевание... Впрочем, я в ту же ночь уехал в армию...

— Да, да! Мы все это уж узнали... и принуждены были открыть глаза бедному Александру Петровичу... а то, право, смешно... Он без ума был влюблен в вас... Мы его насилу разуверили... Только Маша могла убедить его... и успокоить... Он очень был сердит на вас и все грозился, что при первой встрече убьет вас.

— Вы, разумеется, очень смеялись над такою пустою угрозою...

— Напротив, и я и Маша очень боялись за вас сначала... Уж только тогда, как мы ему рассказали, что вы ранены при Бородине и получили крест из рук главнокомандующего, он успокоился и простил вашу шутку...

— Простил? — вспыхливо сказал Саша. — Это очень великодушно с его стороны... Жаль, что я не могу подражать ему и за глупую его угрозу потребую объяснения.

— Вот прекрасно! Да вы забываете, что не он, а мы в этом виноваты...

— Зачем же вы открыли ему тайну переодевания? Она не вам одним принадлежала...

— Тут много было причин... Так как это и сначала была *наша* выдумка, которой вы из угождения повиновались, то мы должны были не вам, а себе просить извинения...

— Я не все вижу, почему вы *должны* были...

— Мы этому человеку очень много обязаны... Если б не он был все это время с нами, то мы бы подверглись тысячам неприятностей... Притом же он так нас полюбил, что нам совестно было оставлять его в заблуждении... Если вы за это в претензии, то взыскивайте с нас...

— Нет ли *еще* какой-нибудь причины? Я по всему догадываюсь, что вы от меня скрываете еще *другое* какое-нибудь обстоятельство...

— Если вы так догадливы, то я готова и все вам открыть... Вы всегда нас так любили... мы даже почитали вас за домашнего, за родного... следственно, вы, верно, порадуетесь... когда я вам скажу... что этот добрый Александр Петрович полюбил Машу, посватался к ней и в этом месяце женится.

Саша опустил голову и замолчал. Два существа, из которых каждое его любило, изменили ему в одно время. Какое-то печальное чувство стеснило грудь его и отразилось в горькой улыбке.

— Послушайте, милый Александр Иванович,— продолжала Леонова.— Будем говорить откровенно... Я знаю, что вы тоже любите Машу... Может быть, и она сама... Но вы еще так молоды... Вы на такой прекрасной дороге... Вы сделаете, вероятно, блистательную карьеру и легко себе найдете сотню невест. Теперь вы бы не могли жениться... Война продолжится еще, вероятно, несколько лет, и Маша должна бы была ждать... тогда как вы легко бы могли забыть ее во время похода... Мы, старухи, хорошо знаем, каковы господа военные!

— А господин Сельмин, верно, составляет исключение? — насмешливо спросил Саша.

— И очень верное исключение... Он уже инвалид и не может служить в поле. Он уже ходит на костыле... Ему, вероятно, дадут где-нибудь место коменданта, и Маша моя будет спокойна...

— К чему все эти объяснения? — печально прервал ее Саша.— Если я и любил вашу дочь, то это была больше братская привязанность... Я никогда не смел и мечтать о союзе с нею... Я бы никогда не решился сделать вам подобное предложение... Искренно, от всей души желаю ей счастья... Она его вполне заслуживает, а я...

Тут он не мог продолжать: слезы заглушили слова его. Леонова бросилась обнимать его, утешать...

— О! Не беспокойтесь обо мне,— сказал Саша.— Это вовсе не отчаяние, не печаль о потерянном счастье... Я о нем и не воображал... Мне только стало грустно, что меня так скоро забыли... Это не что иное, как пустое самолюбие.

И все-таки Саша продолжал плакать, а Леонова продолжала утешать его.

— По окончании войны,— сказала она шутливо,— когда вы воротитесь, обвешанные орденами, я берусь вам сосватать невесту вдвое красивее и вчетверо богаче Маши.

— Благодарю вас,— отвечал Саша, горько улыбаясь.— Мне никакой не нужно. Я не ворочусь с поля битвы. Жизнь моя слишком ничтожна! Пусть она кончится хоть с какою-нибудь пользою...

Леонова истощила все свое врожденное и приготовленное усердие к утешению Саши, но он холодно благодарил ее и оставался печальным.

Когда Леонова ушла, явился Николай и, в свою очередь, утешал Сашу.

— Пойдем, братец, служить,— сказал он.— В нынешнее время молодой человек должен думать не о жене, а о славе.

— Я никогда и не думал о жене,— отвечал Саша.— Что же касается службы, то, кажется, я с первого шага доказал, что могу и умею служить.

После этого Саша начал самый обыкновенный разговор и наконец объявил, что намерен выехать со двора. Леонов видел, что Саша хочет остаться один, и оставил его... Но это был день визитов; испытание Саши еще не кончилось. К нему вдруг вошли Мария и Сельмин.

Хотя оба вновь прибывшие лица уже заранее приготовились к затруднительности свидания и разговора с Сашею, но все-таки затвержденные фразы замерли на устах их при виде молодого человека, вперившего в них изумленные свои взоры.

Сельмин первый прервал молчание и, протянув руку Саше, сказал ему:

— Господин Тайнов! Нам бы надо с вами ссориться, а я пришел к вам мириться. Дайте вашу руку.

Саша подал ему руку и отвечал несколько дрожащим голосом:

— Господин полковник! Чин мой слишком мал, чтоб ссориться с вами и чтоб мириться. Если вы мною недовольны, то я готов перенести все ваши упреки... Могу вас только уверить, что, с моей стороны, я никогда не думал ни смеяться над вами, ни огорчать вас. Чувства мои к вам были искренни. Открыть же вам чужую тайну я не имел возможности.

— Довольно, любезный Александр Иванович! Я не требую от вас никаких объяснений. Я узнал, что вы совсем выздоровели, и хотел с вами короче познакомиться в настоящем вашем виде. Вы так хорошо начали службу, что нам в чине считаться нечего. Вы меня скоро догоните. Прошу же вас быть со мною без церемоний. Вы издавна друг здешнего дома, и я, как

новый член семейства, пришел к вам рекомендоваться. Все прошедшее мимо! А в будущем позвольте надеяться, что мы будем друзьями.

— Это для меня очень лестно, Александр Петрович, и я постараюсь заслужить ваше доброе расположение...

Тут решилась и Мария сказать несколько слов Саше, но по всему было видно, что смущение ее было так сильно, что она едва понимала, что говорила. Саша горько улыбнулся и спешил начать самый обыкновенный разговор... Мало-помалу и Мария приняла в нем участие, внутренне благодаря Сашу за его великодушие... Так кончилось свидание, которое с обеих сторон было тягостно.

Сельмин и Мария приходили нарочно, чтоб объявить Саше о своей помолвке, но ушли, не сказав этого. А Саша при появлении их хотел сказать, что на другой день от них уедет, и тоже не сказал. Только тогда, как они ушли, он видел всю странность своего положения и решился исполнить то, о чем не смел сказать. Выехав со двора, как будто для прогулки, он явился к военному генерал-губернатору и просил подорожной для обратного отъезда в армию. Она тотчас же была ему выдана, и он, отыскав себе кибитку и лошадей, приказал приготовить их к завтрашнему дню.

Можно вообразить себе удивление Леоновых, когда они на другой день, проснувшись, узнали, что Саша уехал! В письме, которое он им оставил, прощался он с ними самым трогательным образом, благодарил за все прошедшие ласки, дружбу, попечения и желал от всей души счастья жениху и невесте.

Саша не поехал, однако же, прямо в армию, а отправился к матери, в Тульскую губернию. Слезы восторга встретили его. Несчастливая мать получила от мужа своего журнал покойного пустынного. Извещая ее о смерти своего брата и о встрече с Сашею в главной квартире, он отзывался о них уже не с тою ненавистью, которая дотоле составляла главную черту его характера. Он объявлял бедной матери, что дал сыну ее адрес, куда к ней писать, следственно, дозволял ему переписку. При всех слезах, которые она ежедневно проливала при чтении журнала пустынного, она начинала надеяться на будущее. Воображение ее представляло ей возможность примирения отца с сыном, и эта мысль усладила все ее горести, прошедшие и настоящие. Неожиданный приезд Саши заставил ее все забыть на время.

Какая разница была теперь между минутою последнего свидания и теперешним приездом! Тогда постыдное переодевание сына наполнило сердце ее отчаянием, а теперь ордена и чин, полученные им на поле битвы, благосклонность к нему главнокомандующего и всеобщая любовь окружающих его приводили ее в восторг. Она не могла насмотреться на него, беспрестанно начинала говорить о всем и поминутно забывала предмет разговора, чтоб еще раз всмотреться в черты его, чтоб обнять его, чтоб пролить на грудь его радостные слезы. Она была вполне счастлива!

И, однако же, она сама через несколько дней напомнила Саше об отъезде. Он повиновался, и на этот раз расставанье было не так печально. И мать и сын надеялись на лучшую будущность. Они уже могли беспрепятственно переписываться, и теперь Зембина решилась написать к мужу своему письмо, в котором в первый раз осмелилась оправдываться и упрекать его в жестокости и несправедливости. Саша должен был сам отдать ему это письмо, и он взялся за это.

Проживши две недели у матери, он отправился в армию.

ГЛАВА VI

Наступила весна 1813 года. Русские уже были за Одером и готовились перейти за Эльбу. Европа с изумлением видела эти северные фаланги, которые давно уже были уничтожены французскими бюллетенями. До этой минуты ужасная гибель армии Наполеона была для нее тайною. Все знали по газетам, что он вывел свое войско из России для того только, чтоб разместить его по спокойным зимним квартирам. «Где ж эти зимние квартиры? Где ж эта армия?» — спрашивали все друг друга. И каким же образом малочисленные когорты русских осмеливались так дерзко проникнуть в сердце Европы? Народы Германии с восторгом встречали своих освободителей, но кабинеты еще молчали. Одна великодушная Пруссия, осушившая всю чашу бедствия, решилась на последнее, отчаянное усилие, и эта решимость должна занять в истории место гораздо блистательнее ее последующих побед. Она не знала тогда, приступит ли кто к великодушному союзу с нею. Она только чувствовала, что на этот раз если Наполеон победит, то уже политическое ее существование исчезло.

И в эту самую минуту, когда союзные монархи получили известие, что Наполеон идет противу них с новою армиею, созданною силою его гения, они сидели у смертного одра того великого полководца, который в 1812 году спас Россию.

Кутузов умирал в Бунцлау.

Неизвестно, какой бы переворот приняла весенняя кампания 1813 года, если б Кутузов остался жив. Но последующие события осенней кампании 1813 и зимней 1814 года доказали, что эта исполинская борьба руководима была самым Провидением и не подвержена никаким человеческим расчетам. Смерть Кутузова при самом начале борьбы как будто указывала союзным монархам, что им должно приготовиться к многим испытаниям, неудачам и потерям, прежде нежели они достигнут высокой своей цели. Для личной же славы и для благодарности потомства Кутузов сделал все. Ни один полководец не умирал в столь блистательную минуту своих подвигов. Он именно *опочил на лаврах*.

За две недели до его кончины приехал в главную квартиру герой нашей повести. Кутузов очень ласково принял его и приказал бессменно при нем дежурить. Увы! Эта лестная обязанность была непродолжительна. Знаменитый старец видимо угасал. Последние дни его были, однако, самые приятные в его жизни. Его ежедневно навещали оба монарха, решившиеся освободить Европу, они ежедневно требовали его советов для предстоящей кампании и вообще оказывали ему всевозможные знаки уважения и доверенности!

За день до кончины своей он поручил некоторых своих подчиненных особому вниманию и милосердию императора Александра, и в том числе был Саша. Наконец смерть похитила его, чтоб сделать имя его бессмертным.

Увы! Переходя от больших предметов к малым, нам немного остается сказать о герое повести.

По кончине Кутузова был он прикомандирован к главной квартире в число свитских офицеров; участвовал в Люценском и Бауценском сражениях и не прежде перемирия мог видеться с своим отцом.

Зембин принял его с некоторым замешательством, Саша подал ему письмо от матери.

Прежние страсти вспыхнули на лице старика. С сильным волнением прочел он письмо и потом бросил его в камин.

— Зачем ты был у матери? — спросил наконец Зембин Сашу.

— После Березины сделался я болен,— отвечал Саша.— Главнокомандующий отправил меня в Москву; там я лечился, послал несколько писем к матушке и когда выздоровел, то, отправляясь в армию, должен был заехать к ней...

— *Должен!* Почему должен? Для того только, чтоб нарушить мои приказания, чтоб смеяться над моею властью!..

— Я отправлялся в армию... и может быть, никогда уже не увижу ее... Я хотел получить благословение матери, чтоб умереть спокойно на чужой земле.

Зембин замолчал и печально опустил голову.

— Но отчего же ты так долго не привозил этого письма? — спросил он после некоторого молчания.

— Я приехал в армию за несколько дней до кончины Кутузова... Ваш корпус был тогда уже далеко... С тех пор я находился при главной квартире императора и не мог отлучиться. Только перемирие дозволило мне отыскать вас...

— Долго ли ты прожил у матери?

— Две недели.

Зембин покачал головою:

— К чему это все?.. Может быть, я не прав. Но нас с братом и женою рассудит Бог. Тебя же я не могу признать... Пятнадцать лет тому назад объявил я всем о твоей смерти... Вот даже свидетельство о ней... Следственно, теперь я бы должен объявить себя лжецом... если еще не хуже...

В это время он из своего портфеля достал какую-то бумагу и, развернув, показал ее Саше. Тот, чтоб лучше рассмотреть ее, взял в руки и, отойдя к окну, внимательно прочел; потом медленными шагами подошел к камину и бросил ее в огонь.

— Что ты делаешь! — вскричал Зембин.

— Я отсылаю на Суд Божий обвинение своей матери... Кому из окружающих вас людей нужно знать, есть ли у вас сын или нет!.. Разве каким-нибудь племянникам для наследства! О! С какою радостью я бы уступил его за одно ваше слово! Разве мне нужно ваше имя, ваше богатство?.. А бедная мать моя разве просит вас о чем-нибудь? Нам обоим нужно только ваше сердце... Брат ваш, несчастный страдалец, уже перед престолом Божиим. Он просил вас...

Недоверчиво покачал Зембин головою и молчал.

— Прощайте, генерал! — сказал Саша, глубоко огорченный бесчувственностью отца.— В этом мире мы, вероятно, больше не увидимся...

— Это почему? — угрюмо спросил Зембин.

— Потому что я во всяком сражении ищу смерти и найду ее... Добрая моя мать благословила меня... а отец? О! Я не виноват, что в мой смертный час не останется благословения отца!..

— Перестань!.. Что за вздор!.. У нас перемирие, и скоро заключат мир, и мы оба воротимся к твоей матери... Там мы увидим... Ты же, негодяй, сжег свидетельство о твоей смерти, этак я поневоле принужден буду... Ну, полно же... не плачь... Мне и без того грустно... Ну, дай руку... Обними меня.

С криком радости бросился Саша на грудь отца. Долго оба молчали и плакали.

— Батюшка! — вскричал наконец Саша.

— Пстой, пстой, не так скоро! — сказал, улыбаясь, Зембин.— Теперь мы только будем добрыми друзьями... Авось теперешнее перемирие окончится миром, и мы отправимся к матери... Там мы все обделаем...

— Нет, батюшка! На скорый мир не надейтесь. Я самый маленький человек в главной квартире, но по всему, что вижу и слышу, могу уверить вас, что война будет жестокая, продолжительная...

— В таком случае будем служить и надеяться на Бога... К матери твоей мы оба напишем, что сегодня виделись друг с другом и помирились. Пусть и она порадует... А чтоб теперь объявлять всем, что ты мой сын,— это совсем не нужно... Мы всех удивим, насмешим, и только! Гораздо лучше...

— О! Теперь я готов целый век ждать и молчать! — вскричал Саша.— Кто счастливее меня на свете! У меня есть отец!

— А у меня — добрый, милый сын, и я вполне счастлив,— сказал Зембин.— Все кончено! Я тогда ничему не верил... Но теперь... О бедный мой Григорий! Сколько я виноват перед тобою!..

Он закрыл глаза рукою и стер с них крупную, тихо выкатившуюся слезу.

— Он давно уже простил вас... но бедная моя мать... вот кто больше всех пострадал.

Зембин молчал и обнимал сына.

Наконец надо было расстаться. Они условились во все продолжение перемирия видаться как можно чаще, и если кампания возобновится, то посредством казачьей почты получать сведения друг от друга.

Действительно, через несколько дней Зембин приехал в главную квартиру и пробыл у сына три дня. Вскоре потом

Саша еще раз навестил отца, а наконец окончание конгресса¹ и возобновление военных действий разлучили их надолго. Но и тут при рассылке приказаний из главной квартиры Саша успевал писать к отцу и получать от него ответы.

Под Лейпцигом Зембин был ранен и отвезен в Берлин для излечения. Саша выпросил себе отпуск на неделю и провожал его туда со всею заботливостью нежного сына. Рана была неопасна, но требовала долговременного пользования, и Саша советовал отцу при первом облегчении ехать в Россию.

— Нет, друг мой,— отвечал Зембин.— С такими ранами стыдно выходить в отставку, надо служить донельзя. Если я был дурной отец и муж, то всегда был хороший солдат и верный подданный. Теперь такое время, что царю нужны хорошие слуги. Месяца через три я с тобою опять увижусь.

Поручив отца попечению многих соотечественников, живших в это время в Берлине, Саша отправился обратно в армию.

Наконец началась достопамятная кампания 1814 года. Русские были во Франции, и великодушный их монарх за разорение России мстил одним милосердием. Эта последняя борьба составит в военной истории прекраснейший памятник гения Наполеона. Он был уже морально побежден; призрак непобедимости его исчез, превосходство сил всей Европы подавляло его; измена гнездилась между его царедворцами, он уже отделен был от французов общественным духом того времени; он уже видел, что ему нет спасения. Но и тут, когда он мог уступчивостью купить себе мир и трон на Шантильонском конгрессе, он хотел лучше пасть, нежели унизиться; он продолжал борьбу бесполезную, но славную и не раз заставлял союзные армии сомневаться в успехе войны. И наконец то, что должно было спасти его и поставить союзников в самое сомнительное положение, то самое погубило его. Движение на Сен-Дизье в тыл союзных армий во всяких других обстоятельствах дало бы ему победу, а тогда оно ускорило падение.

Гениальная решимость императора Александра не утратилась этого опасного движения. Он уверен был в своей армии

¹ Шантильонский конгресс. Созван после Лейпцигской битвы для заключения мира в Европе. Высокомерное поведение Наполеона, не желавшего отказаться от претензий на Пруссию, Варшавское герцогство, признать независимость Голландии и Испании, привело к срыву переговоров и возобновлению военных действий против Наполеона, закончившихся его полным крахом.

и хотел окончить войну одним ударом. Его вело само Провидение, и жребий народов был решен.

Зембин прибыл в армию еще при Бриенне и, являсь в главную квартиру, провел с сыном целый день. Он вполне мог почитать себя счастливым. Родительская нежность была совершенно новым для него чувством. Только недавно начинал он ощущать ее. А как в преклонных летах всякая страсть действует сильнее, то и Зембин вполне предался этому сладостному чувству. Теперь он сам удивлялся своему ослеплению и, казалось, старался загладить все прошедшее. А Саша?.. Он утопал в восторге!.. Он чувствовал, что теперь начинает только жить, потому что теперь только нашел отца и мать.

Сколько воздушных замков строили они в будущем! Самые недальновидные чувствовали, что кампания скоро кончится. Все думали, что Наполеон спасет свой трон миром, и все рассчитывали, что возвратятся скоро в отечество. И Зембин с Сашею мечтали о будущем своем счастье в кругу семейства. Они еще не знали его во всю жизнь. Судьба готовила совсем другую развязку.

Зембин уехал к своей дивизии, приказывая Саше ежедневно уведомлять его: жив ли он и здоров ли.

18 марта русские явились под стенами Парижа. Горсть храбрых защищала его, а народонаселение в семьсот тысяч человек очень равнодушно ожидало конца битвы. Печальные остатки ветеранов, уцелевших от громов Лейпцига и ножей испанских гверильяс¹, подкрепленные учениками Политехнической школы, вступили в борьбу с избранными legionами всей Европы и решились защищать последнюю минуту существования Наполеона. Они сражались как герои, но, покрытые ранами, приходили умирать у застав парижских, восклицая: *Нет сил! Их слишком много!*

И русские полки производили чудеса. Местные обстоятельства затрудняли их поход, и колонны их не могли все в один час явиться для атаки парижских укреплений, но везде мужество заменяло число. На них смотрел император Александр, перед ними был Париж, и они летели на неприятельские батареи, не считая ни числа врагов, ни укреплений.

Для одной из атак Монмартра с северной стороны назначена была дивизия Зембина, и случайно Саша послан был на

¹ Г в е р и л ь я с ы — испанские партизаны (*исп.* Guerillas), сыгравшие значительную роль во время войны с Францией 1803—1813 гг.

поле битвы к этой дивизии, чтоб ускорить ее движение для одновременного нападения с войсками восточной и южной стороны. Он полетел и отыскал отца и вместе с ним понесся на высоты, усеянные батареями. Сперва отец его уговаривал, чтоб он возвратился к главной квартире, но потом обнял его и сказал:

— Ты прав! Или умрем вместе, или вместе исполним свой долг.

Дивизия двинулась на штыках... О! Это было великолепное и ужасное зрелище! Стройная масса, быстро, мужественно и твердо несущаяся на укрепленную гору, которая изрыгает тысячи смертей, низвергает целые ряды храбрых, и эта масса героев все-таки идет, стесняет ряды свои, ниспровергает все встречающееся, равнодушно смотрит на светящееся жерло орудий, зияющих противу них смертью, не останавливается ни перед какими препятствиями и весело совершает предназначенный ей подвиг!

Дивизия Зембина быстро взбежала на высоты Монмартра, но тут встретил ее такой жестокий картечный огонь, что храбрые воины падали целыми рядами и не могли продвинуться вперед. Зембин сам схватил знамя и бросился на батарею. Саша кинулся за ним, и дивизия успела наконец достигнуть рва укреплений... Но вдруг из-за него с криками двинулось несколько батальонов на штыках, и в одну минуту все смешалось. Французы думали этим движением *спасти* орудия и укрепления. Тщетная надежда. Русские, увидя пехоту и штыки, отдохнули. Их встречали любимым их оружием, и они с радостным криком «ура!» бросились навстречу неприятелю.

Однако же первый натиск французов разорвал передовые строи русской колонны. Зембин был впереди с Сашею, и в рукопашной схватке, которая произошла в первую минуту, французские солдаты, прорвавшиеся сквозь русский фронт, бросились на генерала и Сашу. Горсть храбрых окружила их и с отчаянием начала защищать, но чрез несколько мгновений они пали, и Зембин первый упал, пронзенный ударом штыка. В это мгновение Саша мужественно и ловко отбивался от трех солдат, но, увидя опасность отца, бросился к нему с яростию тигра и поверг двух французов, угрожавших ему своими штыками... В эту минуту солдат, поразивший Зембина штыком, размахнулся на него прикладом, и Саша, видя, что он никак

не успеет подхватить этот ужасный удар, с отчаянием закричал французскому солдату:

— Остановись! Это отец мой.

Несмотря на всю ожесточенность боя, француз как бы от волшебного жезла остановился, медленно опустил ружье и, мрачным взглядом окинув Сашу с головы до ног, сурово сказал ему:

— Поди же возьми его!

И с этим словом тихо пошел назад. Но уже в эту минуту задние батальоны подбежали и непреодолимым натиском отбросили французов. Еще одно мгновение, и батарея была в их руках.

Саша подбежал к отцу, с воплем схватил его в свои объятия, поднял к себе на руки и с этою драгоценною ношею побежал с горы... Это было, однако же, одним порывом сыновней любви; он почувствовал, что колени его подгибаются и что он не далеко унесет отца. Вдруг Саша вздрогнул, остановился, зашатался, тихо опустил отца на траву и упал. Он был ранен...

Тогда отец, в свою очередь, закричал нескольким солдатам, и их обоих понесли с поля битвы.

Там, где перевязывают раненых, явился к ним доктор и немедленно осмотрел раны обоих... успокоил их, перевязал и советовал отдохнуть в какой-нибудь хижине до вечера.

Их понесли и положили в пустую развалившуюся лачужку.

— Что ты чувствуешь, Александр? — тихо спросил отец, глядя на него с нежностью.

— Ничего особенного, — отвечал Саша. — Рана должна быть незначительная. Но вы, ради бога, скажите мне всю правду... Где, как вы ранены?..

— Э! Пустая царапина, больше ничего! Негодяй всадил мне свой штык в грудь... Но у меня шинель и сюртук на вате... на мне фуфайка, и удар не мог пройти глубоко. Я уверен, что через несколько дней встану... Вот только ты пугаешь меня... Дай бог, чтоб твоя рана не была опасна...

— Помилуйте... я, верно, скорее вас выздоровлю. Я молод, и моя натура... Ведь я уже был ранен и знаю...

Оба они замолчали и безмолвно глядели друг на друга. Хоть каждый из них старался улыбаться, но оба видели какую-то бледность и страдание на лицах один у другого и — поняли свое состояние...

Между тем пальба замолкла. Сторожившие их солдаты пошли разведать об окончании сражения и вскоре обрадовали обоих раненых известием, что Париж сдался на капитуляцию и что русские вступают в эту европейскую столицу.

— Слава богу! — сказал Зембин. — Теперь нам будет веселее.

Мысленно доканчивал он свою фразу словом *умереть*, но не в силах был ее выговорить.

— Да, батюшка! — отвечал Саша. — Слава богу! Мы теперь отдохнем...

«В могиле», — подумал он, но замолчал. И однако же оба взглянули друг на друга и поняли то, чего не смели сказать.

Вечеру зашел к ним доктор, которого солдаты где-то отыскали, но он не хотел снимать перевязки. Он им дал только успокоительных капель, приказав смотреть за ними всю ночь, и обещал прийти поутру.

Наступила ночь. Оба раненые заснули, и солдаты, поглядев на них, сделали то же. Все было тихо вокруг. Тоненькая свеча тихо горела в углу и издавала печальный свет. Только храпенье солдат нарушало тишину.

Около полуночи проснулся Зембин. Он чувствовал какую-то тяжесть во всем теле, какую-то неподвижность во всех членах, в груди же его что-то жгло и теснило. Он, однако же, молчаливо переносил страдания и смотрел на Сашу.

Через минуту проснулся и тот. Глаза их тотчас же встретились.

— Друг мой! Каково тебе? — спросил отец.

— Кажется, лучше... А вам?..

— Ты меня обманываешь, Александр. Твое лицо доказывает противное.

— Лишь бы вас сохранил Бог! — прошептал Саша.

— О боже, боже мой! — сказал отец. — Если я за жестокость мою и недостойн был жить на свете, то за что же и он погибнет?

— Чтоб никогда не разлучаться с вами!

Зембин замолчал на минуту.

— Ты прав! — сказал он потом. — И я умру счастлив... Но твоя мать!.. Ах! Для нее хотел бы я пожить вместе с тобою. Как бы мы были теперь счастливы!.. Что-то она теперь делает?

— Молится за нас...

Оба опять замолчали... Оба обратили в эту минуту мысли свои к Богу и теплою молитвою умоляли его о милосердии.

— Милый друг мой! Каково тебе? — спросил опять отец.

— Хорошо, батюшка! Я готов!.. Смерть и вечность не пугают меня.

— А я!.. О! Я много, много виноват!.. Мой брат... жена... ты!..

— Все давно уже простили вам... а милосердие Божие выше всего...

— Сын мой! Милый друг мой! Дай мне руку.

С последним усилием жизни подал Саша отцу холодную свою руку. Судорожно схватил ее Зембин и прижал к губам своим. Саша не имел уже силы отнять ее, но другою медленно охватил шею отца и склонился к нему на плечо.

— Друг мой! Милый мой Александр! Где ты?.. Я тебя уже не вижу...

— Прощайте!.. Увидимся... *Там!*..

А между тем солдаты спали вокруг них богатырским сном. Поутру нашли их мертвыми в объятиях друг друга.

А между тем русские при криках радости побежденного народа вступали в Париж...

А между тем тот, кто называл себя преемником Карла Великого¹, терял трон и политическое существование!..



¹ Карл Великий (742—814) — король Франков из династии Каролингов. С 800 г. — император, основатель обширной империи, которая распалась после его смерти.



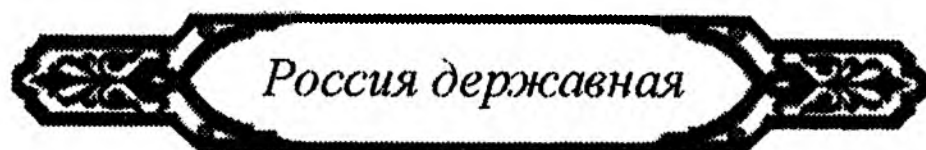
СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая 5

Часть вторая 115

Часть третья 210

Scan Kreider |



Рафаил Михайлович
Зотов

**ДВА БРАТА,
ИЛИ МОСКВА В 1812 ГОДУ**

Редактор *Б. Акимов*
Компьютерная верстка *М. Бойковой*
Корректор *Р. Низяева*

ООО ТД «Издательство Мир книги»
111024, Москва, 2-я Кабельная ул., д. 2, стр. 6

Отдел реализации:
тел.: (495) 974-29-76, 974-29-75; факс: (495) 742-85-79
E-mail: commerce@mirknigi.ru

ООО «РИЦ Литература»
115407, Москва, Судостроительная ул., д. 40

Подписано в печать 20.07.2009 г.
Формат 84×108^{1/32}. Гарнитура «Петербург»
Печать офсетная. Усл. печ. л. 14,28
Тираж 9000 экз. Заказ № 1405.

Отпечатано по технологии StP
в ИПК ООО «Ленинградское издательство».
195009, Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 21/1.
Телефон / факс: (812) 495-56-10.

Р. М. Зотов (1795 – 1871) – русский писатель и драматург, участник военных кампаний 1812 – 1814 годов. Долгое время служил в дирекции императорских театров, переводил и сочинял для сцены. Как исторический романист, прослыл большим мастером остросюжетного повествования. Его перу принадлежат также военно-исторические очерки и научно-популярные книги.

В романе «Два брата, или Москва в 1812 году» писатель на основе эпизодов частной жизни своего персонажа рисует яркую картину русского общества времен наполеоновского нашествия.

ISBN 978-5-486-03044-4



9 785486 030444